

ISSN 0132-0637

5 1996
ОКТАБРЬ

ОКТАБРЬ

5 1996

ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

5

1996

МАЙ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ,
Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН, А. ГЕЛЬМАН,
Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ,
А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, Р. САГДЕЕВ, Л. САРАСКИНА,
Вад. СОКОЛОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИ-
ЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Юнна МОРИЦ. Бу и Гря. Стихи	3
Григорий ПЕТРОВ. Мать Кирсана-плотника. Повесть	20
Борис ХАЗАНОВ. Рассказы	70
Юлия СИДУР. Пастораль на грязной воде. Повесть. Окончание ..	96

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Инна ГОФФ. Из записных книжек. Вступление и публикация Кон- стантина Ваншенкина	124
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Л.М. БАТКИН. Время в России отстало от Сахарова. К 75-летию со дня рождения А. Д. Сахарова	150
А. А. КАРА-МУРЗА, А. С. ПАНАРИН, И. К. ПАНТИН. Духовный кризис в России: есть ли выход?	155

Борис МОЖАЕВ
Земля и воля. Нижегородские заметки. Вступление Людмилы Сараскиной 166

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ.
Очень приличный человек. Размышления об одном писателе и его жизни, возникшие при перечитывании его книг и воспоминаний о нем в преддверии его юбилея .. 174

Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН.
Моя маленькая трепанация черепа 184

Вавилонская библиотека

Б. ФИЛЕВСКИЙ. **Благие мечты с постскриптумом.** *
Феликс ИКШИН. **Большая жратва.** * Евг. ПЕРЕМЫШЛЕВ. **Смерть, о которой можно сказать «потом».** ... 188

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимается Акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах. Адреса фирм-агентов вы можете узнать в А/О «Международная книга»:

117049, Россия, Москва, Большая Якиманка, 39

факс: (095) 238-46-34

телефон: (095) 238-49-67

телекс: 411160

Индекс издания: 73293

Цена годового комплекта (12 номеров), включая стоимость авиадоставки: 115,0\$.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора),

Н. К. ЛОШКАРЕВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (проза), **И. А. БРЯНСКАЯ** (публицистика),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (критика)

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 01.04.96. Подписано к печати 22.04.96. Формат 70x108^{1/8}.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 23900 экз. Заказ № 321. Цена 8000 руб.

Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 тыс. экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместители гл. редактора — 214-63-64,

214-69-37, ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел

поэзии — 214-69-37, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

© «Октябрь». 1996. При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Б у и Г р я

* * *

Снег пролетел, пролетела птица,
пролетело мгновенье ока.
Я не такая тупица,
чтоб не понять намёка.

В нижние глядя дворы,
вижу ходьбу истории, —
с ведрами крови идут маляры
освежать забор территории.

Зима — это место ссылки Овидия,
где жалобы в ящик летят ледяной...
Как же давно я моря не видела,
а была ведь его любимой женой.

1995

* * *

Какое счастье — в воду лечь,
и превратиться в рыбку,
и с боку на бок перетечь
в дурацкую улыбку!..
Идет рассвет — гаситель свеч
и снов. Прервав молчанье,
нигдешность обретает речь
и музыки мычанье.
— Вы где сегодня?..
— А нигде.
Места моих присутствий —
в Нигдешности и в Никуде,
в расцвете и распутстве
садов нигдешних, в них — о, да! —
нигдешние созданья.
Вездешность — не моя среда,
простите, обитанья:
там трутся маски о крыльцо
и ловят воздух ртом.
А у меня — везде лицо,
и голое при том.

1995

Спящая птица

На эти звезды плыть, читая книгу света
 в пустыне водяной, шатаемой волной,
 на мачте птица спит, в ее головке спето
 три лета, три весны, глаза под пеленой
 так закатились вглубь, зашли в такие выси,
 что, если бы не дрожь сердечка, боже мой,
 кто знал бы, что жива не в переносном смысле,
 не в писанине слов, не в бликах за кормой
 сознания, где в слезах и в разноцветных блестках
 волнуется простор, извилистый как мозг,—
 спи, маленькая, спи в соленых крыльях жестких,
 их делал не Дедал, и держит их не воск,
 их невозможно снять, от них не оторваться —
 хоть мясом станет плоть и, поднабрав пера,
 дикарка и дикарь костюмы резерваций
 начнут производить, а также веера,—
 спи, маленькая, спи, твой путь так страшно долог,
 в причинности твоей нет мусора обид,
 ты светишься насквозь — как птица и осколок
 цветного витража, в котором птица спит.
 И там, где нет времен, твое перо искрится
 в летящих зеркалах неисчислимых лун,
 мы все туда плывем — зеркально повториться,
 как тени на воде, как тени тайных струн,
 спи, маленькая, спи на мачте, на сосновой,
 держись за карандаш из хвойного бревна,
 у ветра он в руках, он ветра стал основой,
 расписывая путь, где я тебе равна.

1996

* * *

Синий снег,
 зеленая луна,
 черная ограда —
 цветы из чугуна.

Господи, не надо
 чудовищных друзей,
 чья преданность — как подвиг
 и подвигов музеев.

Я не хочу их подвигов собранью
 принадлежать!..
 Я так невелика,
 что предпочту лежать
 в горшке с геранью —
 в земле, достаточной для одного цветка.

1996

Ночь ветра

Лопнули провода, воеет железо, жесьть,
 двери, как звери, рванули прочь, треснули фонари,
 свет прекратился и с ним вода, что за погода, хочется есть,
 нет электричества, свечку бери — яйца на ней вари.
 Сандали скрипят о воздушный трап,
 ветер не слаб и вселенский храп.
 Дунуло, плюнуло, понеслось, тряпки дорог — на рог
 ярости, выброс утробных пен,
 жалость угробил побег с колен,
 всякую жалость угробил план
 ветра, которому смертный вздрог —
 всего лишь упадок стен,
 сандали скрипят о воздушный трап,
 ветер не слаб и вселенский храп
 вывернутых болтов, балок, балконов, блуз,
 всех не высадишь на Луну, требуется дев. на раб.—
 вот я и требуюсь, мне везет, ночному цветку сумасшедших муз,
 сандали скрипят о воздушный трап,
 ветер не слаб и вселенский храп.

1995

* * *

Укус винный, флакон гранёный,
 авокадо скользкие гнезда,
 в испарине за колонной
 плакатно кривляются звезды,

их гримированный пот
 пахнет раздачей слонов,
 пороховая бочка —
 этим запахом движется весь пароход,
 в смысле пороха — весь он и есть пароход,
 славная будет ночь,

пороходство до лучших в маразме дней,
 до такой жизнерадостной пороходимости,
 что потоп становится все сильней
 вещью первой необходимости.

Спи, голубка, почтарка, вестница,
 хватит дымом глаза терзать,—
 хорошо бы повеситься
 на три месяца,
 чтобы с куревом завязать.

1994

Некоторый момент

Мы сидим с тобой у реки,
по реке плывут парики,
перманент плывет, перманент,
чёлки, чубчики, волны лент...

Мамонт облачный пролетел,
в небе множество дивных тел,
там такое порой несут —
нас бы мигом за это в суд!

На песке сидит музыкант,
головой глядит на закат,
гладит струнный он инструмент,
ловит некоторый момент.

С удовольствием в небеса
я гляжу полтора часа,—
вот какая, на самом деле,
у меня теперь полоса...

1995

В зраке обновенья

Всё дело — в зраке, в зраках... Зракам
не скрыть того, что за душой,
покрой лицо хоть трижды лаком,
произведя ремонт большой.

Всё пахнет клеем обновенья,
а в новых масках — тот же хор,
всё тех же зраков шевеленья,
всё тех же челюстей фарфор.

Их вкусы выдавил кондитер
из кремодавки для тортов,
и языком он дырку вытер,
где крем ползет, когда готов.

Сегодня всё открыто зракам,
устам, ланитам и перстам,
а если что покрыто мраком —
так соответственно местам,

доведшим общество до ручки,
но вызывающим восторг —
как съехавший с музейной штучки
географический листок.

Пройдет зима, настанет лето,
в саду цветочки, то да сё.
Из дерьмодавки-пистолета
нарисовались три поэта
валетом, это — наше всё!

А на фиг больше?.. Нас-то, может,
нельзя плодить, как лягушат,—
пусть лучше купят, растаможат,
когда советнички решат —

какого стиля быть сезону,
чтобы в понданец и в дуду
стандартам мировым. Се зону
нам озаборят... Нет резону
быть в этом зраке на виду.

1994

Вторник

Народ по улице идет, как по канату,
под снегом — лед, круглей опавших яблоч.
Вот гражданин, подобно самокату,
промчался мимо и свалился на бок,

бедро сломалось, едет он в палату
лежать с мечтой — как всунуть ногу в тапок?..
А день так свеж, и Лунную сонату
в училище играет пара лапок,

и где еще гармонию отыщем,
как не вокруг, не здесь, не в эти миги,
когда такие переломы, сдвиги,
расцвет религий и презренья к нищим,
и плюс к тому вакансия шута —
она опасна, если не пуста.

1994

* * *

Тише, тише, язычок — мой приятель,
ты распуцен — я не в маске, как другие,
рот захлопнем на крючок, поглядим-ка
в отмороженные глазки чародеев.
Алле-оп, аплодисмент, зайцы в шляпе,
фокус-покус, карты-фарты, везуха —
гляньте сбоку-с, там шнырялы по карманам
грабят граждан в тот момент ненаглядный,
когда птичка вылетает из уха,
остальное — сила духа, поскольку
человек рожден для счастья, как птица
для полета, язычок мой, для полета,
а зачем это птичке для полета —
лично ей — такая гадость, как деньги,—
вроде птичьего помёта на купальник...

1995

Письмо

Стужа теперь такая, что стала прозрачной птица,
сидя на голой ветке в голом прозрачном льду.
Тем, кто еще не имеет, предлагают поторопиться
и поймать непременно в новом году
со склада в Москве, возможны большие скидки,
о результатах розыгрыша узнаете в тот же день,
абсолютно мощный колдун, молодильные яблоки, яйца, напитки,
а также сигнализация — чтоб не украли тень.

Мебель имеет ножки, двери имеют ручки,
стены имеют уши, а ноги растут из ушей
у многих весьма прелестниц, чьи юбки, трусы и штучки
спасают стихи от засухи, увы, мозговых траншей,
имеющих место быть в районе победы пирровой...

организация срочно купит здоровый иммунитет,
требуется: вечная молодость, квартиры с пятью сортирами,
мозги эмбриона, плиточник, секретарша — желат. бездет.,
переводчик-водопроводчик, оптимизаторские эмоции,
переписка с вампиром (эротика ротика, пол и характер в гробу),—
продается: веер, Вермеер, конвейер, старинные лодии,
руководство по выживанию и надежды на светлое бу...

Я бы купила глобус, крупный, старинный, в обруче,
он жил бы со мною рядом, ходил бы вокруг оси,
точка на нем плыла бы — далёкость твоя и облачки
моей тоски, улыбающейся... Радость моя, носи
с легкостью, с наслажденьем отвагу свою и робость,
тайну и ветер странствий в гриве, густой как свет,—
я, прозрачная птица, на ветке вмерзаю в глобус,
который бы я купила, да воздуха здесь уж нет.

1995

Кафказ

Какой там у Кафки — кафказ?..
Кафказ — это наши кафказмы,
кафказменной жизни оргазмы,
кафказней кафказменных спазмы,
где кафкает казней показ.

У Кафки кафказ — как наркоз,
в сравнении с нашим кафказом,
он просто мозгов перекос
под гения творческим газом,

он весь обезболен в аду
кафказменных казней, терзаний,
которые в нас и войдут
кафказмом его предсказаний.

Кафказ подо мною... О, Франц,
кафказно лицо твое, Кафка,—
но здесь у нас кафкает кран
крававый, и страшная давка,

и кафкает жизни кафказм,
и наши кафказменны лица,—
о том, чтобы эта кафказнь
откафкала, надо молиться.

1994

* * *

На всю глубину морскую,
на последней из тысяч миль —
я так по тебе тоскую,
что вытираю пыль.

Льются из рук предметы,
бьющиеся о дно,
боюсь тебя, как кометы
боялось дитя одно,

а я карманными там фонариками
светила во все места,
где в небе вращала шариками
страшная красота,

страшное наслажденье
было из моря рыб
видеть ее рожденье
в облаке на разрыв,

страшная там платанами
овладевала дрожь,
когда огненными фонтанами
лился там звездный дождь, —

я плохо на этот случай
загадала просвет в судьбе,
у других получилось лучше —
больше думали о себе.

На всю глубину морскую,
на последней из тысяч миль —
я так по тебе тоскую,
что превращаюсь в пыль,

в коралловый дна осадок,
в коралловый корм кусту,
в этих костей и складок
страшную красоту.

1995

Про Ногу, которая ходит в ногу со временем

Иду, иду, и думаю, иду, в сандалиях иду, во сне
по золотому нежному песку, где роза Зверева лежит —
вся роза, чайности необычайной,
и весь он пишет розу и песок под розой, мимо
я вся иду с улыбкой и в панаме из, кажется, капустного листа...
Три разбудильника визжат, и телефон, и двери с почтальоном.

Ломка ритма, ритмолломка это делает, молломка сердца —
ломом в рёбра, просыпаюсь, вылетаю отовсюду,
а кругом — ходят в ногу со временем, на особенной Ноге,
надо отращивать, для каждого времени — новая Нога,
от старой отрубился — новая растёт, видит ногу времени
и ходит с ней в ногу, и нога времени видит эту Ногу,
эту временогу, видит временога много временог, а я — без!..

Сижу, отращиваю номер тридцать восемь с высоким подъемом.
Вот она уже стоит,
вот она уже идет,

вот она уже летит,
выступает, как балет,
получает бриллиант,
возвращается в отель,
засыпает на боку—
и разбивается во сне,

где я в сандалиях идуваю по нежному песку, а время испесочилось,
на э т о м песке лежит вся роза — чайности необычайной, мимо
идуваю отчайности в слезах, в отчайности слезах — если хотите.

Просыпаюсь, где видят глаза на спине, что мальчик вернул^ся
и дверь открывает Ногой, которая ходит в ногу со временем,
до этого он от пяти отрубился — такой временогий,
идуваю мимо, идуваю, вся улыбаясь ему по дороге в купальню,
божественный мальчик, такой изумительный, весь драгоценный,—
и возле воды высыпаю песок из сандалий.

1995

* * *

Есть особая пытка именами,
уж не знаешь, твоя ли это личность,
или слухи базарного пошиба,
или задница, везомая слонами,—

это самое едет на носилках,
в такт качаясь под пыльным балдахином,—
люди падают там, где их застало,
и на лицах лежат, как на подстилках.

В этой позе разглядывая прелесть,
они видят неслыханное диво
и слонов, на которых имя едет,—
а бывает, что и выскочит челюсть,
эту выскочку поставят на место
близлежащей рукой дребезжащей,
и в затменье неловкого жеста
звоны льет под молоточками челеста*,

и на лицах лежат, как на подстилках,
в этой позе разглядывая имя
и слонов, на которых имя едет,
улыбаясь глазам на затылках.

1995

* Челеста (от латинского слова «небесный») — музыкальный инструмент, напоминающий по внешнему виду пианино, но вместо струн — стальные пластинки, по которым ударяют деревянные молоточки, обтянутые войлоком, звук — нежное пение серебряных колокольчиков.

* * *

Хотя расщепляется атом
и общество нравы пасет —
народ выражается матом,
больших достигая высот.

Но ужас отдельных моментов
осилит лишь этот язык,
простейший набор инструментов
используя жизни впритык.

И там, где сверкают алмазы,
метафор его филигрань, —
там ваши манерные фразы
кошмарней, чем грязная брань.

И небу молитесь, ребята,
что мы не настолько грешны,
чтоб не были с помощью мата
хоть изредка мы спасены

от более страшных деяний,
страданий, схождений с ума, —
пусть этот словарь состояний
продолжит цензура сама...

1995

Античное блям

Сына прекрасно родить, чтобы в танке сгорел за свободные, блям,
их таланты,
за страшную их красоту, писанину фигни философской, за пафос и пифос,
за их озарения, блям, по части кампаний военных, трофеев и пленных,
зажариться в танке — за нефть и за банки, за скотские пьянки элиты,
за, блям, их оргазмы, фантазмы, харизмы, маразмы, туризмы —
полечь на гражданке,
о, счастье, об этом я круглые сутки мечтала еще в эсэсэре!
Дитя, торопись, а не то умереть опоздаешь за их процветанье, —
уже не хватает гробов, чтобы все улеглись, пострелявшись за их интересы,
за их kleptomанию, блям, графоманию, премии, мумии, феню, конгрессы,
за эти мозги элитарные, тарные зги живоглотских династий, за яйца —
блям, Фаберже, за бутик, за антик, за раскрутку, блям, фракций и фрикций,
мальчик, пись-пись, торопись превратиться в обрубок, в огарок,
в придурка!..
Как можно отсюда бежать, если надо рожать воеванцев,
а, блям, не засранцев,
которые мчатся на запад, спасая детей, как большую там, блям,
драгоценность?..
К себе я полна отвращенья, блям, нет мне прощенья —
что плоть не мужинья,
что, блям, не сражаюсь и не разрожаюсь пять раз в пятилетку и чаще, —
лет бы с пяти посылать бы детей воевать за такую огромную гениев стаю,
которая, блям, завелась и творит, блям, свою чумовую шекспирню,
кафказню,
дворец содроганий, — а что мне тут шляться с единственной жизнью?..

1995

* * *

Кто-то утопил кого-то в чем-то,
не хотел, но вышло так само,—
много ли тут надо для экспромта,
если все готово для всего?..

Не берусь нигде я за перила,
вблизи глядеть не хочется совсем,
легкость обрела и оперила
и теперь летаю надо всем.

Лучше видеть с птичьего полета
славные дела больших людей.
Рядом — два летают идиота,
а внизу — грузовики идей.

Кто летает — очень мало ест-то
и поет не только головой,
рифма — не единственное место,
где имеем признак половой:

женская она или мужская —
это глазом видно, как в кино,
даже дети знают — где какая,
даже мне еще не все равно.

И такие глупости, о боже,
вместе с рифмой западают вглубь,
что ее поэтому, похоже,
те не любят, кто не так уж глуп...

Вон труба, румяная как дама,
и лицо у ней из кирпича,
дым идет, а жизнь — такая драма,
где все время поздно звать врача.

1995

Без прикрас

Мое волнение — на пределе,
волнуюсь я при всяком деле,
дрожу, как лист, а всех-то дел —
достичь волнения предел.
Кому нужна такая пакость?..
Дела выходят сикось-накось,
трепещут сердце, рукава,
и вся трепещет голова,
и лодки номер тридцать восемь,
и все, что мы снаружи носим,
и все, что носится внутри,
трепещут окна, ключ в двери,
кофейник, стены, роза в банке,
словарь под задом обезьянки,
моя бы воля — взять бы нож
и перерезать эту дрожь,
перекусить ее железом —
и резвым стать головорезом.

1995

Дворец Буфетов

Есть хорошие старушки, неплохие старички,
их ряды передовые брали кассу втихаря,
когда массы трудовые и другие дурачки
жили будущим, грядущим — светлым Бу, цветущим Гря,
Бу и Гря, буйгря, жутким пламенем горя.

Но старушки есть плохие и плохие старички,
не сумели хряпнуть кассу их отсталые ряды,
они обществу мешают делать новые скачки
в Гря и Бу и будят силы Государственной еды,—
Гря и Бу, гряибу, они видели в гробу.

Вот старушка золотая дарит родине буфет,
дарит ей Дворец Буфетов эта родина не зря!..
А старушка вот плохая вспоминает вкус конфет,
всем назло не подыхая, чтоб испортить Бу и Гря,
Бу и Гря, буйгря, жилы яростью бугря.

Но старушки золотые, золотые старички —
они вечно молодые и плюют через губу,
когда всякие отбросы пьют злые зрачки,
некультурно угрожая мрачным Гря и жутким Бу,
Гря и Бу, гряибу, сидит ворон на дубу.

Сидит ворон сине-черный, весь ни толстый, ни худой,
и, как всякий тип ученый, он играет на трубе,
а под ним — Дворец Буфетов с Государственной едой,
где старушки золотые в светлом Г и светлом Б
шлют на всех других старушек свои мысли в КГБ.

1995

Скользкая ночь

Фонари под глазами века,
двое путников — пес и калека,
два Алеко в стране гололедицы,
по земле не идетя, а едетя...
В подворотне — жених и невеста,
целуются в скользкое место,
в небе скользко и две Медведицы,
скользкий шепот о днях отъезда,
по земле не идетя, а едетя,
вещи быстро выйдут из моды,
счет на дни теперь, не на годы,
счет на страны теперь, на грузы,—
место скользкое покидая,
скользкий шелк раздарить Китая —
раздарить на прощанье блузы,
губы скользкие пахнут ромом,
после поезда плыть паромом —
аж два «О-О» наплывают в шлюзы!..
Ветер странствий — он дышит нами,
я-то чувствую временами,

что кончаюсь, как кислород,
превращаюсь в такую легкость,
что, прощаясь, берут в далёкость,
в ласточкин перелёт.

1995

* * *

Есть роскошь, не доступная деньгам,
алмазам, изумрудам, жемчугам,
здоровым силам, силам нездоровым,
венкам лавровым, золотым мозгам.

Она не клонет также на слезу
отчаянья в трущобистом низу,—
и столь же беспристрастно едет поезд
через корову, мясника или козу.

Захват земли, галактики захват,
галлюцинаций психоккомбинат —
сам черт не обнаружит эту роскошь
ни в поле зренья, ни под ним, ни над.

А без нее живая плоть — лишь мясо,
а слава — трюк, мероприятие, касса,
а жар свободы — тиф сыпной словес,
и дышат все — как сельдь на дне баркаса.

Есть роскошь, есть, которой нет цены.
И в тех глазах, где протекают сны,
ее известен вкус любой водичке —
хоть посреди небес, хоть у стены.

Но шелкопряд не знает слова «шелк»,
и в том незнание я-то знаю толк,
чтоб для тебя, любовь, на этом месте
слова исчезли, а мотив не смолк.

1995

Мандолинщица

Вот палитра и мольберт,
вот пол-литра и Альберт
в пыльной шляпе, на коне...
Мандолинщица в окне,
она — рыжая лиса,
ее подлая краса
держит глазки посреди
мандолины на груди,
а на груди угольков
сумрак, розовый с боков,
дышит, блики наплескав
мандолинщице — в рукав,
кавалеру на коне —

в душу, видимую мне,
а коню — в одно из лиц,
достающих дно криниц,
а мне — в раму из ресниц.

1995

Речка во мглу

Жил-был поэт, которого нет
в живых по ряду причин,
характер кошмарный,
век легендарный,
женщины в роли мужчин.

Дал ему Бог
так много, как мог, —
больше, чем можно мечтать,
но перед свиньями
губками синими
бисер любил он метать.

Мало того,
что в центре всего
быть этот гений хотел, —
жил еще идол,
которому выдал
он состояние дел —

то есть ума,
по какому сама
плачет тюрьма и сума,
если поэты пишут портреты
идола в куче дерьма.

Был бы поэт нормален — так нет,
качал он права и ворчал,
вечные жалобы,
а не мешало бы
выбрать укромный причал,

домик в глуши, где нет ни души
в живых по ряду причин,
грядки картофеля,
пение профиля
женщины в роли мужчин,

печка в углу, речка во мглу,
жизнь бесконечно длинна,
бочка терпения,
точка кипения —
выдрана, удалена,

бы в рот бы воды,
бы замел бы следы,
бы залег бы на дно глубоко...

беда избежал бы,
стихов нарожал бы,
бы козье бы пил молоко,

бы идол бы в гроб,
в чеснок и укроп —
в египетских мумий бальзам,
поэт неубитый бы стал знаменитый бы,
в это не веря глазам,

новый костюм бы
в самый тюм-тюм бы,
тысячу новых личин
бы дали поэту, которого нету
в живых по ряду причин...

Стая — сильна,
недобитым — хана:
их добивает она.
Каждая нация есть интонация.
Жизнь — бесконечно одна.

1996

Особый дух

Не равен человек режиму,
не равен также он трусам,
ботинкам, варежкам, зажиму,
пришпиленному к волосам,
всему не равен он при этом —
посуде, мебели, еде,
своим портретам, сигаретам,
тыр-пыр и далее везде...

Искусство не равно режиму,
как не равно оно трусам,
ботинкам, варежкам, зажиму,
пришпиленному к волосам,—
как не равно оно при этом
посуде, мебели, еде,
своим портретам, сигаретам,
тыр-пыр и далее везде...

Но всякому режиму равен
особый дух — и он неглуп,
весьма противен — тем и славен,
его стыдятся, прячут вглубь,
казнят, пытаются, но питают,
и он в пытательной среде
в житейском море обитает
как клад, утопленный в воде.

В особый час его поднимают,
дыша триумфами разрух,—
он весело кромсает землю,
он мстит за всё, особый дух,

и, упоенный кровью нови,
он вышибает страх и стыд,
и, если в чем-то он виновен,
его история простит.

Блажен, кто этим духом крепок,
и, в этом духе отличась,
он всякого режима — слепок
и равен целому как часть,
трусам он равен и штиблетам,
посуде, мебели, еде,
своим портретам, сигаретам,
тыр-пыр и далее везде...

1994

Реплинг

Когда все время хочется иного
и неизвестно — именно чего:
под поезд кинуться, сыграть ли в подкидного
иль в колокол шарахнуть вечевой?..
А все кончается опять приемом пищи,
помывкой, телеящиком, спаньем,
покупкой барахла и мебелищи,
враньем по мелочевке день за днем,
открытьем, что живешь повеселее
зарезанных, убитых, психбольных,
безногих, горбунов и бармалеев,
рожающих детей без выходных...
Когда все время у попа собака
была, была, он всю ее любил,
и за кусок он всю ее убил,
и надпись написал такого класса,
что вновь и вновь съедает сука мясо,
и сто, и двести раз в течение часа
любя он убивает целиком...
Тогда-то, в силу сказанного выше,
скорей влюбись, не дай поехать крыше,
залей оптимизацию в два бака
и не ходи под поезд босиком,—
тогда вернется прошлогодний снег
и, сукин сын, ты будешь человек.

1995

Серенада

Скажи мне гадость,
моя радость.
Сломай мне челюсть,
моя прелесть.
Пальни мне в голову из дула,
чтобы ее с подушки сдуло.

Навесь удава мне на шею,
 когда я в бане хорошею.
 Налей в шампанское мне яду,
 когда пою я серенаду.
 Бревном распололамь хребтину,
 когда рисую я картину.
 Гони пантеру из вольера,
 когда целую кавалера.
 Включи, не зажигая, газ —
 я закурю — и весь рассказ!
 С балкона урони кирпич,
 когда пойду я челку стричь.
 Подсунь мне под ноги тайком
 трубу, что хлещет кипятком,
 или троллейбуса ступень,
 чтоб я обуглилась, как пень,
 под током, бьющим в мокрый день.
 И хорошо бы двинуть поезд,
 чтоб я под ним была по пояс.
 Неплохо также и докласть,
 что я не так любила власть,
 как ты любил и твоя милка, —
 авось прибьёт меня казнилка...
 И хорошо бы в идеале —
 твои бы вши меня сожрали,
 а ты бы вышиб гонорар
 за мемуар большой морали.
 Чудесно — в гроб меня улечь!
 Твоя мечта, о том и речь,
 должна цвести, ронять кирпич,
 когда иду я челку стричь.
 Ах, ты мой зайчик, друг поэтый,
 сто лет живи с мечтою этой,
 не мрачен будь и не болей, —
 с такой мечтою жить светлей,
 налей мне кофе с мышьяком,
 с мечтой о чем-нибудь таком...
 Я выпью за твое здоровье,
 а ты прикинься дураком.

1996

* * *

Ничто ни на ком не кончается здесь.
 Поколение — мельчайший срок.
 Со всякой позы сдувает спесь
 времени ветерок.
 Ничто не кончается здесь ни на ком,
 но кажется кой-кому,
 что, если он кончит молоть языком,
 наступит конец всему —

и лично на нем, ни на ком другом,
все кончится с этим веком.
Но кончается только ничто на ником,
никакое кончается на никаком —
и отнюдь не кончается нечто на неком.

1995

* * *

Друзей не превращайте в слуг,
а жен друзей — в служанок,
чтоб не крошили вас, как лук,
и вид ваш не был жалок.

Не позволяйте для гостей
вас подавать на ужин —
как блюдо свежих новостей
и умственных жемчужин.

Душа — такой чудесный луг,
где есть зима и лето,
но коммунальных нет услуг,
а также туалета.

Мы потеряли букву ять
и это пережили...
Ходите в Африку гулять,
чтоб с вами львы дружили.

1996

* * *

Это — не состоянье дел,
это уже — расстоянье тел,
вод хоровод, растворенье суш,
тихое расчетверенье душ,

слов обходные маневры,
обитанья другая среда,
успокаиваются нервы
при мысли, что навсегда.

В воздухе снег качается
жизни моей и города.
Время мое кончается,
пять минут — уже дорого.

1996



Мать Кирсана–плотника

ПОВЕСТЬ

1

Тоже знамений всяких и пророчеств тогда в городе было немало. Тот же Брыкин Егор, к примеру, сторож городской больницы. Накануне он только что вернулся из Хомутовки, куда ездил менять две пары казенного больничного белья на муку и сало. Почти весь день в дороге, на крыше теплушки. А тут еще отряды какие-то заградительные, чуть мешок не отобрали. Спал Брыкин в ту ночь, конечно, плохо, все время ворочался, кричал во сне: «Не трожь сало! Это мое!» А под утро уже, когда успокоился немного, женщина какая-то незнакомая перед ним явилась. Невзрачная такая и одета простенько — юбка домо-канная, платок белый. Стоит она перед Брыкиным, а в руках у нее горшок с кашей. И вот ест Брыкин кашу, каша сладкая, рассыпчатая, все никак наесться не может, да и в горшке ее не убывает.

Утром проснулся Егор, думает: что бы это могло значить? Рассказал он сон приятелю своему Кругликову Василию, который в настоящее время был безработным и зарабатывал тем, что выискивал по всему городу обрезки чистой бумаги и продавал их в городское управление. С бумагой в управлении было плохо. Кругликов выслушал Егора и сказал:

— Знамение это и есть. Предсказание то есть. Придет, значит, баба, которая всех насытит.

Сразу после этого вышел случай у Курицыной Степаниды, которая в столовой городского управления работает. Пришла она со смены, чай морковный попила, только голову на подушку приклонила — женщина перед ней. И тоже простая такая, вроде бы даже в телогрейке. Подошла к Степаниде совсем близко и кувшин с водой протягивает. А Степанида днем в столовой селедки наелась, жажда ее замучила. И вот пьет она из кувшина, остановиться не может. Раздувает ее всю, вот-вот лопнет. Взмолилась она тогда — хватит! — и тут проснулась.

Утром вышла на кухню, там соседка Изабелла Копытова, которую полгода как вселили к ней по ордеру. Рассказала Степанида ей сон, та и говорит:

— Что же здесь непонятного? Стало быть, явится среди нас дева небесная и утолит жажду души. Очень просто.

Теперь Агата Фирсовна, конторщица с биржи труда. Сын ее Дёма тоже видел ночью женщину. Нагнулась она над ним, у Демы аж дыхание перехватило. И пахнет от нее чем-то сладким, домашним. Потом смотрит Дема: в руках у нее нож, каким хлеб режут. Дема сначала испугался, хочет встать и не может — змея ноги его опутала. Женщина ударила змею ножом — и змея пропала. После этого взяла она Дему за руку и привела к какой-то яме. Заглянул Дема в яму, там пивной котел, вместо крышки сковородка. Сняла женщина сковородку, а в котле блестит все — золото, серебро, сверху — икона.

Агата Фирсовна как услышала рассказ сына, покой потеряла. Вспомни да вспомни, пристаёт. Вспомни, говорит, то место, где это было. Кладискать надо. Всем знакомым жаловалась. Знакомые к Деме приходили, тоже уговаривали:

— Может, правда, место вспомнишь... Ведь это же пророчество... Богатство какое...

А Дема чуть не плачет:

— Да здесь же совсем другое! Как вы не понимаете? Другое богатство! Не материальное, а духовное! Это же понимать надо!

— Мы-то понимаем,— отвечали знакомые.— Да только место все равно хорошо бы вспомнить...

Самое же удивительное событие вышло на Рождество, за городом, у святого источника. Место известное — часовня там деревянная, колодец над родником. Поставил часовню купец Крутояров еще при Александре Втором Освободителе. Круглый год шли туда люди за целебной водой. И никто не помнит, чтобы родник этот когда-нибудь замерзал, даже в самую лютую стужу.

А тут вдруг перед самым Рождеством пронесся по городу слух — родник замерз. Народ, конечно, повалил к часовне. И точно — весь колодец забит льдом. Стали тогда землю в часовне рубить, чтобы чан из колодца вытащить. Чан вынули, в нем большой кусок льда, необычный какой-то, светлый. Поколоты кусок, льдинки на землю высыпали. Потом одну льдинку подняли случайно, а в ней, в самой середине, лицо женское. В других льдинках то же самое. И все, кто там был, признали это лицо. И Брыкин Егор, и Курицына Степанида, и Дема. Та самая женщина, которая к ним по ночам являлась.

Так что, если уж говорить, то появления какой-то необычной женщины в городе ждали. Как соберутся где-нибудь в очереди за хлебом или за дровами, так только и разговоров что о ней. То же на рынке. Там Кузнечиха, бывшая прислуга из княжеского имения. Теперь она на рынке вещами и продуктами торгует, которые красноармейцы отбирали у мешочников или при обыске у буржуев.

— Так и ждите! — говорила она.— Явится в нашем городе жена непорочная! Ради высшей живой любви! В том и будет назначение ее жизни и ее подвиг!

Если рядом оказывался Гвоздилин, извозчик, бывший конюший у князя, тот тоже говорил свое слово:

— Змея — это и есть дьявол! Будет вражда между змеем и женой непорочной. Между светом и тьмой! Смысл и путь жены непорочной — изгонять демонов.

Были, конечно, и такие, которые сомневались. К примеру, Косоруков, землемер, голова у него после тифа обрита.

— Ишь, чего придумали! — кричал он.— Жена непорочная! В нашем-то городе! Да от нас до Москвы неделя езды! Что у нас может явиться?

Но Косорукова мало кто слушал, потому как от него всегда сильно несло перегаром.

А вышло так, что ждать-то ждали, а когда в семье Шубниковых родилась девочка, никто не придал этому особого значения. Вроде бы как пропустили — ну, родилась и родилась, о чем тут говорить. Разве что иные удивлялись — в ихние-то годы!

И то сказать, что за семья Шубниковых? Двадцать пять лет в браке, а детей все нет и нет. И тут вдруг сразу пожалуйста — девочка! Все только головами качали и говорили, что Аким и Анна на старости лет умом тронулись.

Фамилию Шубниковых в городе хорошо знали. Многие помнили, как в старое время ходил по улицам старик с лысой головой. Всегда одна и та же фризровая шинель на нем, старая, вся в заплатках, но все знали, что это первый богач в крае — хозяин сахарных заводов. Старик уходил из дома с раннего утра, а вот вернуться обратно уже не мог — не узнавал собственного дома. Ищет его, ищет, да все не на тех улицах. Ну, люди, конечно, помогали, приводили — все же его хорошо знали. Ведут старика, а он непременно про свой род начнет рассказывать, всегда одно и то же. Какой его род древний и знатный, можно сказать, царский.

— Не может того быть,— дразнили его.

А Шубников кипятился:

— Нет, может, нет, может! Наш род от Петра Великого идет!

— Ну, это уж совсем никак невозможно.

А старик еще пуще задирается:

— Нет, может, нет, может!

Остановится посреди улицы и давай рассказывать:

— Это когда было-то? В Карелии еще...

— В какой такой Карелии?

— В Карелии... Царь Петр известно — любил по Карелии странствовать. Вот и обласкал там одну красавицу. А как та в положении сделалась, он и говорит ей: не плачь. Снял с шеи крест золотой и отдал ей.

— Ну и что? — спрашивают у него, хотя все знают, что было дальше.

— А вот что! Родила она сына. Поп, правда, крестить не стал, потому не замужняя. А как подрос сын до четырнадцати годов, в Петербург проситься начал. Приехал да в воровстве и попался. Привели к царю, царь говорит: казнить через повешенье. Стали веревку ему на шею класть, а он как рубаху рванет, а на груди крест царский. Ну, Петр, конечно, признал его, помиловал, закутал в шубу. И стал он с тех пор именоваться графом Шубниковым. Вот откуда наш род идет...

— От вора, значит! — смеется кто-нибудь.

А старик шутника палкой:

— Не от вора, а от графа...

Приведут, наконец, старика к дому, а он заходить не хочет, все рассказывает, остановиться не может.

— Дед мой при матушке-государыне Екатерине Великой большой вельможа был. Особняк — сто шестьдесят комнат. В двух этажах... Одной прислуги — триста человек... Или нет, даже четыреста... Каждый Новый год в Петербург ездил. Матушку императрицу поздравить... С золотым подносом...

Вокруг старика уже никого нет, все разошлись, а он все стоит рассказывает:

— При Александре Благословенном отец мой... При дворе... Любимец императора. Силач необычайный... Одним пальцем гвоздь в стену вдавливал. Серебряные тарелки в трубки сворачивал. На воздушном шаре поднимался... С немцем каким-то... В присутствии императора... Хотел, говорит, найти сильное ощущение. Ну что, нашел? — спрашивает император. Нет, говорит, ваше величество! И там ничего нет. Один туман и сырость. Продрог только. Тоже богатый был...

Перед самой революцией, как императору Николаю отречься, старик исчез куда-то, никто уже больше его не видел. Один сын его Аким и остался. Потом уже, после переворота в октябре, сахарные заводы шубниковские большевики себе забрали, а сын Аким плотником сделался. «Как предок мой Петр Великий», — говорил он.

Что же до Анны Шубниковой, то ее в городе сначала никто не знал. Соседка ее Утехина, когда зашла как-то за солью, узнала, что отец Анны — священник в селе где-то в Сибири. Утехина потом много рассказывала в лавке на углу про Анну и ее семью.

— Жили-то они несладко, от людей кормились. На Пасху пойдут с отцом по избам крестным ходом. Где копейку дадут, где куличик. По тремам тоже с отцом ходили. Кто яичко даст, кто сметанки или курицу. Да и то народ хитрый — норовят подсунуть что похуже. Или яйца тухлые, или сметана несвежая. А однажды и вовсе в мешок вместо курицы ворону дохлую запихнули. Так вот и жили...

Бывшие люди шубниковские с сахарных заводов не забывали Акима, нет-нет да и привезут в город что-нибудь. Маслица там конопляного, пшена. Шубниковы тоже другим много помогали. Мимо их дома каждый день красноармейцы арестованных везли на работу — завалы расчищать. А какие это арестованные? — заложники, которых держали на всякий случай. Чуть где какие волнения — заложников этих сразу расстреливали. И Шубниковы почти всех заложников знали, все же свои, из города. Сысоев — булками раньше торговал, лавка у него была на соседней улице. Крупенников — бывший предводитель дворянства. Другие еще — Подойницын Иван Иванович, Мясников. Это все чиновники, в управе служили.

Как ведут их мимо шубниковского дома, Анна всегда выйдет и большую миску с горячей кашей им сует. Они прямо так на ходу и ели, руками, и друг другу передавали. Особенно Анна жалела двух девушек, совсем молоденьких, учительниц из городской школы.

— А этих-то зачем? — спросила она как-то у конвойного.

— В шляпках они и руки нежные, — отвечал солдат. — Буржуазия!

Утехина, соседка, все поддевала Анну:

— Что же это? Такое дело богоугодное делаешь, а Господь вроде и не замечает. Не дает детей...

— Стало быть, грешны очень, — отвечала Анна.

И правда, смотрят они с Акимом на соседей — у всех дети. У Слепокуровых, у Ремневых, у всех. Даже у татарина Рахметки, пьяницы и бездельника, и то трое — два мальчика и девочка. У самой Утехиной — дочь Лизавета, большая, шестнадцатый год уже.

— Ничего, — утешал Аким Анну. — И у нас будут...

И вот однажды Аким рано ушел из дома. Ждала его Анна с обедом, не дождалась, одна села кулеш с воблой есть. Отобедала, а Акима все нет. Она уже волноваться стала. В городе последние дни беспокойно. Это как раз сразу после больших волнений было, когда комиссара Маркина в Хомутовке убили. Маркин привел в Хомутовку отряд — продовольствие отбирать. А пока красноармейцы по избам самогон пили, хомутовцы взяли и убили Маркина. Потом и весь отряд его разогнали, оружие отняли. Грозилась, говорят, даже на город идти, всех комиссаров перебить. Ну, из уезда сразу полк вызвали с пушкой. Как из пушки пальнули по Хомутовке, все крестьяне сразу разбежались.

А третьего дня Маркина хоронили. Похороны пышные были. Оркестр играл, солдаты строем проходили. Похоронили его в городском сквере, в самом центре. Обещали памятник поставить, а сквер именем Маркина назвать. Выступавший тогда командир сказал, что за смерть красного комиссара ответят десятки и сотни классовых врагов.

Вот Анна сидит дома и волнуется: не случилось бы с Акимом чего! Под вечер, наконец, Аким является, да не один, мальчик с ним какой-то. На вид лет двенадцать, не больше, но белый весь как лунь, совсем седой. И говорить не может, мычит только. Анна так руками и развела.

— Господи, откуда же такой?

— По рынку ходит, — отвечает Аким. — Я и взял с собой...

— Чей же он? — спрашивает Анна, а у самой слезы так и текут.

— Не знаю... Говорят, из заложников. Вместе с родителями забрали... Мне солдат один на рынке рассказывал. Он там был. Третьего дня заложников расстреливали. И этого тоже повели... Всех из пулеметов уложили. А этот живой остался. Пулей его не задело. Лежит в луже крови... Ему солдаты и говорят — беги! Теперь он вроде как не в себе. Ну, я подумал, может, выходим...

Оставили Шубниковы мальчика у себя, а как звать его — не знают... Думали: вылечим — узнаем. Только никакое лечение не помогало, все врачи от мальчика отказывались. Пробовали свои средства — обматывали паутиной, рубашку в муравейник закапывали, лягушку за пазуху клали — все напрасно. Мальчик так и не приходил в себя.

А вскоре и вовсе сбежал куда-то. И снова Шубниковы одни, без детей.

Аким тогда в церковь Покрова зачистил, где отец Владимир служил. Поставит свечку перед Спасителем и шепчет:

— Сотвори, Господи, милость твою...

Вот однажды стоит он так, это уже зимой было, на Николу-зимнего. Отец Владимир перед алтарем, голова шерстяным платком замотана. Посмотришь со спины — вылитая баба. Аким смотрит на него и думает: «Может, правда, баба в храме служит?» И тут вбегает в церковь Лизавета соседская, дочь Утехиной. За рукав Акима дергает:

— Идите скорее! Тетя Аня не в себе... Лежит, стонет...

Прибегает Аким домой, Анна лежит в постели, охает.

— Что с тобой? — спрашивает Аким.

А Анна только охает и стонет, сказать ничего не может. Лизавета за нее рассказывает:

— В гости я к тете Ане собралась. Прихожу, стучу в дверь, не отпирает никто. Потом слышу — голоса вроде в комнате. Кто же там может быть? — думаю. Нагнулась к щелочке, вижу — тетя Аня на постели лежит, возле нее две бабы какие-то здоровенные. Мы, говорит одна, вдовы, на своем веку изрожали детей довольно. А ты неродихой можешь помереть. Вынимают тут другая откуда-то пучок прутьев. Что же это? — думаю. А они перевернули тетю Аню на живот, рубаху задрали и давай стегать. Отстегали и говорят: вот теперь ты непременно будешь в тяжести...

Тут Анна наконец голос подает:

— Как же неплодной родить? Дуры они, дуры...

— Что же это за бабы были? — спрашивает Аким.

— Ох, не знаю! — стонет Анна. — Как с неба свалились, а потом пропали...

Черт их принес...

Только как бы там ни было, прошло какое-то время, смотрит Аким: Анна его все пухнет и пухнет. «Услышал Господь молитвы мои», — радуется он. Как пришел срок, слегла Анна в постель, сама кричит:

— Только не в больницу! Только не в больницу!

Кинулся Аким за бабой Нюрой, повитухой, ее в городе все знают. Прибегает домой к ней, ему говорят — на рынке она. Аким на рынок. Народу там — не протолкнуться. Еле разыскал Нюру — стоит с детской коляской. В коляске барахло всякое: чайник никелированный, будильник, флаконы пустые — на продукты менять. Хватает Аким коляску — и домой. Только они с Нюрой вошли, в комнате плач детский. Анна лежит вся потная, Утехина здесь же.

— Девочка, — говорит.

На восьмой день под вечер девочку крестили в церкви Покрова при закрытых дверях. Восприемником был дальний родственник Анны — Печаткин Мирон Мокеевич. Мирон Мокеевич явился в церковь в английском френче со следами споротых погон, в больших, не по ноге, подшитых валенках. На дворе сентябрь, в церкви холод, света нет. Батюшка, отец Владимир, вышел в своем шерстяном платке, спрашивает:

— Как называли девочку?

— Марья, — отвечает Аким.

Отец Владимир побрызгал девочку святой водой и сказал:

— Благослови, Господи, дитя и имя ее...

А Печаткин смотрит на отца Владимира и спрашивает:

— Что это у вас, батюшка, святая вода во флаконе от одеколона?

А отец Владимир отвечает:

— Был у меня сосуд серебряный... Отобрали... Приходится в этом.

— Ну, что ж, — говорит Печаткин. — Крещение — это хорошо. За крещеных церковь молится.

После церкви в доме Шубниковых был крестильный стол. Анна наготовила, что могла, — каша пшенная с бобовым маслом, селедка, лепешки картофельные. Курицына Степанида из своей столовой повидло принесла. У Кузнецихи на рынке выменяли на старое шубниковское зеркало две бутылки самогона.

Дом, в котором теперь жили Шубниковы, был совсем рядом с церковью. Раньше там находился трактир Васильева, все его в городе знали. Отцовский-то особняк большевики сразу после переворота у Акима отобрали, там теперь городское управление. А Акиму этот дали. В первой, самой большой комнате стойка трактирная с широкими полками. Там гостей и принимали.

Народу было мало, все знакомые — Утехина с дочкой Лизаветой, Брыкин Егор (с дежурства в больнице отпросился), друг его Кругликов Василий, безработный, Курицына Степанида, Агата Фирсовна с сыном Демой. В последний момент вспомнили — надо бы нищих позвать, так положено. А за нищими ходить далеко не надо: они в городе повсюду — из Хомутовки, из других деревень. Анна выскочила из дома, привела троих — старик со старушкой и другой еще, помоложе, с ними. Нищие, как вошли, сразу на еду накинулись. Все на них смотрят, а старик, как поел немного, говорит:

— Голод у нас...

Старушка головой кивает.

— Голод, голод...

— Всю кору с деревьев поели, — продолжает старик. — Червей и лягушек и тех не осталось. Крыши соломенные с домов съели... Тоже и глину едят...

Который помоложе сначала молчал, все никак наестся не мог. А как наелся, говорит:

— Весь амбар мертвыми трупами завален. Меня сторожить поставили.

Брыкин Егор даже нахмурился.

— Для чего же мертвых сторожить? Убегут, что ли?

— А растаскивают по ночам... Утащат и варят...

— Откуда же вы? — спрашивает Анна.

— Из Хомутовки...

Все так на них и уставились.

— Это у вас, значит, комиссара Маркина убили? Отряд разогнали?

— Да какой там отряд? — отвечает старушка. —оборотни это. Бабка Груня на комиссара с вилами кинулась, а он об землю хлоп и пауком перекинулся... Громадный такой, со свиным рылом. Какой же это комиссар?

— Все беды у нас от этих оборотней, — вздыхает старик.

А Печаткин Мирон Мокеевич стакан самогону себе налил и подмигивает всем:

— А при Николае-то царе как было? Забыли? Был Николаша, была мука и каша...

— Все беды наши от этих оборотней, — снова вздыхает старик.

— Что же это за оборотни такие? — интересуется Печаткин.

— оборотни разные бывают, — говорит старик. — Есть Жердяй, к примеру. Длинный такой, по ночам шатается, шатун. Этот голод насылает. Еще Игоша. Мужик у нас один ночью на двор вышел, смотрит — подкатывается к нему уродец, без рук, без ног. Это и есть Игоша. Игоша болезни дает, тиф там или чума. Бывают еще Пыжики... Да мало ли их?

Когда гости с крестин расходились, старушка-нищенка подошла к Анне, поклонилась ей.

— Благослови тебя Господь...

Потом на Марью в люльке поглядела.

— Чудеса, матушка, будут, чудеса... Ты чудес жди...

И вот то ли старушка эта была колдуньей, то ли еще что, но только чудеса и впрямь пошли вскоре самые удивительные, стоило только Марье в возраст войти. Вот сидит она как-то на крыльце, ей уже тогда лет десять было, картошку чистит. Люди с бывшего шубниковского завода к празднику мешок прислали. Тут солдат какой-то мимо идет. Остановился, на девочку смотрит. Шапка лохматая, шинель оборванная. Потом подходит к Марье и мешок с картошкой хватает. Марья ему пальцем грозит:

— Не бери. Нельзя чужое брать. Это не твое.

Солдат только отмахнулся от нее. А на другой день снова идет, мешок с картошкой тащит.

— Заберите свою картошку обратно. Ну вас к шуту! Наколдовали, что ли? Варил ее дома, варил — не варится. Даже вода не нагрелась. Пусть с вами ЧК разбирается, откуда у вас такая картошка.

И вот ночью, все уже спали, стучат в дверь. Открыли — там красноармейцы с винтовками. Один в кожаной куртке с револьвером. Заходят в комнату, сапогами стучат, требуют свет зажечь. Заглянули сначала под кровать, потом шкаф открывают. Аким стоит раздетый перед ними, спрашивает:

— Ордер у вас есть?

— Есть, есть, — отвечает в кожаной куртке.

А красноармейцы по всем комнатам шарят. Половицы даже поднимают. Белье грязное из корзинки повыкидывали. Кровати все перевернули. Потом по стенкам стучать стали, тайник, наверное, искали. Один солдат, рыжий, лицо красное, увидел часы на стене — старинные, ореховые, от отца Акиму остались. Снял со стены и в мешок запихивает.

— Давно вас раскулачить пора, — говорит. — Народ вокруг бедствует, а они здесь жируют...

Комиссар в кожанке говорит:

— У меня с такими разговор короткий. Иду на кухню и смотрю в горшки. Если есть мясо — враг народа! К стенке!

А Марья смотрит на рыжего и пальцем грозит.

— Нельзя брать чужое...

И тут вдруг что-то случилось — все красноармейцы исчезли. Смотрят, это не солдаты уже, а крысы. Большие такие, жирные. Аким как крикнет:

— оборотни!

А в дверях откуда ни возьмись — черномазый какой-то явился, лохматый, тощий. Стоит на пороге и приплясывает.

— Не пугайтесь, — говорит. — Я черт. Хорошо я пляшу?

Потом свистнул так тоненько, и все крысы сразу в одну кучу собрались. Он их прутиком погоняет.

— Зачем они тебе? — серьезно так спрашивает Марья.

— А мы на них в карты играем,— поясняет черт.— Как люди на деньги, так мы на крыс...

Сказал он — и в дверь, крысы за ним потянулись, одна за другой. Аким всю ночь по комнатам бродил, не ложился.

— Куда же часы отцовские делись? Нет нигде...

А утром, только Шубниковы встали, стучит к ним кто-то в окно.

— Беда! — кричат.— Мертвое тело у вас за домом. Солдат убитый...

Вышли Шубниковы во двор, там красноармейцы стоят. Перед ними на земле тело мертвое. Глаза стеклянные в небо смотрят, руки по сторонам разбросаны. Соседи тут же. Кто-то говорит:

— Что самое нехорошее — руки не складываются, и глаза не закрываются... Так ведь и лежит...

Марья как подошла, сразу убитого признала — тот самый, что картошку у нее отнял, а потом вернул. Рядом с ним на земле часы валяются, те самые, ореховые, старинные. Стали Акима спрашивать, кто убил. Аким отвечает:

— Откуда же я знаю?

— Знаешь, знаешь. В твоём же дворе.

Окружили солдаты Акима, хотели с собой вести. Тут Марья над телом убитого нагнулась, пристально так в лицо смотрит. И вдруг мертвый поднимается с земли и садится. Кто-то из соседей закричал. А мертвый слабым таким голосом говорит:

— Хозяин не виноват... Рыжий меня убил, Ванюхин... Из-за часов... Не поделили мы с ним... Еще крысы какие-то меня грызли...

Посмотрели, а у него и правда ступни ног все изгрызаны. А мертвый сказал эти слова и обратно на землю повалился. И сразу руки у него на груди сложились и глаза закрылись. Все смотрят, понять ничего не могут. А Марья говорит:

— Отпустите отца. Он не виноват.

Только солдаты все равно Акима с собой забрали.

— Там разберутся,— сказали.

Повели они Акима, Марья за ними. Дом, в котором было ЧК, совсем рядом, за водокачкой. Акима повели за ворота, а Марья осталась на улице. Солдат с винтовкой на нее прикрикнул:

— Ну-ну! Нечего здесь стоять! Не положено!

Марья все равно осталась, до самого обеда стояла. А потом на крыльцо человек вышел в длинной шинели, без шапки. Марья сразу решила, что это самый главный в ЧК — Чумикин, председатель. Его в городе все хорошо знали. При царе он не раз в тюрьме сидел за кражи. У него и кличка была — «Васенька». Стоит он на крыльце, а к воротам в это время коляска подкатывает и прямо во двор. В коляске женщина стоит молодая с хлыстом, в зубах папироска. Марья ее часто видела на улицах, все ее боялись. Как увидят, разбегаются:

— Дора! Командир Дора!

Ее отряд так и назывался — Женский карательный отряд каторжанки Доры. И вот Чумикин садится в коляску к Доре и собираются они ехать кататься. Марья у ворот стоит, на них смотрит. Хлестнула Дора лошадь, та на дыбы и ни с места. Дора хлещет ее, а лошадь только хрипит. Все, кто был во дворе, со страхом смотрят. Думают, Дора сейчас выхватит револьвер и давай палить в людей. А случилось совсем другое. Дора поглядела на Чумикина и давай ни с того, ни с сего плеткой его охаживать. А Чумикин вдруг по-собачьи лаять стал. Часовой у ворот и того чище. Стоит на одном месте, шинель подобрал и ногами трясет, будто в воду зашел.

Ну, Марья тут глаза опустила. Лошадь сразу с места рванула и понеслась. Все смотрят друг на друга, понять ничего не могут.

Акима вскоре из ЧК выпустили. Только он после этого очень слабым сделался. Марья как-то посмотрела на него и на мать — они у нее совсем уже старенькие. Отец больше не плотничает, все на лавке у окна лежит. Анна тоже с постели редко встает.

Вот однажды завозилась Марья по дому с самого утра — воды принесла, печь растопила. Какой-то старик под окном стоит, напиток просит. Рубаха на нем без пояса, балахон парусиновый, за спиной котомка. Вынесла ему Марья воды и спрашивает:

— Что ж вы так и ходите? Без дома?

А старик ей отвечает:

— Раскулачили меня. Сначала лошадь отобрали, потом корову. А там и дом. Вот и жогу...

Потом поглядел он на Марью так странно и говорит:

— Сиротка ты моя, бедная...

«Какая же я сиротка? — думает Марья.— У меня отец с матерью есть». Вернулась она в дом и тут видит — мать ее Анна с кровати поднимается и из дома выходит. За ней отец тоже встает и идет к двери. «Куда это они?» — думает Марья. Вышла она следом на крыльцо, оглядывается — никого. Двор пустой. Постояла Марья, постояла и вернулась в дом. Только в комнату вошла, так глаза и вытаращила: лежат ее отец с матерью на своих местах, как и лежали. Подошла к ним Марья, тронула сначала мать, потом отца, а они не шевелятся.

Побежала она тогда к Утехиной, та как раз селедку чистила. Накормила ее Утехина селедкой с хлебом, чаю налила. Потом в дом к Марье пошла. Возвращается, Марья спрашивает:

— Что с моими родителями?

А Утехина отвечает:

— Надо же такое... В один день, в один час...

Помнит Марья похороны. Хоронить отца с матерью было не в чем, гробов не было. Мешки какие-то нашли, запихнули. Батюшка, отец Владимир, на кладбище говорил:

— Прими, Господи, рабу Божию Анну и раба Божьего Акима...

Марья потом каждый день ходила на могилку. Там, как на кладбище идти, дом по дороге старый, разрушенный. Возле него всегда красноармеец с винтовкой у костра стоит, греется. Увидит кого, сразу кричит:

— А ну прочь отсюда!

Люди идут к этому дому за дровами, топить нечем, а солдат гонит их прочь. Однажды Марья идет мимо этого дома, видит — солдат какого-то старика с санками гонит. Толкнул его, тот упал. Подошла Марья к старику помочь подняться, а это сторож из церкви Покрова. Старый уже, а его все Алешей зовут.

— В храме топить нечем,— говорит Алеша.— Не знаю, что и делать...

Марья тогда взяла его за руку и повела прямо к дому мимо красноармейца. Тот у костра стоит, на них смотрит, а видеть не видит. Нагрузили они санки досками — и обратно. И опять солдат смотрит на них и не видит.

У себя в каморке при храме Алеша напоил Марью чаем. Марья посидела у него, потом и говорит:

— Я могу прибраться у вас...

Вымыла она полы в каморке и в храме, перестирала белье. Отец Владимир вышел, благодарил ее. А Марья посмотрела на него и говорит:

— Что ж у вас за подрясничек, батюшка? Вороне на гнездо не годится. Совсем ветхий.

На другой день взяла она дома ложки и пошла на базар. Стояла, стояла, потом Кузнечиха к ней подходит.

— Что у тебя?

— Ложки,— отвечает Марья.— Мне полотно нужно.

Забрала Кузнечиха у нее ложки, дала целую штуку полотна, а потом и говорит:

— Я тебя знаю. Ты Марья Шубникова. Сирота. Как же ты одна живешь?

— А я не одна,— отвечает Марья.— Я теперь при храме живу...

Всю неделю шила Марья отцу Владимиру новый подрясничек.

Каморка у Алеши маленькая. Сам Алеша спал на досках, а Марье постель сделал из тряпок и старой одежды. В головах подушка из соломы. С утра Алеша всегда в храме. Ходит, пыль вытирает. И всегда при этом со святыми разговаривает. Подойдет к Николаю Чудотворцу, протрет тряпкой оклад, отойдет назад и скажет:

— Вот теперь хорошо. А то у тебя, святой Николай, пыли много. Ты уж прости меня.

Горячую пищу Алеша не ел, все больше хлеб с водою. А Марье варил суп из сушеной трески. Однажды Марья смотрит, Алеша и вовсе одну воду пьет, хлеба ни крошки. Пошла она тогда в храм помолиться, чтобы Господь хлеба

послал Алеше. Только вошла, смотрит — в углу большой кусок пирога лежит с горохом. Принесла она пирог Алеше, едят они.

— Откуда у тебя пирог? — спрашивает Алеша.

— Ангелы принесли...

— Как же бесплотный может дать плотскую пищу? — удивляется Алеша. Задумался он, потом говорит:

— Нет, не может невещественный дать вещественное...

А как Марья подросла, стала она на клиросе петь вместе с двумя старушками. Народу в храме всегда много, все суточные службы идут по уставу — полунощница, утренняя, часы, литургия, вечерня. К концу дня Марья еле на ногах держится. И вот вроде бы отойдут службы, а люди все идут и идут — кто исповедоваться, кто записки поминальные несет. Записок поминальных столько, что отец Владимир не справляется — и о воинах убиенных, о родственниках пропавших и замученных, о младенцах умерших. Марья помогает отцу Владимиру, а он ей жалуется:

— Приходит на исповедь, я ее про грехи спрашиваю, а она мне — живот у нее сводит... Есть нечего...

Особенно много в тот год было отпеваний. Покойников так и везут, одного за другим. Однажды Марья смотрит — Лизавета Утехина на телеге приехала. На телеге гроб, да большой такой, туда еще троих положить можно. Рядом с телегой мужчина какой-то усатый идет.

— Вот, — говорит Лизавета. — Мать моя померла. А гроб мы напрокат взяли. Вернуть надо.

— Другого не было, — объясняет усатый.

Сняли крышку, а там тело покойной Утехиной со всех сторон березовыми поленьями обложено.

— Дорога тряская, — говорит усатый. — Вот мы обложили, чтобы тело покойно лежало, не ерзало.

Стали поленья вынимать, Лизавета говорит:

— Надо бы, конечно, кутью принести, только у нас нет. Вот конфет достали.

Поставили вазочку с конфетами на столик, свечи зажгли рядом. После отпевания усатый спрашивает:

— Вот вы нам конфеты отпели. А что нам теперь с ними делать? Есть их можно?

А через день, как Утехину отпевали, являются в храм солдаты с винтовками. Отец Владимир выходит к ним, в руках не крест, не икона — игрушка детская: кукла-матрешка. Командир в фуражке усмехается:

— Ты что? Дитя, что ли?

Отец Владимир улыбается, головой кивает:

— Дитя, дитя...

Командир даже плюнул с досады. Стали тут солдаты в храме хозяйничать — ризы с икон срывают, подсвечники выносят.

— Это для народа, — говорит командир. — Народ бедствует. Золото мы переплавим, продадим за границу. На деньги хлеба купим.

Отец Владимир только вздыхает.

— Что вздыхаешь? — спрашивает командир.

— Да вот гляжу — сколько же муки вам с нами грешными... Сколько скорби из-за нас...

Как стали образ Николы Чудотворца снимать, Алеша кинулся, хотел помешать. Какой-то солдат оттолкнул его. Потом смотрит солдат на свои руки — мокрые. Провел он рукой по иконе — а там слезы, будто святой плачет. Алеша к отцу Владимиру.

— Что же это, батюшка?

— Ничего, ничего, — говорит отец Владимир. — Беды человеку непременно нужны. Иначе за что же Господь венцы давать будет? Он и посылает нам этих людей. Ради него мы и должны терпеть... Нести иго...

Один матрос все стоял посреди храма и в лики святые на стенах целился. Наведет револьвер, глаз прищурит и губами щелкает. Стоит он так, целится, потом Марью увидел. Да так на нее и уставился.

— Сколько тебе лет? — спрашивает.

— Шестнадцать исполнилось, — отвечает Марья.

Матрос долго еще вокруг нее ходил, разглядывал. Когда солдаты ушли, отец Владимир говорит:

— Вот мы все осуждаем их и молимся о себе. А ведь еще неизвестно, о ком больше надо молиться. О них, думаю, больше. Они — в духовном мраке.

А на другой день вваливается в храм тот самый матрос, что на Марью заглядывался, сам пьяный весь. И сразу к Марье:

— Иди за меня замуж!

Марья испугалась, за отца Владимира спряталась. Матрос тогда давай плясать перед алтарем. Кобура сбоку болтается, шапка набок съехала. Потом схватил икону и кричит:

— Святой, святой! Пляши со мной!

И опять в пляс пустился, икону к себе прижимает. Ногами притоптывает, кружится. И вот видно, что устал, остановиться хочет, а не может. Будто не в себе уже, не по своей воле пляшет. Отец Владимир смотрит на него.

— Не пляска уже это, а Божья кара.

Алеша тут кинулся к матросу, хочет руки его разжать, а не может. Руки как закоченелые. Тогда отец Владимир осенил матроса большим крестом, и тут руки матроса сами собой разжались, икона упала. Алеша еле успел подхватить ее. А матрос на пол рухнул, как неживой. Потом за ним товарищи пришли, на руки подняли и унесли.

Вечером Марья пила чай у Лизаветы, у нее как раз тот самый мужчина сидел с усами, который хоронить мать помогал. Рассказала Марья про матроса, а Лизавета говорит:

— Замуж тебе пора, Марья... Мужа надо искать...

Марья допила чай и говорит:

— Нет, я никогда замуж не пойду.

— Не век же тебе в девках сидеть? Мы вот с Захаром Петровичем тоже расписаться хотим... Немолодые вот, а тоже...

— Да надо, конечно, — говорит усатый.

На другой день, только литургия отошла, является в храм Лизавета, с ней мужчина какой-то незнакомый. Портфель холщовый, галоши, кепка. Вынул он из портфеля сверток, а там рыба отварная, картошка, хлеб. Лизавета говорит:

— Вот Сидор Сидорович... Чем тебе не жених?

А Марья свое:

— Я замуж не пойду...

А еще через неделю, наверное, снова приходит Лизавета.

— Расписались мы с Захаром Петровичем. Приходи на свадьбу...

После службы собралась Марья, пришла. Народу у Лизаветы мало, целовек десять. За столом сидят все веселые. Многих Марья знала: Золотаренко, Охватов — все с соседней улицы.

— Вон, — смеется Лизавета, — смотри, женихов сколько! Только выбирай.

Охватов самогон по стаканам разлил, ухмыляется. Он самый молодой среди гостей.

— Выбирай, выбирай! У кого лысина зацветет, того и бери.

У самого-то у него шевелюра густая. Все смеются, конечно. А как отсмеялись, смотрят друг на друга, глаза таращат. И вдруг видят — у одного на голове и в самом деле пух повился рыжий. А это известно кто — Осип Данилович, вдовец, ему уже за сорок. Как разглядели его, пуще прежнего хохотать стали. А Осип Данилович чуть не плачет.

— Как же так? Я не могу жениться... У меня дети большие. Школу окончили. Старый я... Только смеяться будут...

Лизавета никак отдышаться от смеха не может, глаза платочком вытирает.

— Это ничего, что стар, — говорит она. — Вам и не надо жить как муж с женой. Главное, чтобы Марья была пристроена. А то ведь пропадет она.

Когда гости расходились, Лизавета Марью к себе за занавеску затащила.

— Ты за Осипом Даниловичем как за каменной стеной будешь. А он тоже плотник, как отец твой покойный. Не век же тебе в церкви жить. А закроют ее, куда денешься? Сейчас все храмы закрывают.

И вот Лизавета как напороочила. Через два дня, как раз на день Усекновения главы Иоанна Предтечи, снова приходят в храм солдаты. Один кричит:

— Церковь закрывается!

Стали иконы из храма выносить и на улице в кучу складывать. Кто-то из солдат на купол забрался, крест стал подрубить. Народ на улице собрался, смотрит. Откуда ни возьмись Алеша выскочил, пальцем грозит.

— Накажет вас Господь! Поразит вас Господь!

Какой-то старик в толпе говорит:

— Уже наказал...

Все к нему оборачиваются.

— Как наказал? Когда наказал?

— Да вот ум отнял...

Тут отца Владимира из храма выводят, сажают на извозчика и увозят куда-то с двумя солдатами по бокам. Тот же старик говорит:

— Что попов-то судить? На то черти есть...

Рядом со стариком девочка какая-то стоит, голову опустила и плачет. Марья подошла к ней.

— Ты что плачешь?

— Я карточки хлебные потеряла...

Марья погладила девочку по голове и говорит:

— Идем ко мне, у меня есть...

Пришли они к дому Марьи, а там все закрыто и дверь опечатана. У входа солдат с винтовкой.

— Здесь теперь начальник ГПУ будет жить, — сказал солдат. — Дом-то бесхозный. Никто не живет.

— Как же так? — говорит Марья. — Там же карточки у меня...

А девочка тянет ее за руку.

— Идем к нам. Тебе же теперь негде жить...

Пошли они вместе, дорогой Марья спрашивает:

— Ты чья же будешь?

— Осипа Даниловича, — отвечает девочка. — Я Катя, дочь его.

Привела Катя Марью домой. Марья оглядывается — сарай какой-то, развалюха. На окне — клетка с канарейкой, прямо на полу кувшин с водой стоит. У стола Осип Данилович сидит.

— Я карточки хлебные потеряла, — говорит Катя.

— Что ж ты? — бормочет Осип Данилович.

С ним за столом еще двое, молодые совсем.

— Сыновья мои, — говорит Осип Данилович. — Семен и Яков. Они вообще-то в городе живут, у брата моего Леонида. На лето вот ко мне приехали.

— Потому что дядю Леню арестовали, — говорит Катя.

На нее сразу все зашикали, один из сыновей даже замахнулся.

— Язык тебе оторвать нужно! Молчи!

Накрыли стол на скорую руку, сели чай пить. Осип Данилович рубаху свежую надел. Сидит за столом, рассказывает Марье:

— До революции-то мой отец городским головой был. Царя видел... У нас в доме печать с родовым гербом есть — орел на мече. Потом еще яйцо фарфоровое. Подарок императора Николая на Рождество. Я потом покажу. Все там, в доме...

И рукой на окно показывает. Марья поглядела, там за окном особняк во дворе старинный, с колоннами.

— Это ваш дом? — спрашивает.

Осип Данилович головой кивает.

— Что же вы там не живете? — спрашивает Марья.

Осип Данилович сразу замолчал, в сторону смотрит. Катя на него поглядела и говорит:

— Демоны нас выгнали. Нечистое место. Проклятый дом.

— Как это — нечистое?

— Черти по ночам беснуются, — не выдержал Осип Данилович. — Собираются в полночь и давай возиться. Мебель двигают, стучат. И музыка, все больше революционная. Марши всякие, «Интернационал»...

Один из сыновей говорит:

— Этому дому больше ста лет. Его после Наполеона сразу построили. Князь какой-то.

— Князь Хилков, — вмешивается второй сын. — Построил взамен сгоревшего.

— А после революции,— продолжает первый,— комиссары в нем разместились.

Тут он замолчал, как язык прикусил, а второй за него шепотом:

— Людей допрашивали, пытали. Один арестант, говорят, здесь повесился. Вот с тех пор и нельзя в доме жить. Комиссары-то сразу съехали. Чего здесь только не было! Закройная мастерская — сгорела. Контора винной торговли — ограбили. Теперь дом пустует, никто в нем жить не хочет.

А когда встали из-за стола, Марья вдруг заявляет:

— Очень хочется на ваших чертей посмотреть.

Все, конечно, стали ее отговаривать, а она стоит на своем: покажите да покажите. Пустите в дом — и все тут. Ну, делать нечего, время уже позднее, к ночи, Осип Данилович повел ее в особняк. Сделал ей постель в самой большой комнате, коптилку наладил.

Вот ночью лежит Марья, задремала вроде. Вдруг чувствует — толкает ее кто-то. Открывает глаза, в комнате темно, только откуда-то из-под пола свет. А возле нее женщина крошечная, ее и не видно, такая маленькая.

— Дай мне тарелок,— просит.

— На что вам тарелки? — спрашивает Марья.

— Свадьба у нас...

Поднялась тогда Марья в подпол заглянуть. А там — гости. Стол накрыт, стаканы стоят. На всех шлемы с красной звездой. Посреди жених с невестой. Марья их сразу признала — Чумикин из ЧК и Дора с папироской в зубах. В одной руке у нее стакан, в другой — плетка. Посмотрела на них Марья и пошла тарелки в доме искать. Всю ночь под полом гармошка играла, ногами топали, под утро только стихло. Проснулась Марья, пошла по комнатам. Тарелок, какие она давала, нигде нет. Под полом тоже пусто. Только на полу бумажки какие-то разбросаны. Подняла она одну, а это облигации выигрышного займа. «Откуда они здесь взялись?» — думает она. Вышла Марья из дома, во дворе Осип Данилович, ждет ее.

— Ну слава тебе, Господи... Я уж думал, не увидимся...

Только с тех самых пор всякая чертовщина в доме прекратилась. Ни шума, ни музыки. Осип Данилович подождал, подождал да вместе с детьми в комнаты и перебрался.

— Оставайся с нами,— говорит он Марье.— Вместе жить будем. А то, не дай Бог, снова черти заведутся.

Катя тоже просит:

— Оставайся с нами, тетя Марья.

Марья подумала и согласилась. А через два дня у них гости — Лизавета с Захаром Петровичем. Посидели, чаю попили. Потом Лизавета и говорит:

— Расписать вам с Осипом Даниловичем надо, вот что. А то нехорошо как-то. Оно, конечно, вы как муж с женой не живете, я знаю, а все равно нехорошо. Дети смотрят.

— Что ж, если нужно, пойдём,— сказал Осип Данилович.

Через неделю пошли они в ЗАГС. Девушка, которая регистрирует, сказала Осипу Даниловичу:

— Я думала, это дочь ваша.

Ну, потом оформили их, записали. Свадьбы, понятно, никакой не было. Приезжала только из города Зоя Аркадьевна, жена брата Леонида. Так, посидели за столом, вина выпили. Ночью лежит Марья на диване, Осип Данилович на раскладушке у двери, Зоя Аркадьевна на кровати. Марья слышит, как Осип Данилович спрашивает шепотом:

— Как же это случилось? Как Леонида арестовали?

И Зоя Аркадьевна тоже шепотом отвечает:

— Очень просто. Позвонили в дверь. Говорят, монтер, снять показание счетчика. Мы и открыли.

— Что же Леонид такого сделал?

— Газету оставил в туалете, в мешочке. Сосед увидел и донес.

— Какую еще газету?

— Обыкновенную. Леня там чей-то телефон записал. Да прямо на портрете вождя, на усах. Агитация, десять лет...

Когда Зоя Аркадьевна уезжала, детей Осипа Даниловича она с собой забрала. Марья сначала даже обиделась, а Осип Данилович говорит:

— Ей теперь одной тяжело. Привыкла она к ним...

2

Марья все думала, как отблагодарить Лизавету за ее хлопоты. Собрала какие-то лоскуты, сшила ей халат. Лизавета, как увидела, прямо ахнула. С тех пор так и пошло. Кому пальто старое перешить, кофточку или юбку — все к Марье идут. От заказов у нее отбоя не было.

Вот сидит она вечером за работой, Осип Данилович рядом чай пьет.

— Дом у нас при царе богатый был, — рассказывает он. — Обои шелковые. Гости всегда. Обеды — так на сто блюд. Пироги из щучьей телесы, это я помню. Мадера ягодная, ост-индская в больших графинах. Отец в собольей шубе. Прямо на шубе звезда Станислава. Рысаки, экипажи — все из Вены.

Однажды днем, Осипа Даниловича дома не было, прибегает к Марье Лизавета. Села и сидит, отдышаться не может. Марья сначала думала: сшить ей что-нибудь надо. Только смотрит, на Лизавете лица нет. Руками машет, объяснить толком ничего не может. Подала ей Марья воды, она и говорит:

— Беда-то какая! Захар мой речь потерял. Совсем немым сделался. Будто язык проглотил.

Говорит Лизавета, а у самой слезы так и текут.

— Утром как ушел, я одна осталась. Долго его не было. Я уж волноваться стала. Потом является, глазами хлопает. Я его спрашиваю, а он мычит только, понять ничего нельзя. Знаки руками делает.

Лизавета платочек к глазам прикладывает. Марья поглядела на нее и тоже слезами залилась.

— Машет он руками, а я понять ничего не могу. Все в икону тычет, на ангела показывает. Потом перед глазами ладонью водит. Так выходит, будто ангел перед ним явился.

— А может, он вина выпил? — спрашивает Марья. — Бывает такое, я знаю. Вон Никита из булочной вина опился, три дня говорить не мог.

Лизавета только рукой машет.

— Какой там! Захар давно не пьет. Раньше точно пил, как молодой был. А теперь в рот не берет. Старый уже... Ну, про ангела я разобрала, — продолжает Лизавета. — А дальше снова ничего понять не могу. Он сначала на живот мой показывает, потом будто младенца на руках качает. Дескать, родить мне надо. Будто я сама не знаю. Я даже озлилась на него. «Куда нам? — говорю. — Старики ведь». А он все в икону на ангела тычет. Я так думала: может, ангел ему про ребенка что-то сказал. Дескать, ждите. «А язык твой где? — спрашиваю. — Тоже ангел отнял?» А он кивает. Так понять можно, что ангел немотой его поразил. Вот ведь несчастье какое...

А еще через месяц, наверное, опять прибегает к Марье Лизавета, платок на голове сбился, волосы растрепанные. Вбежала в комнату и сразу дверь на крючок.

— Что я тебе скажу, Марья! Все правда!

— Что правда? О чем ты?

— Да про ребенка! Правду ангел Захару сказал!

Марья так и села на стул.

— Не может быть!

Лизавета ей на ухо:

— В положении я. Только никому пока. Засмеют ведь люди. В мои-то годы...

Марья потом, как Лизавета ушла, все ходила по дому и думала: что ж это за ангел такой? Вечером приходит Осип Данилович, садится за стол картошку на ужин ест, Марья смотрит на него и опять думает: «Хоть бы одним глазком на ангела взглянуть! Какой он из себя? Верно, молоденький, красивый...» Она его по-разному себе представляла. Сначала на коне с саблей в руке, потом просто в белой рубашке, волосы золотые до плеч.

А Осип Данилович ей говорит:

— Мы тут с бригадой подрядились в Хомутовку. Скотный двор строить.

Марья, конечно, всплакнула сначала, потом собрала Осипа Даниловича в дорогу, проводила, сама ждать осталась. Осень уже глубокая, Осипа Даниловича все нет. А тут вышла она как-то к колонке за водой, на дворе холод, только

что снега нет. Идет, вдруг голос чей-то: «Марья!» Оглянулась — никого. Набрала она воды, вернулась домой. Только ведра поставила, опять чей-то голос: «Марья!» Подняла голову, а перед ней юноша, низенький такой, невзрачный. Ну ничем не примечательный. Такого на улице встретишь — головы не повернешь. И пахнет от него почему-то соленой рыбой. Марья его совсем не испугалась.

— Откуда ты взялся? — спрашивает с усмешкой. — Уж не ангел ли?

А юноша ей отвечает:

— Радуйся, Марья! Родишь ты сына.

— Как же я рожу? — смеется Марья. — Когда я с мужем не живу. Это против природы.

— Ты родишь сына без мужа. И будет он не такой, как все. Особенный.

Марья повернула голову к зеркалу, посмотрела на себя сбоку, платок поправила.

— А что это ты, интересно, ко мне явился? Почему именно ко мне?

— А я не только к тебе, — отвечает юноша. — Я и у соседей твоих был. У Лизаветы с Захаром. Немолодая она, а вот видишь, на шестом месяце уже.

— Это что же? — интересуется Марья. — Это, выходит, Захара Петровича немым ты сделал?

— Я, — отвечает юноша. — Кто же еще? Наложил печать на уста его. За то, что не поверил словам моим. Ты же вот поверила. А он не верил.

Засмеялась Марья, повернулась к зеркалу еще раз на себя посмотреть, а как снова на юношу взглянула — того уже нет, будто и не было вовсе. «Господи, — думает она. — Уж не привиделось ли мне?»

На другой день, еле дождалась Марья утра, бежит к Лизавете. Та у плиты возится, белье кипятит. Халатик на ней тот самый, что Марья ей сшила. Взглянула Лизавета на Марью и руками всплеснула.

— Матушка родненькая! И ты сподобилась!

Марья так на пороге и застыла.

— Откуда ты знаешь?

— Да уж вижу...

Обнялись они, расцеловались.

— Тоже ангел прихотил, — говорит Марья. — Да невидный такой. Никогда по нему не скажешь. Говорит — сын особенный будет. Не как все.

— Вот радость-то! — обнимает ее Лизавета.

А уже после Нового года стоит Марья как-то в очереди за хлебом, а Гусихина, кассирша, ей и говорит:

— Новость-то! Новость! Слыхали? Лизавета родила!

Бросила Марья очередь, побежала в больницу, в родильное отделение. А там под окном Захар Петрович стоит, мычит, руками машет. А в окно Лизавета ребеночка ему показывает.

— Мальчик? — спрашивает Марья.

Захар Петрович головой кивает.

— Как же назовете?

Захар Петрович достал из кармана бумажку мятую, огрызок карандаша и пишет: «Иван, Ваня». Протянул бумажку Марье и вдруг говорит:

— Иван...

Сказал и сам испугался. Марья тоже сначала не поняла, чей это голос. А Захар Петрович снова:

— Иван...

Так с тех пор Захар Петрович снова говорить стал. Сошла с него печать ангельская.

Вернулась Марья домой, а дома сюрприз: Осип Данилович за столом сидит, щи ест — вернулся. Взглянул он на Марью, на ее живот, да так и оторопел, ложку из рук выронил.

— Когда же ты успела? — спрашивает.

Марья стоит перед ним, молчит.

— Меня же люди засмеют! Позор-то какой...

Доел он свои щи, крошки хлебные собрал, потом и говорит:

— Нам развестись с тобой лучше...

Марья только вздохнула: развестись так развестись. А на другое утро Осип Данилович просыпается какой-то странный, не такой, как всегда. То ли сон ему

какой был, то ли видение, то ли еще что, только видно, что человек не в себе. На Марью уже не смотрит, глаза прячет. А как за стол сели, говорит:

— Ты, Марья, оставайся... Некуда тебе уходить...

К уху ее нагнулся и шепотом:

— Я про тебя все знаю... Понимаешь? Про ребенка и про все...

И даже до руки Марьи дотронулся.

— Ты не думай — никто ничего не скажет...

И все вроде бы складывалось хорошо. А тут в городе пошли разные события. Сначала объявился какой-то Кирюша, юродивый. Откуда он взялся — неизвестно, никто его раньше не видел. Остриженный наголо, ходит босиком по улицам. Трубу какую-то из бумаги свернул и дует в нее.

— Настало время антихристово!

Старушки вокруг него собираются, а он перед ними выступает:

— Сам сатана вышел из ада! В аду теперь никого, один Иуда! Все сатанинское воинство со своим князем выступило из преисподней! Великое горе на земле! Последние времена!

Однажды увидел на рынке Марью и рукой на нее указывает.

— Ждите человека, который сокрушит антихриста! Ждите человека!

Марья ходит по рынку, капусту квашеную пробует, а Кирюша свое:

— Реки беззакония по земле разливаются! Вижу! Вижу антихриста! Вот он ходит, руки потирает, слугами своими доволен!

И снова на Марью указывает.

— Ждите человека! Сокрушит он антихриста!

Когда же его спросили, какой он из себя, антихрист, Кирюша ответил:

— Мужчина серьезный, с бородкой. Лысый только, голова голая. И картавит. Вот то, что картавит,— первый его признак.

А сам хватает из бочки с рассолом капустный лист и на плешь себе лепит. Сок течет по лицу, капает.

Кирюша скоро исчез, пропал бесследно. Видели только, как вели его по улице два милиционера. А после Кирюши новый пророк объявился — Никодим Федоров. На голове — обруч какой-то, весь крестиками увешан, образками.

Никодим Федоров отчего-то все дни возле дома Марьи и Осипа Даниловича крутился. В других местах его редко видели. Марья жалела его, еду ему выносила, иногда даже в дом звала чай пить. Никодим Федоров не отказывался, приходил. Добавит в чай деревянного маслица из лампадки и сидит, пьет. Потом достанет из мешка какую-то старую толстую книгу и читает:

— Наступят дни. И путь истины скроется, и умножится неправда. Тогда будет царствовать тот, которого не ожидают. Будет смятение во многих местах, друзья ополчатся друг против друга. Тогда сокроется ум и разум удалится. Многие будут искать его, но не найдут. Люди в то время будут надеяться и не достигнут желаемого, будут трудиться, и не управятся пути их. Под конец же, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, придет царь наглый и искусный в коварстве. И укрепится сила его, и он будет производить большие опустошения и губить сильных.

Очень скоро в доме Марьи и Осипа Даниловича стали появляться какие-то странники убогие, старики и старушки. Как только Никодим Федоров в дом, они тут как тут. Заходят и стоят в дверях. Особенно часто старушка одна ходила в черном платке, с котомкой за спиной.

— Пророчество есть,— говорила она.— В книге написано. Явится, мол, скоро человек. Сокрушит неправду. Вокруг-то что творится.

А Никодим Федоров достает свою книгу и снова читает:

— Ожидайте того, кто даст вам истину. Близок он. Будьте готовы встретить его. И будет ему дана власть, слава и царство. Владычество его вечное. Царство его не разрушится.

Соседи часто говорили Осипу Даниловичу, предупреждали его:

— Смотри, будут у тебя неприятности.

Ну, так оно и вышло. Никодим Федоров тоже вскоре пропал куда-то, как и Кирюша. А к Осипу Даниловичу люди незнакомые пришли, одеты все одинаково — светлые плащи, серые шляпы. Они долго расспрашивали про Никодима Федорова, что он говорил, что делал, не оставлял ли чего. Осип Данилович вспомнил, что остался от Никодима Федорова мешочек какой-то. Вынес он его, развязали тесемки, а там пакетики какие-то бумажные, перевязанные бе-

чевкой, склянка черная. На склянке бумажка, и корявыми буквами на ней написано: «Тьма египетская, что была напущена на фараона». На пакетиках тоже надписи: «Косточки Кузьмы-Демьяна», «Перо из крыла Михаила Архангела», «Зуб кита, во чреве которого сидел Иона», «Щепочка от лестницы Иакова». Люди в шляпах все тщательно переписали, мешочек опечатали и с собой забрали.

Потом эти люди еще несколько раз приходили. А когда были в последний раз, строго наказали Осипу Даниловичу и Марье никуда из города не отлучаться. Бумагу какую-то заставили подписать.

А еще через какое-то время, рано утром, смотрит Марья в окно — участковый Мурин скачет к ним верхом. Лошадь возле крыльца привязал и в дом входит. Посадили его за стол, чаю налили. Мурин три чашки выпил, потом бумагу какую-то достает. Глянули, а это бланк областной прокуратуры, повестка — немедленно в область явиться. Осип Данилович на Марью показывает:

— Куда же такую вести?

— Велят — значит, надо, — отвечает Мурин. — За неявку знаешь что бывает?

Как участковый уехал, Марья с Осипом Даниловичем сидят, думают, как быть. Да делать, видно, нечего — надо ехать. Собрались они, дом закрыли — и в путь. Идут по улице, знакомые руками машут, счастливого пути желают. Дядя Вася, сапожник, он в будке на углу сидит, Мирзабек из керосинной лавки, Мыльнев, парикмахер. Вышли Осип Данилович с Марьей на шоссе, стали машину попутную ловить. Автобусы до города тогда еще не ходили. Какой-то грузовик сразу же остановился. Марья в кабине ехать не может, мутит ее от запаха бензина. Затащили ее в кузов, поехали. В кузове Марью, конечно, растрясло, жара еще тут. Лежит она, будто помирать собралась. Осип Данилович колотит в кабину.

— Стой! Стой!

Спустили Марью на землю, Осип Данилович говорит:

— Здесь где-то коровник должен быть. Мы его прошлой осенью строили.

Свернули они с шоссе, и точно — в стороне за невысоким забором сарай, длинный такой, низкий. Внутри прохладно, темно, навозом пахнет. Уложил Осип Данилович Марью в углу на солому, сам стоит, что делать — не знает. Потом оглянулся — люди какие-то в дверях незнакомые. Стоят и молчат. Наконец один из них, низенький такой, конопатый, говорит:

— Мы здесь на скотном дворе работаем, неподалеку. Только закусить сели, вдруг человек какой-то белый. «Здесь, — говорит, — рядом баба рожает». Мы его спрашиваем: «А ты кто?» «Я, — говорит, — Никодим Федоров». Сказал и исчез. Вот мы хлеба принесли, может, нужно. Пусть мамаша поест.

Другой, повыше ростом, говорит:

— Бабу Зину позвать надо...

Конопатый убежал куда-то, скоро возвращается, старушку за собой тащит, бабу Зину. Пока баба Зина возле Марьи возилась, Осип Данилович и не заметил, как Марья родила. Слышит только ее голос:

— Кто?

— Мальчик, — отвечает баба Зина.

Как Марья в себя немного пришла, повели они ее к бабе Зине домой. Только из сарая вышли, видят — стоят люди какие-то, три человека. Оборванные все, грязные, по виду странники или беженцы.

Баба Зина на них накинулась:

— Вам чего здесь нужно? Кто вы такие?

— Тут такое дело, — говорит один из них. — Чудеса какие-то. Приезжаю сюда и этих двоих здесь встречаю...

— Да кто вы такие? — опять спрашивает баба Зина.

— Я-то из северного края приехал, — говорит второй. — Нас туда всю деревню выселили. Просыпаемся как-то утром, а вокруг деревни солдаты. Погрузили нас на телеги — и на станцию. А дальше в телятники и на Север. В Архангельске высадили. В церкви какой-то поселили. Нары там деревянные в восемь этажей. Вот лежу я на самом верху, вдруг кто-то в белом передо мной. Говорит: иди туда-то и туда-то. Там должен быть человек, который сокрушит неправду. Изменит мир.

Тут первый перебивает его:

— В том-то все и дело. Он с Севера, а я из Сибири. Староверы мы. Все ушли в тайгу. От колхозов спасались. Там и жили. А потом тоже кто-то весь в блон... Говорит: явится человек, который победит антихриста.

— Ну а вы кто? — спрашивает баба Зина у третьего.

— Карл Нойман.

— Немец, что ли?

— Колонист с Поволжья. Нас выселили тоже. Степь, Караганда. В землянках жили. И тоже явление — белый человек. Иди, говорит.

— Вот мы и пошли, — продолжает старовер. — Сказали иди, мы и пошли. А зачем, и сами не знаем. Паспортов у нас нет. Может, думаем, изменится что в мире. Явится человек и все изменит. Мы так полагаем, что мир преобразить надо. А то как же?

— А как на дорогу сюда вышли, — снова говорит немец, — смотрим — звезда в небе. Как раз над этим сараем. Вот мы на звезду и пришли.

Марья подняла голову, и точно — в небе светится что-то — не то звезда, не то комета.

— И на кого глядеть теперь, не знаем, — добавляет старовер. — На сына или на мать. Кто мир преобразит?

Тут они стали перед Марьей подарки вынимать: из одежды там кое-что, из продуктов. Много ли переселенцы могут принести?

— Ну посмотрели — и будет, — торопит их баба Зина.

Привела она Марью к себе, комнату ей с Осипом Даниловичем крошечную выделила. На неделе батюшка Серафим, совсем старенький, приходил крестить мальчика. Баба Зина откуда-то купель притащила.

— Прямо не знаю, как его назвать, батюшка, — вздыхала Марья.

Отец Серафим погладил ребенка.

— Головка светленькая, золотая. Пусть Хрисанф будет. По-гречески — златоцветный.

Марья сначала испугалась.

— Это как же — Хрисанф? Имя какое-то странное. Прямо не знаю. Это что же — Саня, что ли? Санечка?

— Кирсан будет, — сказал Осип Данилович.

— Много горя и бед ты с ним хлебнешь, — сказал отец Серафим. — Не как все будет — особенный. Но ждет тебя с ним слава...

Прожили Марья с Осипом Даниловичем у бабы Зины неделю, стали домой собираться. Осип Данилович решил Марью с Кирсаном дома оставить, а самому уже в область ехать, в прокуратуру. А в последнюю ночь перед отъездом был Осипу Даниловичу голос:

— Не возвращайся домой. Ищут вас там.

Просыпается Осип Данилович утром и думает: «Кто же мне это говорил? Неужто все тот же Никодим Федоров?» А тут баба Зина прибегает с улицы.

— Война! По радио говорили: немцы на нас пошли. Второй день уже война.

В тот же день Осип Данилович с Марьей собрались и ушли от бабы Зины. Решили куда-нибудь подальше от своих мест. Баба Зина тележку им достала — вещи сложить.

А на дорогах что творится — не рассказать. В одну сторону — люди с мешками, узлами, чемоданами. Кто на телеге, кто пешком, кто тачку перед собой толкает. А в другую сторону — солдаты, машины военные. Жара, пыль, все кричат, дети плачут. Марья всего нагляделась за неделю, что они в дороге были. В лесу где-то остановились на ночь. Утром просыпаются, люди какие-то незнакомые перед ними. Оборванные все, грязные, кто во что одет. Один в телогрейке в тележке их роется.

— Что вам надо? — кричит Осип Данилович.

А его никто не слушает. Какой-то лохматый даже замахнулся на него ружьем. Марья Санечку к себе прижала, а лохматый с ружьем одеяло у нее из рук тащит. Тут высокий какой-то в фуражке и драной шинели одеяло у лохматого отобрал и обратно Марье кидает.

— Что ж мы, совсем без совести, что ли?

Марья подняла глаза на него.

— Господь воздаст тебе...

Тележку с вещами грабители все же забрали с собой. Марья с Осипом Даниловичем налегке пошли дальше. Днем сели на холме на травке передохнуть.

Внизу перед ними деревня какая-то, тишина, ветерок обдувает. Санечка плачет, молоко у Марьи пропало, кормить нечем. Сорвала она тогда листок какой-то с куста, пожевала и Санечке в рот сует. Санечка сразу успокоилась. Потом оглянулась — ручеек тут же, вода чистая. Удивилась Марья — странное дело. Сколько они здесь воды ни видели, везде она грязная, мутная, горькая. А здесь — ручеек прозрачный.

— Вот ведь тоже знамение, — говорит Марья. — Здесь нам и оставаться...

Спустились они в деревню, идут по улице. Возле крайней избы старушка на лавочке сидит. Увидела Марью с ребенком, рукой машет.

— Вон мимо той избы не ходите. Обойдите задами. Трощина там, колдунья. Слова по ветру пускает. Порчу может на ребеночка наслать.

Зашли Марья с Осипом Даниловичем к старушке чайку попить с дороги. Звали ее Пелагеей Ильиничной. Пелагея Ильинична им рассказывает:

— Трощина эта хитрая, она чем занимается? Нашлет на человека заразу, потом сама же к нему идет лечить. Ей за это продукты дают — кто сало, кто курицу. А без нее худо — все лицо так огнем и горит. А она приходит и жар снимает.

Сидят они так, пьют чай, а Пелагея Ильинична все рассказывает — люди-то новые.

— А еще был случай. Весной как-то вывезли на поле зерно семенное в мешках для сева. И вот дети идут, видят — возле мешков Трощина. Ребята думают: дай ее попугаем. «Что, — кричат, — зерно воровала? Мы все видели. Сейчас всем расскажем». Ну, они это, конечно, нарочно. И вдруг видят — нет Трощина, пропала куда-то. А бежит по полю боров здоровый — и прямо на них. Откуда там боров взялся?

Санечка давно спит, Осип Данилович тоже на лавке прикорнул, утомился в дороге. А Марья все за столом сидит, Пелагею Ильиничну слушает.

— Еще она может обернуть человека — кого в свеклу, кого в мышь. И вот мышь приходит и грызет свеклу. Сосед у нас — Вислобоков. Лежал он так в пиджаке, а мышь ему весь рукав изгрызла.

Потом и Марья сомлела и уснула прямо за столом. А утром, как все проснулись, Пелагея Ильинична и говорит:

— Вы уж оставайтесь у меня...

Ну, житье во время войны известно какое — скудное. Ходили на поле колоски собирать, мышинные копенки ворошить. Раструсишь такую копенку, а там колоски. Дома вымолотишь их, отвеешь — вот и хлеб. Потом еще мох с болота пекли с мякиной и картофельной шелухой и ели вместо хлеба.

В поле работать вместе со всеми Марья первое время не могла — Санечка все время болел. То вялый, сонливый, не ест ничего, то наоборот — беспокойный, не спит. Марья вконец с ним измучилась. А Осип Данилович что придумал: чтобы без дела не сидеть — валенки валять. Во дворе у Пелагеи Ильиничны сарай был. Осип Данилович этот сарай под валяльню приспособил: печь сложил, лавки сделал, полók — все, что нужно. Марья в пристройке рядом шерсть бьет, раскатывает, а Осип Данилович в сарае печь топит. Пар в валяльню густой, запах какой-то едкий, а Осип Данилович знай себе колдует. Валенки из кипящего котла достает и на полке валяет.

Председатель колхоза Хребтюк Евграф Маркович приходил валяльню смотреть. Долго готовые валенки в руках мял, потом сказал:

— Артель создавать будем. Валенки теперь армии нужны.

Взял себе пару валенок и ушел. Пелагея Ильинична на жильцов своих наравдаться не может.

— Что я тебе скажу, Марья. Трощина-то совсем сникла, как ты поселилась. Раньше она много всякого делала. А теперь вроде как силу свою потеряла. Не боится ее теперь никто...

Марья потом видела эту самую Трощину. Женщина как женщина, не старая еще, волосы под платок убраны. По виду ничего про нее не подумаешь. Идет себе, по сторонам не смотрит.

В избе у Пелагеи Ильиничны что ни вечер — гости. Все теперь к Марье ходят. Нинка Ухватова, соседка, чаще всех.

— Писем от мужа второй месяц нету, — жалуется. — Что с ним — не знаю...

— Ты не думай,— утешает ее Марья.— Не надо плакать. Что будет, то и будет. Кого-то убьют — на то и война. Кто вернется, кто нет. Если счастливые твои ребята, отец вернется...

Вот Нина по ночам встанет перед образом и молится: «Господи, помилуй, хоть бы мой вернулся». И вдруг слышит голос: «Я ведь приехал, я ведь не убитый».

На другой день Нина сама не своя, по дворам бегают, всем рассказывает, что с мужем разговаривала. Ко всем забегала — к Веронике, подруге своей, к Дорощее Самсоновне, доярке, к тетке Стефаниде. А вечером, в тот же день, похоронка ей: погиб ваш супруг смертью храбрых. Нина с похоронкой к Марье, плачет, слезами обливается.

— Как же так — погиб? Ведь я же голос его слышала.

А Марья поглядела на похоронку и говорит:

— Жив твой муж. Ранен только. Ты его жди.

Вот Нина и ждет, месяц ждет, другой. А на третий, только с поля вернулась, в дверях ее Коленька, на побывку после госпитала прибыл. Вечером у них в избе, конечно, угощение, гости. Марью усадили как самую почетную. Коленька во главе стола, все его слушают.

— Привезли нас, значит, на фронт. Станция есть такая — Гнилки. За станцию бой идет. Нас сразу на передовую, посадили в траншеи и велели кричать «ура». Потом уже винтовку дали трофейную, ржавую. Затвор каблукотом открываешь. Вот там меня и ранило.

И руку свою негнущуюся показывает.

Но не у всех было так, как у Нинки Ухватовой. У другой соседки, Луши Дворкиной, мужа и правда убили, это уже в самом конце войны. Марья так Луше и сказала:

— Ты своего не жди...

А утром Луша прибегает, белая вся, как бумага.

— Ночью Никифор мой приходил! Стоит за окном и руками по стеклу водит. Я кинулась к нему, а он с улицы глухо так: «Ты не знаешь... Война кончилась...»

А тут и правда по радио объявляют — войне конец. В деревне, конечно, праздник. Все обнимаются, по улицам гуляют. Кто плачет, кто танцует. Платонида Ниловна так плащам и кинулась, землю целует, просит сыновей вернуть. Дядя Влас вина выпил, с гармошкой ходит.

Раньше всех вернулся муж к Наде Брюхановой. Прибегает она как-то утром рано к Марье, дверь сразу на запор и шепчет:

— Степан мой вернулся. В самую полночь заявился.

— Где же он? — спрашивает Марья.

А Надя палец к губам, по сторонам оглядывается.

— Ему сейчас нельзя. Без документов он. Днем, говорит, я буду таиться... Чтотб не арестовали... А по ночам буду приходить...

А через несколько дней встречается ее Марья — узнать не может. Высохла вся, совсем щепка стала. Отошли они в сторону, от людей подальше, Надя шепчет:

— Станный какой-то мой Степан стал.

— Что же странного?

— Никогда есть не просит... И вообще...

Посмотрела на нее тогда Марья и говорит:

— Этот твой Степан ненастоящий... Это потайной муж, короче сказать — дух нечистый. А настоящий твой Степан скоро будет...

И точно, как Марья сказала, так по ее словам и вышло. Через день или два смотряя, идет по селу Степан Брюханов — фуражка, мешок за спиной. Хромает на правую ногу. Надя на крыльце стоит, в лице ни кровинки. Вечером возле дома на лавочке собрал Степан соседей, трофеи свои показывает: часы — несколько пар, бинокли, шоколад, бутылка с иностранным вином. Наде он юбку привез ситцевую, немецкую, правда, ношеную.

— Приходим мы в деревню,— рассказывает он.— А там никого, пусто. Немцы ушли, всех с собой угнали. Столы накрытые — сметана, масло, мед. Бери, что хочешь...

А утром Надя опять бежит к Марье, дух перевести не может.

— Ночью тот, второй, опять приходил... Как же мне быть-то?

Марья ей говорит:

— Ты рубашку свою ночную сожги.

Надя так и сделала, сожгла рубашку, дух нечистый и перестал к ней являться. А то она так бы и жила с двумя мужьями.

Как война кончилась, Марья все приставала к Осипу Даниловичу: едем домой да едем. Санечка вроде лучше стал, окреп, выходила его Марья, а то ведь совсем плох был, одно время чуть не помер. Только Осип Данилович не спешил, будто ждал чего-то. И вот однажды ему опять голос был: «Теперь можешь домой возвращаться...»

И опять голос вроде Никодима Федорова. Стали они тогда с Марьей домой собираться. Вещи в узел завязали, сверху узла одеяло, снизу — чайник. Санечка игрушки свои забрал — две тряпичные куклы. Пелагея Ильинична им говорит:

— Там в сарае две пары валенок осталось. Вы уж забирайте, пригодится... Забрали они валенки — и в дорогу.

3

Ну, вернуться-то к себе они вернулись, только вот дома своего найти не могут. Все вроде на месте — керосиновая лавка с большим замком на дверях, будка сапожника пустая, а дома нет. Вместо него — яма черная, вокруг камни, мусор. Осип Данилович смотрит в яму и все почему-то говорит:

— Вот тебе и валенки... Вот тебе и валенки...

Пошли они тогда к Лизавете и Захару Петровичу, а у тех дом заколочен. Соседка вышла, говорит:

— В эвакуации они. С самого начала войны. Как уехали, так там и живут. В Мордовии, что ли...

Заглянули они на всякий случай и в шубниковский дом, бывший трактир Васильева. Там контора какая-то, на двери замок. Когда проходили мимо бывшей церкви Покрова, заглянули в окно с решеткой. Мешки там, ящики — склад.

Вернулись они тогда к своей яме, что делать — не знают. Тут из дома, что по другую сторону ямы, женщина выходит незнакомая (раньше, до войны, здесь такой не было). Встала у крыльца и стоит, на них смотрит. Санечка Марью за руку дергает.

— Где мы жить будем?

А женщина у крыльца говорит:

— Идите уж ко мне...

Осип Данилович подумал и сказал:

— Я вам могу пару валенок отдать.

Развязал узел, вытащил валенки.

— Такие нигде не купите. На рынке вам дрянь подsunут. Крахмалу для твердости набухают или тушью для черноты зальют. А эти — своими руками...

Звали соседку Громогласова Анна Тихоновна. Пришли к ней в дом, а там на табуретке возле окна мужчина сидит в черных очках. Перед ним на столе машинка швейная, вся по частям разобранная, тут же инструменты.

— Вот, — говорит Анна Тихоновна, — муж мой, Макар Семенович. С войны вернулся без глаз.

— Как же без глаз? — удивляется Осип Данилович. — Он же вроде машинку ремонтирует.

— Машинка — это так, — отвечает Макар Семенович. — Соседка просила. Я больше по гармошкам мастер. Это вот мое дело. В гармошках что самое трудное? Пластиночки там такие медные. Их на тонкий глаз подбирать надо. Чтобы, значит, голоса правильно подогнать. А я ухитрился. На язык пробую...

Остались Осип Данилович с Марьей и Санечкой ночевать у Громогласовых. А у тех у самих комнатенка — два шага от стенки до стенки. Утром Осип Данилович как встал, сразу на рынок — валенки продавать. Возвращается рано, к обеду, без валенок. С ним человек какой-то чернявый, цыган, наверное.

— Собирайся, — говорит Осип Данилович Марье.

А той что собираться? Завязала в узел вещички, Санечку одела — и готова. Проводили их Громогласовы, Анна Тихоновна даже всплакнула:

— И не прожили совсем...

Долго водил цыган Осипа Даниловича и Марью по улицам. То в одну свернет, то в другую.

— Нет, не здесь, — говорит.

Наконец, вышел в какой-то проулочек и остановился.

— Точно — здесь.

А там домик какой-то низенький, не домик даже — сарай. Стенки тоненькие, обшарпанные.

— Ничего, — говорит Осип Данилович. — Мы их планками обошьем от старых ящиков. Покрасим. Будет дом как новенький...

А когда цыган ушел, старушка какая-то из дома напротив выходит. Сморщенная вся, платок черный.

— Связались с чертом, — говорит. — Не знаете — у цыгана глаз черный. Не ждите добра на этом месте.

А Осип Данилович ее не слушает.

— Все хорошо будет.

И верно, первое время все шло хорошо, прямо по его словам. Марья в мастерскую швейную устроилась, заказы на дом брала. Рубахи шила, халаты. Домик Осип Данилович отделал на славу — любо-дорого поглядеть. Крыша новая, окна блестят. На новоселье соседей собрали, Марья стол накрыла. Старушку из дома напротив, Феодотию, тоже пригласили.

— А вы говорили: не ждите добра, — сказала ей Марья. — Вон как все хорошо!

Как за стол сели, Осипу Даниловичу сюрприз. Приходит вдруг почтальон и говорит:

— Пляши, дед! Весточка тебе!

Осип Данилович вскрыл письмо и прослезился.

— Это от сыновей... Живы-здоровы... На войне были. Воевали... Яша и Сеня... Скоро приедут...

Сразу после новоселья принялся Осип Данилович печь в доме класть — зима не за горами. А тут является к ним Громогласова Анна Тихоновна.

— Макар Семенович мой помер, — говорит.

— Он же вроде нестарый был, — удивляется Осип Данилович.

— Рань военные... Что тут сделаешь?

Осип Данилович все дела отложил, взялся гроб для Макара Семеновича делать. Все, кто потом видел его работу, только головами качали.

— Теперь так уж не делают...

Похоронили Макара Семеновича честь по чести, помянули, как положено. А потом и повелось: кому какую плотницкую работу надо — все к Осипу Даниловичу. От заказов отбоя не было. Осип Данилович даже взмолился:

— Хоть бы Кирсан помог!

А Кирсан стоит рядом, смотрит, как отец работает. А у того, как назло, заминка. Одна перекладина вышла короче другой. И так ее Осип Данилович прикладывает, и этак — ничего не получается. Тогда Кирсан берет у него перекладины, кладет вместе и выравнивает с одного конца. Осип Данилович смотрит, глазам не верит — обе перекладины одинаковы. С тех пор Кирсан стал с ним вместе работать. Его везде так и звали — Кирсан-плотник, на улице, в школе.

В школу, надо сказать, Кирсан ходил неохотно, много пропускал. Марья к учителям бегала, спрашивала: что делать? А учителя отвечали:

— Ему в школе нечего делать. Он и без нас все знает. Мы порой даже не понимаем, что он говорит, ваш Кирсан-плотник...

А когда приехали дети Осипа Даниловича навестить отца, он тоже так и представил Кирсана — Кирсан-плотник.

Дети Осипа Даниловича совсем взрослыми стали, даже будто чужие. Только Катя, как была маленькая, так и осталась. Осип Данилович и не знал, о чем с ними говорить.

— Как вы там воевали? — спрашивает.

— А что? — отвечает Семен. — Нормально. Все, как надо. Кормили хорошо — каша, сало, колбаса. Одеты тоже дай Боже — шуба, валенки, фуфайка. Белье теплое...

А Яков трофеи свои показывает — погон немецкий, пуговицу, часы, значки какие-то.

— Это я с каждого убитого немца брал что-нибудь на память.

Марья посмотрела на него и говорит:

— Сколько же ты людей загубил, Господи!

А Яков даже засмеялся:

— Не людей, мать, а врагов!

Потом, когда дети Осипа Даниловича уехали, письмо от них пришло: «Дядя Леня вернулся...» Это уже когда Кирсан школу оканчивал. Ну, Осип Данилович с Марьей собрались, конечно, в город и Кирсана с собой взяли. Приехали они, только в квартиру вошли, Катя навстречу. Ее и не узнать — такая красавица вымахала, прямо невеста. Она и говорит:

— А дяде Лене в лагере собака пальцы отгрызла.

Осип Данилович смотрит на брата, а у того и правда на левой руке культя с одним пальцем.

— Как же ты там, в лагере? — спрашивает.

— А что в лагере? — отвечает брат. — Жить везде можно. Вот ведь чуть не помер, а живу... Дошел я там на лесоповале совсем, свалился. Лежу в лазарете, прямо неживой. А тут охрана — мертвых забирают. И меня вместе с ними на телегу. Везут нас, а я и говорю охраннику: мол, живой я. А он мне: начальству лучше знать, кто живой, кто мертвый. Ну, вывалили нас в лесу возле дороги, стали яму рыть. А пока они рыли, я и уполз. Потом снова в бараке жил... Целую неделю рядом с мертвым спал. Мы умерших сразу не объявляли. Чтобы пайку их получить... Жить везде можно...

Марья слушает его и не заметила, как Санечка куда-то пропал.

— А я на них зла не держу, — продолжает дядя Леня. — Обида есть, а зла нету. Вот почему и живу, что зла нету. В этом, может, и есть смысл жизни, чтобы без зла. Тогда и жизнь будет...

А как стали Марья с Осипом Даниловичем домой собираться, хватились — Санечки нет нигде. Кинулись туда-сюда — нет, как сквозь землю провалился. Автобус уже давно ушел, а они все Санечку ищут.

— Что же он у вас такой странный? — говорит Яков.

— Прямо бродяга какой-то, — поддерживает его Семен.

Наконец, поздно вечером уже нашли его. Сидит он во дворе в беседке среди взрослых, разговоры слушает. Музыка там, пластинки заводят, танцы. Санечка смотрит, как люди вино пьют, с женщинами обнимаются.

— Как тебе не стыдно? — говорит Осип Данилович. — Мы с матерью с ног сбились, ищем тебя.

А Санечка говорит:

— Моя семья здесь — с людьми. Здесь мой отец и моя мать.

Люди вокруг смотрят на них, смеются. Какой-то стриженный подходит к Санечке и глиняную птицу-свистульку ему протягивает.

— Повесели отца с матерью.

Санечка глядел на него, глядел, потом как хлопнет в ладоши, как крикнет:

— Лети!

И глиняная птаха вдруг взмахнула крыльями и взлетела. Все так и ахнули. Потом посмотрели на стриженного, а у него рука висит плетью — отсохла. Все сразу закричали, руками замахали.

— Уходите отсюда! Уходите!

Осип Данилович взял Санечку за ухо и повел за собой.

— Не делай ему больно, — говорит Марья. — Он и так слабенький.

Но с того самого дня, как побывали они в большом городе, Санечка только и спрашивал:

— Когда снова поедем?

А тут, как нарочно, опять случай. Зоя Аркадьевна, жена брата Леонида, открытку прислала — приглашает на свадьбу. Дочь ее от первого брака, Земфира, замуж выходит. Осип Данилович приболел, поехать не мог. Пришлось Марье одной с Санечкой ехать.

Народу на свадьбе много, в квартире не повернуться. Везде толпятся — в коридоре, на кухне. Марья только отвернулась, глядь — Санечки опять нет нигде, пропал. Спрашивает она у детей Осипа Даниловича: не видели Санечку?

— Нет, не видели, — отвечают они. — Бродяга он у вас...

Потом уже, когда за стол стали садиться, Санечка является, да не один, а с компанией какой-то. Что за люди — неизвестно, никто их не знает и не пригла-

шал. Один особенно подозрительный — тощий, кривой на один глаз и хромет — вылитый черт. Уселась вся эта компания за стол и давай кричать: «Горько!» А сами рюмки себе все наливают и наливают. В середине вечера хозяева хватились — вино кончилось. Жених с невестой, конечно, чуть не плачут. Веселье в самом разгаре, а пить нечего. Гости их утешают:

— Шут с ним, с этим вином! И так хорошо!

А новые приятели Санечки только гогочут. Особенно тот самый кривой надрывается, прямо лопнет сейчас от смеха. А как отсмеялся, кричит:

— Несите сюда воду!

Гости на него косятся, головами качают, а он хоть бы что.

— Давайте воды! — кричит.

Тут Санечка вдруг вскакивает и бежит на кухню. И вот уже несет большой бидон с водою, прямо на стол ставит.

— Куда ж ты на скатерть-то? — обиделся жених. — Ведь грязный.

А кривой знай себе хохочет.

— Снимайте крышку! — командует. — Открывайте!

Открыли бидон, а там и не вода вроде — жидкость какая-то темная. Все смотрят, ничего не понимают. А Санечка и тут вперед выскочил. Наливает себе стакан и пьет.

— Вино! — кричит.

Никто, конечно, не верит, думают — розыгрыш. Потом потихонечку тоже стали пробовать — точно, красное вино, сладкое. И все сразу к бидону потянулись, друг друга отпихивают. Снова пошло веселье.

Под конец свадьбы Санечка с приятелями опять куда-то пропали. Марья даже не заметила, как они исчезли. Вроде только что здесь были и вдруг сразу нет. Почти все уже разошлись, только некоторые остались. Один уснул прямо на стуле и свалился на пол. Другой на столе разлегся, посуды много перебил. А Марья по квартире ходит, Санечку ищет. Квартира коммунальная, комнат много, запутаться можно. Гости разлеглись кто где. Какие прямо на полу по комнатам, какие на стульях. В коридоре тоже парочки устроились. Только под утро уже кто-то из соседей вышел на кухню и сказал Марье:

— Они на станцию поехали...

Кинулась Марья на станцию, светает уже. Смотрит она — на путях вагоны стоят, а на земле возле вагонов Санечка сидит. Вокруг него мусор, бумага всякая-то, бутылки стоят. Увидел он Марью, спрашивает:

— Что ты тут делаешь?

— Тебя ищу, — отвечает Марья.

— А мы тут с приятелями, — говорит Санечка. — Вот закусывали. Угощайся...

Разворачивает какую-то бумагу, а там комья земли. Он другую — и там тоже земля, и в третьей — комья. Бутылку переворачивает, а из нее жижа грязная течет. Привезла Марья его домой. Только с того дня Санечку будто подменили. Все дни у окна сидит, ничего делать не хочет. Осип Данилович звал его помочь — не идет.

А как школу окончил, вовсе никакого сладу с ним не стало, совсем от рук отбился. Все дни с приятелями где-то пропадает. Вот является домой под утро. Опухший весь, помятый, вином от него пахнет. Хорошо, Осипа Даниловича дома не было, он теперь в бригаде какой-то, Дворец культуры строят.

— Где же ты был? — спрашивает Марья.

— Сосед завел...

— Какой сосед?

— Карп Захарович... Заходит, говорит — пойдём со мной... Шли мы с ним, шли. Потом вижу — я на берегу сижу. А Карп Захарович пропал куда-то...

Уложила Марья Санечку спать, на голову полотенце мокрое положила. «Вот ведь пророчили — особенный будет, особенный, — думает она. — А какой же он особенный? Обыкновенный пьяница!»

Потом глянула Марья в окно, а по улице тот самый Карп Захарович идет, сосед. Она сразу к нему.

— Куда это вы вчера моего Санечку водили? — спрашивает.

— Побойся Бога, Марья, — отвечает Карп Захарович. — Я вчера из дома не выходил. Простыл я, температура. Вот к врачу иду.

Утром Санечка просыпается, Марья у него спрашивает:

— Что ж тебе дома не сидится? Жил бы себе...

А Санечка отвечает:

— Меня будто все гонит кто-то из дома. Все время голос слышу, грубый такой. Иди, мол, гуляй отсюда. И стучит по ночам. То сверху, то снизу. Встану, а никого нет. Главное — дескать, иди отсюда...

— Это тебя домовой невзлюбил, — вздыхает Марья.

«Выходит, права была Феодотия, правду говорила — нет нам счастья в цыганском доме». Тайком от Осипа Даниловича пошла она как-то вечером к Феодотии, что делать? — спрашивает.

— Домового задобрить надо, — говорит Феодотия. — Оставь кусок пирога на пороге.

Марья так и сделала. Испекла пирог с капустой, отрезала большой ломоть, положила у порога и стала ждать. Вот сидит она, ждет, вдруг стучится кто-то в окошко. Открыла дверь, а это Карп Захарович, рубашку просит перешить. Увидел кусок пирога на пороге и говорит:

— Ты лучше Кирсана в лечебницу отдай. Теперь вылечивают. Я вон сам сколько пил. А теперь ничего. Вылечили.

А Марья ему:

— Это Санечка не по своей воле. Это в нем чужая воля — злая. В человеке воля всегда добрая. Если злая — так это от демонов. Демоны его мучают. Вот он и пьет...

Марья всех демонов в лицо знала. Самый первый — лохматый такой, голова острая, как у всех чертей. По-собачьи лаять любит и в ладоши все время хлопает. Это хмелевик, хмельной шиш. Он больше всех Санечке досаждал. Явится перед ним и пристает:

— Покажи чудо! Покажи чудо! Не можешь? А я могу!

И пожалуйста — поднимает с земли камень, а это уже не камень, а кусок хлеба, теплый еще. Тут же и графин с вином и закуска откуда-то.

Однажды возвращается Марья домой из своей мастерской швейной, а лохматый тут как тут. Сидит возле стола, развалился, ногу на ногу. Увидел Марью, схватился и скорей бежать.

— Санечка-то где? — только и успела крикнуть ему вслед Марья.

Скрылся хмелевик, а Санечки все нет и нет. День проходит — Санечка не является. Утром кто-то из соседей в окошко стучит.

— Твой-то Кирсан на крыше...

Выскочила Марья из дома, а Санечка и впрямь на крыше сидит, за трубу держится. И вроде бы чей-то голос:

— Прыгай же, не бойся! Ну, прыгай!

Марья тут сразу руками замахала, кричит:

— Сиди на месте! Не двигайся!

Притащила она лестницу, приставила и полезла за Санечкой. Узнала Марья голос, который кричал «прыгай». Тоже демон, другой уже — карнаухий. Лицо белое, сам черный весь, и уха одного нет.

— Где же ты был? — спрашивает Марья у Санечки.

— На свадьбе гулял... У Рукавицыных...

А у Рукавицыных никакой свадьбы не было, Марья хорошо знала. Она с Рукавицыной Адой Егоровной накануне два часа в очереди стояла за мясными костями. А Санечка знай рассказывает:

— Дома я сидел, как ты ушла. А тут Рукавицына заходит, Ада Егоровна. Говорит: идем ко мне, у меня свадьба. Федюша мой женится... Ну, пришли мы, сидим, ждем. Вдруг невесту выводят. Я ее сразу признал — Глаша Прохорова. Тогда еще подумал: «Что же голова у нее так криво?» Потом салфеткой утерся — и все пропало. А я вроде на крыше сижу...

Вечером приходит Осип Данилович, ужинать не садится, сразу в сарай идет, хмурый такой.

— Что с тобой? — спрашивает Марья.

— Работа срочная, — отвечает Осип Данилович. — Гроб надо к утру.

— Господи, спаси и сохрани, — крестится Марья. — Кому же это работа?

— Прохоровым. Беда у них. Глаша ихняя повесилась. Сегодня днем. Приходят, а она в сарае висит.

Марья так и села. А сама думает: «Это все хмелевик и карнаухий! Их это работа!»

Теперь еще один демон. Волосы распущены, сам синий весь, глаза выпучены. Он даже имя имел. Его так и звали — Василий Иванович. Тоже все к Санечке приставал, проходу не давал:

— Покажи фокус! Не можешь? А я могу!

И руку в карман сует. Потом вытаскивает, в кулаке что-то держит. Разжимает кулак — и перед Санечкой девица. Да такой красоты, что дух захватывает.

— Только поклонись мне! — нашептывает Василий Иванович. — Все твое будет! Все девки и бабы! Только служи мне, и все тебе отдам!

А девица эта самая из кармана берет Санечку за руку у всех на глазах и уводит куда-то. Санечка потом Марье рассказывал:

— Привела она меня к себе, на кровать усадила. Сама ходит, вина наливает. А потом я смотрю — у нее нога вроде коровья. Хотел я спросить, а она мне: «Ты больше сюда ко мне не ходи...»

Легла Марья спать, утром просыпается, Санечки в доме нет. Постель его не тронута, будто не ложился. Накормила она Осипа Даниловича, отправила на работу. Тут и Санечка является.

— Ты где пропадал?

— В город ездил, в область...

— Господи, как же это?

— Знакомую искал. Ту самую, у которой нога коровья... Мне сказали, что она теперь в городе...

— Да как же ты успел в одну ночь туда и обратно?

А Санечка и сам не знает. «Это Василий Иванович его возил», — думает Марья. А Санечка задумчивый какой-то, странный.

— Вот что интересно, — говорит. — Иду я сейчас к дому, только мосточек перешел, смотрю — у речки дед сидит в белой рубашке. Подошел ближе, а это не дед вовсе, а баба. Сидит и гребнем волосы чешет. Я еще думаю: «Что это она ночью мыться вздумала?»

Вынимает тут Санечка из кармана гребешок и Марье показывает:

— Вот я гребешок ее взял...

«Нехорошо это, — думает Марья. — Не к добру. Так и жди какой напасти».

Вот ночью, только все легли, скребется кто-то в окно. А Санечка будто ждал, вскочил сразу — и к окну. На улице голос тихий такой, нежный:

— Пусти меня к себе, Санечка...

— Как же я пущу? — шепчет Санечка. — Сюда нельзя...

— Тогда отдай мой гребешок...

Схватил Санечка гребешок — и на улицу, только дверь за ним хлопнула. Три дня его дома не было. Потом приходит, лицо белое, чужое.

— Женюсь я, мама, — говорит.

Марья так руками и всплеснула.

— Как же так сразу? На ком?

Вот Санечка и рассказывает. Три дня его та баба с гребешком у себя держала, отпускать не хотела. Еле вырвался от нее. Идет домой, в город, дорога вроде знакомая, сколько раз здесь ходил. Вон мостик через овраг, справа — заборы. А тут идет — а города все нет и нет. Потом будто позвал его кто. Свернул он на голос и очутился в незнакомом месте. Лес какой-то, кусты. В кустах не то пещера, не то берлога. Подошел он ближе. И тут вдруг кто-то как схватит его за руку — и в берлогу. И голос женский:

— Ты на мне женишься?

Санечка не видит кто — темно же.

— Ладно, — говорит, — женюсь. Только на свет выходи.

— Не могу, — отвечает голос. — Раздетая я!

Вышел Санечка из берлоги, а сам думает: «Может, старуха какая страшная...» А из берлоги голос:

— Ты уж не забудь. Одежду мне принеси...

Ну, делать нечего. Собрала Марья одежду, какая была, — кофточка там легкая, юбка в цветочек. Вечером ушел Санечка, всю ночь пропадал. Под утро является, девушку какую-то за руку ведет.

— Вот, это моя невеста...

А Марья глянула — у нее волосы зеленые. Она так и вскрикнула:

— Кикимора! Шутовка!

А девица только хихикает да все на одном месте подпрыгивает. Так и пропала она неизвестно куда. Санечка потом долго ходил, искал ее, ждал возле берлоги, но она больше не показывалась.

Санечка ходил сам не свой, как в воду опущенный. Карп Захарович, как рубашку свою у Марьи забирал, так прямо ей и сказал:

— Непутевый он у тебя! Порченный! Лечить его надо!

Марья и сама знает, что надо. Опять пошла к Феодотии, просит помочь. Та долго не хотела идти, отказывалась, потом все же пришла. Только все ее лечение было напрасным. Ни шалфей, ни подорожник не помогли. Тоже луковица вареная с толченой корой.

— Санечка у меня особенный,— все говорила Марья.— Не как все.

Велела тогда Феодотия на ночь под голову Санечки класть лягушку в капустном листе. День кладет Марья, другой — никаких перемен. А на третий просыпается она — нет Санечки. Ждала его весь день — не дождалась. Не явился он ни на другой день, ни на третий, короче сказать — пропал. Марья с ног сбилась, всех знакомых обегала — никто Санечку не видел. В милиции ей сказали:

— Найдется, не волнуйтесь. Человек — не иголка.

Соседи каждый день заходили к Марье, жалели ее:

— Бедная ты, Марья, бедная... Сколько же тебе муки с этим Кирсаном...

— Это ничего,— отвечала Марья.— Лишь бы ему было хорошо...

Карп Захарович тоже заглядывал часто.

— Его, наверное, в армию забрали,— говорил он каждый раз.

— Да не берут его,— отвечала Марья.— Слабенький он. Болеет все время.

Это уже перед самой смертью Осипа Даниловича было. Осип Данилович тогда старый совсем сделался.

Марья его детям открытку послала — мол, совсем плох отец. Дети приехали, а Осип Данилович помирает. С постели уже не встает. Все лежит, на детей смотрит, а узнать их — не узнает. Потом вдруг явственно так говорит:

— Подайте мне веник...

— Зачем тебе веник? — спрашивает Марья.

А Осип Данилович глядит только в глаза и сказать уже ничего не может. Похоронили Осипа Даниловича на городском кладбище, рядом с родителями Марьи. Гроб-то себе он уже давно приготовил. На поминках народу немного — Карп Захарович, Громогласова Анна Тихоновна, Феодотия тоже пришла. Марья все убивалась, что Санечки нет, не проводил отца в последний путь. Карп Захарович ей сказал:

— Вино его сгубило, твоего Кирсана. Его потому хмелевик и бьет, что черт вселился. И владеет им в полную силу. Это я знаю. Я сам как пить начал? Раньше ведь в рот не брал. А тут как-то сидел у окна, валенки подшивал. Вдруг под окном кто-то: «Угостись, дядя...» И рюмка откуда-то на окне. Ну, я и угостился. А потом смотрю — мать честная, валенка одного нету. Понял я, что это — черти. Готовят они в водке особого червя — белого такого, тоненького, как волосок. Выпьет человек такого червя и становится горьким пьяницей. И ничего не помогает. Меня уже отчитывали в церкви псалтырем три раза. Чертополох тоже не берет. Потом вот в больнице, правда, вылечили...

— Что же с чертом поделаешь? — говорит Громогласова Анна Тихоновна.— Разве с ним сладишь?

— Вот так-то и Санечку моего,— вздыхает Марья.— Сгубили демоны. Где он теперь? Может, и в живых нет.

— А это мы сейчас узнаем,— говорит Феодотия.— Неси вещь какую-нибудь от сына.

Нашла Марья старую Санечкину зимнюю шапку. Феодотия побрызгала шапку водой, пошептала что-то над ней и в печь сунула. А как сунула — в трубе сразу голоса разные: завыли, закричали. И кажется Марье вроде знакомый голос Санечкин. А Феодотия и говорит:

— Жив твой Санечка. Живой... Ты его жди...

Марья с тех пор так и ждала Санечку.

А тут объявился в городе человек странного вида. Шуба на нем козлиная мехом наружу, хотя на улице жара, сандалии на босу ногу. Волосы длинные, до плеч. Сначала, как он появился, никто в городе его не признал. Думали — нищий какой-нибудь или странник юродивый. Такие сюда часто заходят. А потом вдруг кто-то и говорит:

— Да это же Иван! Ваня! Сын Лизаветы и Захара Петровича!

И все тогда сразу так и решили — Иван, сын Лизаветы. А Иван собирал вокруг себя людей и говорил им:

— Я могу научить вас истине! Но идет за мной плотник, который сильнее меня! Он вас научит!

Многие тогда смеялись над его словами.

— Какой же это плотник? Уж не Кирсан ли, который в городе пьянствует?

Старожилы, которые знали Лизавету и Захара Петровича, зывали Ивана к себе в гости, угощали его. Только Иван от всякой пищи отказывался, ел лишь хлеб и зелень, вина не пил совсем.

Марья тоже, как о нем узнала, все к себе звала. Иван долго не шел, наконец появился. Накормила Марья его хлебом, потом спрашивает:

— Может, ты, правда, Санечку моего видел? Как он там?

А Иван жует хлеб и опять свое:

— Идет за мной плотник! Сильнее меня!

Так Марья ничего от него и не добила. А Иван потом и вовсе пропал куда-то. Видели, как подошли к нему на улице два милиционера, втолкнули в машину и увезли. Ермолаевна, которая на рынке семечками торгует, говорила, что точно знает — Ивана в психушку упекли.

А после этого до Марьи стали доходить слухи, что видели ее Санечку в самых разных местах — то в городе, то в Хомутовке, то еще где-то. Рассказывали, будто ходит он с какой-то компанией, человек десять, чудят, фокусы показывают. Громогласова Анна Тихоновна зашла как-то к Марье платье перешить.

— В городе-то что было, не слышала? Ермолаевна на рынке рассказывает, только что оттуда. Ну, точно твой Кирсан. Идет будто бы он по улице, а навстречу ему мужик какой-то. Трясется весь, сам в язвах. С похмелья, что ли. Кирсан твой все прыгал вокруг него, дразнил, язык показывал. А потом дотронулся рукой — и мужик в один миг исцелился. Трястись перестал, болячки все сошли.

Марья уже и не знает — радоваться ей или огорчаться.

— Может, это вовсе и не мой Санечка...

Другой раз Карп Захарович, только что вернулся из Хомутовки, у племянника гостил на именинах. Марья как раз жилетку ему сшила.

— Сам видел, — рассказывает он. — Стоит возле клуба, вылитый Кирсан. Что же я, Кирсана твоего не знаю? Вокруг толпа. Тут подходит участковый Спиркин, гонит Кирсана. Иди, мол, отсюда, не отвлекай людей от работы. Кирсан так смотрел на него, а потом вдруг говорит: «Выйди из него!» Кому он это сказал? И Спиркина вдруг как начало трясти. Ну, точно — будто дух внутри него бесовский. Фуражка с головы слетела, на губах пена. Все перелугались: что с ним? А неподалеку там свинья в луже лежала. Кирсан возьми и укажи рукой на эту свинью. Та тут же вскочила, завизжала и в сторону, да прямо под грузовик.

— А участковый что? — спрашивает Марья.

— Какой участковый?

— Ну, которого трясло...

— Спиркин, что ли? Ну, этот ничего. Отдышался, фуражку поднял и пошел себе дальше, куда шел.

Марья опять не знает — верить или не верить. А тут как-то вдруг на самую Пасху дети Осипа Даниловича приехали: Яков, Семен, Катерина. Пришли к Марье и говорят:

— Там ваш Кирсан. На реке. На лодке катается...

Марья засуетилась сразу.

— Как на реке? Что же он домой не идет?

Схватила она платок, никак голову повязать не может.

— Идем к нему!

А Яков говорит:

— У нас времени нет. Мы проездом. Дела у нас.

— Какие же дела?

— Мы на стройку едем. Будем там работать, далеко отсюда. Вечером поезд.

Тут Катя говорит:

— Нет, брата все-таки надо встретить.

Пошли они на речку. Народу на берегу много, милиция, конечно, тут же. Марья протиснулась ближе, смотрит — в лодке, точно, ее Санечка. В толпе много знакомых — Прохоровы, у которых дочь Глаша погибла, Рукавицына Ада Егоровна с сыном Федюшей, Громогласова Анна Тихоновна, Карп Захарович. Марья стоит, разговоры слушает.

— Людей он вылечивает, это точно. Я сама видела. Подходит к нему Степан Кондратов, который по пьяному делу голову разбил. А Кирсан только поплевал на него да как засмеется. И голова у Степана сразу здоровая...

— Он сам — бес. И бесов изгоняет силою бесовскою...

— Будет вам... Какой он чудотворец? Это же Кирсан-плотник. Вон мать его Марья... Откуда же у него быть такой силе? Он же как мы все...

— В самом деле... Простой же плотник!

«Нет,— думает Марья.— Он не такой, как все. Он особенный».

Недалеко от пристани на берегу парни какие-то незнакомые, видно, из компании Санечки. Машут ему — дескать, давай сюда, гребки к нам. А Санечка стоит в лодке, рукой им машет, плечами подергивает, подпрыгивает, гримасы корчит. Шапка на нем какая-то смешная — в полосочку, вроде колпака. И что самое удивительное — лодка его сама к берегу движется. Никто ею не управляет, плывет она себе и плывет. А уж у самого берега, метров десять, наверное, оставалось, Санечка возьми и шагни из лодки прямо в воду. Все так и ахнули — утонет! Даже приятели его и те перепугались. И опять удивительное дело — не утонул Санечка, не пошел ко дну. Стоит себе на воде как ни в чем ни бывало. Постоял так, постоял, а потом и зашагал к берегу прямо по воде. «Нет, это не мой Санечка,— думает Марья.— Это кто-то другой, очень на него похожий». Прохорова вдруг как закричит:

— Колдун! Колдун!

А супруг ее, Прохоров Леон Николаевич, он в парикмахерской работает, только отвернулся и сплюнул.

— Шарлатан какой-то! Клоун да и только!

Один из приятелей Санечки вдруг выскакивает вперед.

— Подумаешь! Я тоже так могу!

Другие удерживают его.

— Куда ты, дуралей?

Только тот слушать ничего не хочет, вырвался и прямо в реку. А там сразу у берега глубина, в прошлом году Кирьяков из овощного, пьяный, так и утонул. И этот тоже, как кинулся, сразу ко дну. Приятели еле вытащили, на траву положили. Тут все на Санечку стали говорить:

— Все из-за него! Ишь, моду взяли — по воде ходить! Чего придумали!

А как вышел Санечка на берег, окружили его, всем интересно вблизи на него посмотреть, руками потрогать. Марья и подойти к нему не может. Вдруг какая-то женщина как закричит. Смотрят — а это Шнуркова, кассирша с автобусной станции. Все, конечно, интересуются:

— Что с тобой, Шнуркова?

А Шнуркова никак в себя прийти не может, язык не слушается. Потом наконец говорит:

— Чудо! Истинное чудо!

И палец свой указательный на правой руке вверх поднимает. Все смотрят на нее, понять ничего не могут. А она пальцем во все стороны тычет.

— Ну и что? — спрашивают ее.

— Где мои болячки? У меня же ногти кровоточили. Ни один врач не мог помочь! А тут прикоснулась — и ни одной болячки!

А Санечка только смеется.

— То-то я чувствую, кто-то меня все время трогает!

Тут на него сразу все напирать стали, теснят, чуть самого не задавили. Кто-то упал даже. Дети вокруг прыгают.

— Цирк приехал! Цирк приехал! Фокусник!

Федюша Рукавицын щеки надувает, губами трубит, как в трубу. Кто-то громко так крикнул:

— Давай фокусы!

Это Кособоев, всегда веселый, когда вина выпьет. А Бочкина, уборщица из Дома культуры, на него накинута:

— Людям есть нечего, а ему — фокусы!

Санечка услышал ее, обернулся, а потом и говорит своим приятелям:

— Накормите ее...

Один из приятелей, длинный такой, с бородой, руками разводит.

— У нас у самих ничего нет. Вот кусочек хлеба только.

Тогда Санечка берет у него этот кусочек хлеба и протягивает Бочкиной. Та смотрит, а это уже не кусочек хлеба, а целая булка. Глядит Бочкина на булку, брать или не брать — не знает, боится. Может, шутят над ней. Наконец, взяла, понюхала, откусила.

— Настоящая! — кричит. — Сдобная!

Тут и другие стали руки тянуть. И Санечка всем стал булки раздавать. И откуда только он их брал — неизвестно. Давка на берегу, всем хочется булку получить. Задние напирают на передних. Какую-то девочку чуть не затоптали, хорошо, кто-то успел ее из-под ног вытащить. Какая-то женщина плачет — сумочку в толпе потеряла. Бородюк Никанор Трофимович, начальник отделения милиции, в свисток свистит.

— Прекратить безобразие!

Но никто его не слушает, все вперед лезут. Старика в белой панаме из толпы на руках вынесли — ногу ему напрочь отдавили. Самого Никанора Трофимовича оттолкнули, зажали, он с испугу на дерево забрался. За ветку держится и свистит в свой свисток.

— Прекратить безобразие!

Марья с детьми Осипа Даниловича стоят в стороне, смотрят. Яков говорит Марье:

— Он у вас все такой же. Будто не в себе. Врачу его показать надо.

Семен поддерживает брата:

— Врачу обязательно. У него, наверное, с головой что-нибудь...

А Санечка стоит посреди толпы, только улыбается во все стороны, беспомощно так. Потом поднял голову, Бородюка увидел на дереве.

— Никанор Трофимович! Идите к себе! Я у вас сейчас буду!

А Кособоев толкает в бок Карпа Захаровича.

— Знает, к кому идти! К начальнику милиции!

Марья хочет Санечке рукой махнуть, на носки поднимается.

— Что же не домой? — шепчет. — У тебя же дом есть...

Только Санечка, понятно, ее не слышит... Ну, тут же, конечно, нашлись охотники, помогли Никанору Трофимовичу с дерева слезть, обступили его, чтоб толпа не задавила. И пошли все к дому Бородюка. Тот было сначала возражал, но потом поглядел на толпу и согласился. А дома-то у него известно что — несчастье. Дочь Марфенька лежит при смерти, совсем молодая. Третий месяц с постели не встает. Все врачи городские у нее перебивали. Два профессора из Москвы приезжали. Они так и сказали:

— Готовьтесь... Больше недели не протянет...

Вот все идут и удивляются: для чего же Кирсан к Бородюку идет? Дом у Бородюка, конечно, хороший, может быть, даже самый лучший в городе — бывший графский особняк. Комнат много, лепнина, все так. Но отчего же непременно к нему, когда у людей такое горе? А Санечка идет к графскому особняку, как к себе домой. Из дома родственники выходят, жена Бородюка, все плачут. А Санечка им говорит:

— Не плачьте. Дочь ваша не умерла, она спит.

Родственники на него чуть не с кулаками.

— Как тебе не стыдно! У людей горе! А ты — насмешки!

Санечка ничего, не обиделся. Только просит всех оставаться на улице, а сам в дом входит. Не успели люди двумя словами обмолвиться, дверь снова открывается, на пороге Санечка.

— Я же говорил вам, не умерла она, а спит...

Кто-то в толпе даже выругался, Прохоров, что ли, Леон Николаевич.

— Ну, заморочил! Вот пройдох!

Тогда Санечка возвращается в дом и выводит оттуда дочь Бородюка Марфеньку, живую и невредимую. Что тут с родителями и родственниками сделалось! Сам Никанор Трофимович за плечи Санечку обнимает, жена его тоже Санечку за руку держит. Родственники, те сначала не верили, все трогали Марфеньку руками, ощупывали. Потом двоюродная тетка подошла к Санечке и расцеловала его.

— Счастливая мать, которая родила такого сына,— сказала она.

А Санечка ей:

— Есть выше счастье — любить истину...

На улице все радуются, обнимают друг друга, будто праздник какой. Карп Захарович к Санечке протиснулся, обнял его.

— Здесь матушка твоя, Кирсан. И братья с сестрой.

А Санечка посмотрел в их сторону, потом говорит:

— Вот моя матушка, братья мои и сестры! Вот моя семья!

И рукой на приятелей своих показывает, которые возле него стоят, ближе всех. А приятели в ладоши ему хлопают. Марья стоит и думает: «Вон какой у меня сын... Не такой, как все... Особенный». Потом хозяева в дом ушли, Санечка с приятелями за ними. А люди еще долго стояли у крыльца, о чуде говорили. Бочкина, уборщица, вдруг заявила:

— Из царского рода этот Кирсан, я точно знаю...

«Как же царского? — думает Марья.— Мой это сын, не царский».

Дети Осипа Даниловича даже смеются:

— Какого же он царского рода? Плотник он, брат наш... Вон и матушка его...

— Я вот вам человека одного приведу,— говорит Бочкина.— Странника. Он расскажет.

На другой день, как дети Осипа Даниловича уехали, стучатся к Марье гости — Бочкина и старик какой-то, оборванный, в лохмотьях.

— Вот, привела,— говорит Бочкина.— Тимофей Архипович это.

Тимофей Архипович поискал глазами икону, стал бормотать что-то, долго бормотал, Марья думала уже, что ничего больше не будет, а старик заговорил:

— Внук он царский, Кирсан. Я точно знаю. Я за ним повсюду хожу. И послан он в мир для истины. Всю ложь уничтожить, а истину венчать.

— Да нет же,— говорит Марья.— Плотник он.

Тимофей Архипович обиделся, даже плюнул себе под ноги и пошел к двери. Потом вернулся.

— Сын он дочери царской... Великой княжны Анастасии. Царя и всю его семью расстреляли, а одна дочь его спаслась. За границу бежала с солдатом. Там и родила. Теперь ее сын сюда пробирается. Чтобы правду всю сказать...

Он опять пошел к двери, выглянул наружу, потом Марье шепотом:

— Есть живой свидетель... Если он согласится, я приведу.

Бочкина за рукав дергает Тимофея Архиповича:

— Приведи, приведи! Непременно приведи.

На другой день Тимофей Архипович опять является.

— Где же ваш свидетель? — спрашивает Марья.

— На дворе дожидается.

— Ну, так ведите сюда. Я покормлю.

Долго Тимофей Архипович не шел, наконец ведет какого-то старика, еще более древнего, чем он сам. Борода седая, руки трясутся. Марья собрала на стол, чай свежий заварила. Тимофей Архипович со стариком долго закусывали, чай пили. Потом поднимаются, благодарят — и к двери. Марья спрашивает:

— Что же вы мне так ничего и не скажете?

Старик посмотрел на Тимофея Архиповича, тот кивает.

— Говори, говори...

— А что тут говорить? — начал старик.— Давно это было, полвека назад. Мне только двадцать исполнилось. Или еще не исполнилось: На Урале был, рабочий. Верх-Исетский завод, может, слышали?

— Нет, не слыжала,— говорит Марья.

— Комиссаром у нас тогда Ермаков был Петр Захарович. Каторжанин. При царе на каторге был. За грабежи и убийства. Керенский его освободил. Зверь, а не человек. У него и люди свои были. Я всех помню... Просвирин Поликарп, Курилов Митька. Потом еще Гуськин Капитон, другие тоже. Или нет, Поликарп — это Курилов. А Просвирин, тот Митька.

— Ты бы ему винца поднесла, — говорит Тимофей Архипович Марье.

Хорошо у Марьи осталось от проводов детей Осипа Даниловича, на самом доньшке в бутылке. Налила она старику рюмочку. Тот выпил и продолжал:

— Вот подняли нас ночью. А это июль в середине. Говорят — царя уничтожить надо. Оружие дали, наганы. А попробуй откажись... Лошадей привели, поехали верхом. За нами — пролетки. Верст пять отъехали, ждем. Потом смотрим — грузовик. Кузов сукном выстлан, чтобы кровь не протекала. Трупы там. Стали перегружать трупы на пролетки, для машины дальше дороги не было. Никто не знает, куда везти. Какая-то Ганина яма. Где она, эта Ганина яма? Отыскали в лесу какую-то шахту, на дне — вода. Стали трупы раздевать. А у них у всех пояса такие, в поясах дырки от пуль. И в дырки видно — бриллианты. Ну, рабочие начали было карманы себе набивать. Ермаков кричит: «Расстреляю всех!»

— Ты главное давай — про княжну, — торопит старика Тимофей Архипович.

— Ну, так вот я как раз волоку княжну... Чувствую — жива она. Надо бы ее в шахту, вместе со всеми. А я ее в кусты. Что-то руки мои остановило...

Марья слушает, не замечает, что у нее слезы текут.

— А с остальными что? — спрашивает.

— Остальных в шахту бросили. Потом гранаты туда покидали...

Тимофей Архипович опять не выдерживает, вмешивается:

— Ну а с княжной-то что, с дочерью царской?

— А почему я знаю? Я там ее в кустах оставил...

Тимофей Архипович к Марье оборачивается.

— Это и была Анастасия — княжна. Она и Кирсана родила потом за границей.

Марья уж и не знала, что про все это думать. Зашла к ней как-то Громогласова Анна Тихоновна, платье свое примеряет.

— Что ж это Кирсан с тобой не живет, Марья? Сын же он тебе все-таки.

Марья как-то сразу обрадовалась, головой закивала.

— Сын, сын! Мой сын! Только он не такой, как все... Он все для людей! Разве ж он для себя? Я-то уж ладно, как-нибудь...

До Марьи доходили самые разные слухи о Санечке. Будто компания вокруг него новая, из местных ребят: Петруня Гудошников, Матвей Понькин, Павлик и Андреюшка, братья. Федюша Рукавицын тоже к ним прибил. Девушки какие-то подозрительные: Магда, семья у нее самая богатая в городе, Сусанна еще. Сусанна особенно была всем известна. Все хорошо знали, чем она занимается. Все дни на вокзале или на автобусной станции крутится, гостей ловит. И, что самое скверное, говорили, будто Кирсан живет именно у этой Сусанны. Правда, как только Кирсан в городе объявился, ее уже больше не видели ни на вокзале, ни на автобусной станции, это верно. Но все равно — как же приличному человеку бывать в ее доме?

А тут прибегает к Марье Тамара Гудошникова, жена Петруни.

— Что же это твой делает? Скажи ему, Марья! Учит бросать дома свои, близких... А у Петруни моего дети, семья...

На другой день бежит к Марье Рукавицына Ада Егоровна.

— Твой Кирсан совсем спятил! Что говорит-то, что говорит! У меня, мол, нет дома, и вам не надо... И мне, говорит, негде голову приклонить...

— Как же так? — пугается Марья. — У него дом есть.

— Да ты сама сходи послушай его.

— Где уж мне? — вздыхает Марья. — Я и не пойму ничего, что он говорит.

— А говорит он — разделение, мол, нам нужно. Чтобы дети от родителей отделились. Мой Федюша так мне и заявил: ухожу из дома. Кто возлюбит истину, тому дом не нужен!

Марья только руками разводит.

— Почему я знаю? Может, так и надо... Санечке лучше знать...

Вечером в тот же день заходит Марья в свою мастерскую швейную, заказ новый получить. Там Ариадна Власьева, директор.

— Ах, Марья, Марья! Что же это на свете делается? Все при деле, все работают. Один твой Кирсан шатается без пользы. Как дурачок какой, все с детьми играет. И на какие средства живет? Говорят, женщины богатые его содержат. Магда особенно. Все деньги свои ему отдает. Стыд-то какой! За счет бабы! Ты бы сходила провела его.

Марья и сама знала, что ей надо проведать Санечку, да все никак собраться не могла, не решалась. А тут вдруг приходит к ней Серафима, посудомойка из столовой.

— Помоги, Марья,— просит.— В столовой сокращение. Экономию навоят. Начальство все оставили, а меня сокращают. Трое нас посудомойщиц, вот меня и сокращают.

— Да что же я могу? — спрашивает Марья.

— К сыну своему своди. Он, говорят, всем советы дает. Как жить, что думать...

— Да я сама у него не бываю.

— Так ты же мать все-таки. Как же так?

Подумала Марья, подумала и согласилась, обещала сводить Серафиму к сыну в ближайшую субботу. Заодно рубашку новую надо Санечке передать, какую ему сшила. Как суббота настала, Серафима уже с утра у Марьи. Попили они вдвоем чаю с баранками, посидели еще немного и пошли. Подходят к дому Сусанны, а там народ, человек десять, вроде очереди. Марья узнала Бочкину, Кособоева, веселого, как всегда, из кармана бутылка торчит. Встали они с Серафимой тоже, ждут. Марья смотрит, у крыльца один из приятелей стоит. Марья, как его увидела, испугалась даже — обросший весь, черный, нос крючком.

— Страшный какой,— шепчет Марья.— Чистый разбойник. И откуда такой взялся?

— Это Иегудий,— говорит Бочкина.— Я уже всех их знаю.

— Нерусский, что ли?

— Кто его знает? Он у них вроде кассира. Кассу хранит.

Возле него и вправду стоял ящик с прорезью, чтобы люди деньги жертвовали. Марья даже расстроилась.

— Как же я не догадалась? Денег не взяла.

Серафима опустила три рубля за двоих. Тут на крыльцо еще два приятеля Санечки выходят, из местных — братья Павлик и Андреюшка. Закурили, на очередь смотрят.

— Это что же, вроде охранников, что ли? — ехидно так спрашивает Кособоев.

— Вот-вот,— отвечает Павлик.— Мы за Кирсаном куда хочешь пойдём.

— Это что же так? — опять интересуется Кособоев.

— А вот так,— отвечает Павлик.— У меня, к примеру, такой случай был. Сапоги у нас в конторе разыгрывали в лотерею. Я взял билет, а сам к Кирсану: «Сделай так, чтобы я выиграл». Не сапоги мне были нужны, а утешение. Душа моя в унынии была. И что вы думаете? Стали номера тянуть, разыгрывать. Один номер остался. Я его взял — мой. Мои сапоги.

— А у меня тоже,— говорит Андреюшка.— Недостача на складе. Три канистры с бензином пропали. Я к Кирсану: что делать? А утром прихожу — канистры на месте. Как же нам после этого в Кирсана не верить? Как же нам за ним не идти?

— Вот только иногда говорит он что-то, не поймешь о чем,— вставляет Павлик.

Скоро Марья с Серафимой вошли в дом, вместе со всеми прошли в комнату. Открыли дверь, а там в углу прямо на полу Санечка сидит, одеяло под ним какое-то вытертое. На стене над ним — иконка, под иконкой — большой подсвечник. Рядом с Санечкой на том же одеяле приятели его — Петруня Гудошников, Матвей Понькин, Федюша Рукавицын. Тут же Магда в дорогом платье, Сусанна. Все вошли и встали у стенки. Марья во все глаза на Санечку уставилась. «Господи, одет-то как... Обносился совсем,— думает она.— Уж и постирать некому. Вон рубаха какая заношенная. И исхудал... Не кормят его здесь, что ли?»

Санечка как бы случайно посмотрел на Марью, и не поймешь — узнал или не узнал. Тут какая-то старушка полную сумку яблок перед ним ставит. Санечка стал брать яблоки и приятелям своим раздавать. Другая женщина миску с пирожками перед ним поставила. А девочка какая-то, которая с матерью пришла, вдруг заплакала. На нее все зашикали. Кто-то говорит:

— Зачем ребенка привели? Тоже догадалась, мамаша...

А Санечка подозвал девочку и пирожок ей протягивает.

— Что такое наш мир? — говорит он.— Мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. И стал мир двумя половинками — черное и белое, добро и зло:

— Правильно, — вставил кто-то сзади всех.

— И вся наша жизнь между этими двумя половинками. Светлая половинка — это любовь, черная — вражда. Живите любовью, и не будет беспокойства в вашей душе.

Тут Кособоев стал руками размахивать.

— Какая еще мышка? При чем здесь мышка?

Хотел он достать бутылку из кармана, а она у него выпала и покатила по полу. Петруня с Матвеем поднялись, думали вывести Кособоева, а Санечка оставил их.

— Оставьте его...

И вновь продолжает:

— Любовь — в сердце человека. Если она есть, рождается добро. Это сердце — естественное. Если нет, рождается зло. Это сердце — расслабленное. Для любви нужно только то, чтобы мы ее захотели, ибо она в нас есть и из нас образуется.

Тут Марья видит, что Сусанна выходит из комнаты. Потом возвращается, стакан чая на блюдечке несет. «Не такая уж она плохая, как о ней говорят», — думает Марья. Тут и Магда выходит, вазочку с вареньем несет, тоже перед Санечкой ставит. А Санечка отпил глоток чаю и говорит дальше:

— Старайтесь утвердиться в любви, чтобы она привела вас к видению истины, которая и есть любовь. Любите истину больше, чем себя.

— Что он говорит? Что он сказал? — шепчет кто-то сзади.

— Любить, говорит, надо больше, — отвечает другой голос.

— Любовь хранит человека и бережет его, пока не сбросит он с себя своего тела, — продолжает Санечка.— Того надлежит почитать блаженным, кто стяжал победу любовью.

Тут Федюша Рукавицын обращается ко всем:

— Вы что, может, не верите в любовь? Или сомневаетесь в ней? Во мне самом сидела темная сила, а я ее любовью выгнал. Она у меня из пальцев на ногах вышла. У меня до сих пор ногтей на пальцах нет, сошли.

Он снял сандалии, носки и стал всем показывать свои ноги. Ногтей, и правда, на ногах не было.

— Какого же она вида, темная сила? — спрашивает Кособоев.

— Да вроде лягушек, только очень мелких. Скачут, скачут и пропадают.

Тут Петруня с Матвеем поднимаются, знаки какие-то делают. И все стали выходить из комнаты. Марья с Серафимой тоже вышли. На улице Серафима спрашивает:

— Что он говорил-то?

— Да я сама не все разобрала, — отвечает Марья.— Говорил, любить надо...

Тогда Серафима потянула ее за рукав, и они снова возле крыльца встали. Иегудий с ящиком увидел их:

— Что, понравилось?

Вскоре Марья с Серафимой снова вошли в дом. Санечка сидел все на том же месте в углу, на одеяле. И сразу к Серафиме обращается, будто ей одной говорит:

— Оставьте любовь земную, ищите любовь небесную. Небесной любовью достигаются нетление и чистая жизнь. Если не вкусила душа небесной любви, как она отличит горькое от сладкого, смерть от жизни?

— Так, так, — кивает головой какая-то старушка.

Старик рядом с ней в бок ее толкает.

— Да ты же глухая, что ж ты поддакиваешь?

— Глухая, отец мой, глухая...

Тут Марья среди гостей увидела Прохорову. Та стояла, слушала, потом махнула рукой и пошла к выходу.

— Трепло! Болтает только!

Санечка как раз ел яблоко. Доел он его и огрызок кинул вслед Прохоровой. А тут и все стали выходить. На улице Марья вспомнила, что так и не отдала рубашку Санечке.

— Хорошо твой Кирсан говорит,— вздыхает Серафима.— Только все не то. Вот у нас в соседней деревне Спиридон был. Вот кто помог нам, так помог. Уворовали как-то у отца деньги, из полушубка, рублей сто, наверное. Сосед и говорит: идите к Спиридону. Пришли мы, Спиридон, как увидел нас, говорит: знаю, зачем пришли. Приносит он потом в комнату котел, наливает воды. Моет руки и отдает отцу. Велел возле дома воду разлить. Отец так и сделал. А дней через пять приходит Митька, сын соседа, и в ноги к отцу. Так, мол, и так — моя вина. Деньги отцу отдал, шубу еще какую-то в придачу. Вот как Спиридон помог. А твой Кирсан только разговаривает.

Тут Марья видит, Марфенька, дочь Бородюка Никанора Трофимовича, к дому идет. Марья к ней:

— Рубаху Санечке сшила... Забыла отдать... Ты уж передай, пожалуйста...

5

Марья все ждала, что Санечка ее наконец домой вернется. Слышала, что у Сусанны он больше не живет, а скитается по разным квартирам, то у одного приятеля, то у другого. «Что же у него, дома, что ли, нет?» — думает она. Каждый день варила она его любимый гороховый суп, оладьи пекла. Вечером сядет у окна и сидит, на улицу смотрит. Но Санечка все не шел.

Потом до нее стали доходить совсем уже нелепые слухи. Будто сын ее и вовсе безобразничать стал. Является на базар, с ним всегда компания, приятели. Разгоняют торгующих, опрокидывают лотки.

Марья сначала всему этому не верила. Не станет ее Санечка такими делами заниматься. Потом не выдержала, собралась однажды утром и отправилась на базар. До вечера там слонялась, ноги все исходила, но Санечка так и не появился. На другой день то же самое. И так всю неделю. А на рынке знакомых много, все смотрят на нее, шепчутся:

— Непутевого своего ищет...

Какой-то усатый в тюбетейке, который дынями торгует, все время грозил ей:

— Имей в виду, мамаша! Мы твоего бандита в тюрьму посадим!

Один раз подозвал ее инвалид в коляске возле пивного ларька. Он всегда сидел на этом месте, все его пивом угощали. А на ночь, как базару закрываться, его в сарай вкатывали, тут же возле ларька. Утром снова выкатывали.

— Ты предупреди своего,— сказал ей инвалид.— Заберут его за разговоры. Сейчас все психушки такими забиты.

А в воскресенье Марья наконец дождалась. Только села она передохнуть возле какого-то старика в ушанке, который козу продавал, ноги-то гудят. Слева от нее так клетки с гусями, справа машина легковая, в багажнике — поросята. Вдруг люди вокруг заволновались, кричать стали. Тут же гуси и поросята все разом шум подняли, гвалт стоит. Кто-то кричит:

— Милиция!

Марья вскочила, ничего понять не может. А потом разглядела — это ее Санечка с приятелями. Идут вдоль рядов, лотки опрокидывают, товары на землю кидают. Санечка тот на ящик забрался и кричит:

— Заблудшие люди! Сами себе готовите гибель! Нынешняя власть скоро кончится! На смену придут новые хозяева — торгаши и лавочники! Те будут страшнее нынешних!

Тут, откуда ни возьмись, люди какие-то набегали. Женщина в берете к Санечке на ящик лезет. Сама рыжая, один глаз в сторону смотрит. До Марьи долетают ее слова:

— Права человека! Свободу инакомыслящим!

Какой-то лохматый бежит, фуфайка грязная на нем до колен, под мышкой — картина. Поставил картину возле ящика на землю, сам тоже на ящик лезет, обнимается с рыжей, целуется. Марья смотрит на картину — кружочки как-кие-то цветные, квадратики, ничего не разобрать. А рыжая оборачивается к Санечке и руку ему протягивает. А Санечка даже не посмотрел в ее сторону. Голову опустил, соскочил с ящика — и к выходу. Приятели его за ним.

— Разве вы не с нами? — кричит им рыжая.

Марья рукой Санечке машет — дескать, иди сюда, я здесь. Хотела увести его. А Санечка на нее и не смотрит, идет себе. Так и ушел. Когда уже Марья выходила с рынка, машина милицейская приехала. Марья видела, как милиционеры лохматого художника в машину запихивали вместе с его картиной. «Нет, не кончится это добром», — думала она.

Ну, так оно, конечно, и вышло. Дня через два, рано утром, не успела Марья посуду после завтрака вымыть, прибегает к ней Марфенька, дочь Бородюка.

— Идемте скорее! Кирсана хотят арестовать!

Накинула Марья платок, побежали они.

— Куда мы идем? — спрашивает Марья.

— К Иегудию. Он комнату здесь снимает. Где-то возле вокзала. Кирсан сейчас у него живет.

По дороге Марфенька рассказала, что узнала от отца. Торговцы с рынка уже не один раз заявления в милицию подавали. Дескать, просим принять меры против хулигана. Нарушает общественный порядок, а главное — против властей говорит. В милиции им каждый раз отвечали: мы и без вас все давно знаем. Придет время, примем меры. А пока ждать надо. Ну, им-то схватить Кирсана ничего не стоит, так Бородюк говорит, Никанор Трофимович. Только всякому делу свое время должно быть. А раньше срока никак нельзя.

Долго Марфенька с Марьей дом искали, потом вроде нашли — одноэтажный, кирпичный. Открыла им какая-то старуха, странно так на них смотрит.

— Жилец? — спрашивает. — Есть жилец. Он меня нынче ночью топором убил. Деньги хотел забрать. А я вот жива...

И захлопнула дверь. Стоит за дверью, хохочет.

— Вспомнила, — говорит Марфенька. — Не у вокзала, а возле автобусной станции. Там Иегудий комнату снимает.

Побежали они к автобусной станции.

— Скажу по секрету, — продолжала Марфенька. — Они там, в милиции, не хотят брать Кирсана на рынке. Волнений боятся. Люди все же знают Кирсана. Хотят где-нибудь в тихом месте. Они уже всех приятелей его вызывали, угрожали. Все вроде стойко держатся — не знаем, мол, ничего. А один все же испугался. Тот самый Иегудий, который деньги у них хранит. Ладно, говорит, дам вам знать, когда Кирсан у меня ночевать будет. Вот он вчера к отцу приходил...

Возле автобусной станции они сразу увидели дом — в один этаж, за домом садик небольшой. Дверь открыла хозяйка, стоит, зевает.

— Нету их никого. Я сама только с дежурства. Пришла, а у них никого.

Впустила она Марью с Марфенькой в комнату, сама спать пошла. В комнате беспорядок, все разбросано, на столе посуда грязная, бутылки. Смотрит Марья, на одной тарелке стакан перевернутый стоит, сверху кусочек хлеба. Она так и села на стул.

— Санечка! Санечка здесь был! Его это привычка. Как вина выпьет, стакан непременно переворачивает...

Схватила она и давай посуду на столе собирать. Собирает и на кухню мыть носит. Марфенька за ней ходит.

— Да оставьте вы! Зачем это? Пошли Кирсана искать... Может, найдем, успеем еще...

Пока Марья возилась с уборкой, то да се — дверь в коридоре хлопнула и шаги. Марья вся сжалась.

— Санечка!

Выскочили в коридор, а там не Санечка, а Петруня. Стоит, ключами поигрывает. Марья сразу к нему:

— Где Санечка? Что с ним?

Петруня сначала ничего не говорил, долго молчал, ключ на пальце крутил.

— Сам ничего не пойму, — наконец говорит он. — Собрались мы вчера за столом, как обычно. Сидим, закусьваем. Вино у нас. Потом Кирсан вдруг оглядывается и спрашивает: а где же хозяин? Где Иегудий? И мы все смотрим — хозяина в доме нет. Тут Кирсан и говорит: один из вас сегодня предаст меня. Все, конечно, зашумели — никогда! Не может такого быть! А он так посмотрел на меня и опять говорит: и ты от меня отречешься!

Петруня опять замолчал и пошел в комнату, Марья с Марфенькой за ним. Петруня оглядел комнату и рукой на окно показывает.

— Потом я к окну отошел. А когда к столу вернулся, Кирсана уже не было. Вышел я в сад, гляжу — Кирсан там стоит, совсем один.

— Что же он там делал? — спрашивает Марья.

— Не знаю. Стоит совсем один. А лицо странное, белое, будто светится. Увидел меня и говорит: меня скоро не будет с вами. А вы любите друг друга. А еще больше любите истину.

Марья кончик головного платка к глазам прикладывает:

— Вот, вот... Он всегда так...

— Пошел я было обратно в дом, — продолжает Петруня. — Только слышу — шум какой-то сзади. Оборачиваюсь — милиция. Впереди Иегудий, а сзади еще люди — торгаши с рынка. Я же их всех в лицо знаю. У милиционеров пистолеты. Кирсан как увидел, даже засмеялся. «Что это вы? — спрашивает. — Будто на разбойника». Тут и другие наши вышли на крыльцо. Андреюшка, как увидел милицию, сразу кинуться на них хотел. А Кирсан его остановил: «Оставь их...»

— Господи, — крестится Марья. — Говорила я, не кончится это добром...

— Не знаю, что было дальше, куда все делись. Разбежались, наверное. Я-то в чулане сидел... Когда вышел, никого уже не было.

Марфенька выслушала Петруню и решительно так говорит:

— Пошли в милицию!

— Да, да, в милицию, — засуетилась Марья.

Петруня начал было их отговаривать:

— Что вы там? Только хуже еще...

Потом подумал и поплелся за ними. Идут они по улице, спешат, Петруня еле успевает за ними. Какие-то люди по дороге все время останавливаются и спрашивают:

— Что случилось? Скажите, что случилось?

Потом парень еще какой-то с велосипедом, в майке и кепке, остановил их.

— Вы ничего не слышали? Что-то будет... Какие-то события...

Подходят они, наконец, к отделению милиции, там у ограды толпа. Ворота закрыты, охрана стоит. Какая-то женщина увидела Петруню, как закричит:

— Вот еще один! Это приятель Кирсана!

Петруня даже в лице переменялся.

— Нет, нет! — говорит. — Не знаю я никакого Кирсана.

Марья хотела было сказать: «Как же так? Как же не знаешь?» Потом поглядела на Петруню и ничего говорить не стала. А в толпе крики:

— Вон, вон, вывели!

Марья смотрит через ограду: на крыльце ее Санечка. Рубашка на нем та самая, что она сшила, лицо в ссадинах. «Били его, что ли?» — думает Марья. Рядом с Санечкой Бородюк, а сзади еще один милиционер. Этот все семечки щелкает и шелухой в сторону Санечки плюется, будто случайно. А тут вдруг, откуда ни возьмись, ветер. Шелуха вся поднялась — и милиционеру в лицо, все глаза залепила. Тот стоит, чертыхается, глаза протирает. А ветер как поднялся, так тут же и стих.

В это время машина какая-то у ворот сигналит, охранники людей в стороны теснят. Въезжает машина во двор, из нее начальник милицейский выходит, полковник. Никто его раньше в городе не видел. Лицо рябое и усы большие. Поднялся на крыльцо, Санечку рассматривает.

— Э тот? — спрашивает у Бородюка.

Бородюк ладонь к козырьку и головой кивает.

— Что же ты? — спрашивает полковник у Санечки. — Не работаешь, не учишься... Прямо тунеядец какой-то... На какие средства живешь?

А Санечка руку вверх поднял и опять, как тогда на рынке:

— Горе вам, люди слепые и безумные! Вы сами готовите себе погибель! Скоро придут торговцы и хищники! Будет великая скорбь! И соблазнятся тогда многие! Будут друг друга поедать и возненавидят друг друга! И умножатся беззакония! Увидите мерзость одичания! Все, что построено не на любви, будет разрушено!

Тут женщина в берете забирается на каменный парапет, руками за прутья железные хватается.

— Свободу Кирсану! Освободить Кирсана!

Марья ее сразу признала — та самая рыжая, которая на рынке выступала. «Что же ее не забрали тогда в милицию со всеми? — думает она. — Или уже выпустили?» А рыжая берет свой сорвала и над головой им машет.

— Отпустите Кирсана! Он ни в чем не виноват!

Полковник на крыльце усмеяется, усы свои трогает.

— Может, и правда, отпустить? Может, и правда, не виноват?

Тут Бородюк к полковнику наклоняется:

— Да дурачок он! Глупенький! Не в себе вроде! Будто юридивый!

Полковник все ухмыляется и усы гладит.

— Так что? Может, и правда, отпустить?

И тут народ за оградой стал волноваться:

— Как это отпустить? Судить его, бандита! Судить!

Полковник Бородюку на толпу указывает:

— Ты слышишь? Народ требует!

А за оградой крики еще громче:

— Судить его! Судить! Еще как виноват!

Бородюк только плечами пожимает.

— Ну, как знаете...

Марья смотрит на кричащих, а это все торговцы с рынка. «За что же судить? — думает. — Он же не злодей. Он особенный... Не как все...»

Тут из дверей милиции дежурный выходит, что-то на ухо Бородюку шепчет. Тот выслушал и говорит:

— Машины не будет! Сломалась! Пешком пойдем!

Полковник как вскинется:

— Как сломалась? Вы что, с ума сошли?

Бородюк опять только плечами пожимает. Сам идет к мотоциклу, завести его хочет. Мотоцикл у него старенький, с коляской. И вот заводит он его, заводит, а мотор глохнет. Потарахтит чуть-чуть и глохнет.

— Да что у вас сегодня? — надрывается полковник. — Наваждение какое-то!

Забрался он снова в свою машину и укатил, еле ворота успели открыть. А Бородюк наконец завел свой мотоцикл. Два милиционера с оружием повели Санечку. Только за ворота вышли, откуда ни возьмись — Кособоев, веселый, хмельной, дорогу загородил.

— Спасла тебя любовь? — обращается к Санечке. — Сберегла тебя? Вот тебе и мышка-норушка!

Бородюк с мотоцикла кулаком ему грозит.

— Вот я сейчас заберу тебя!

Ну, люди оттащили Кособоева. В это время торговец с рынка, тот самый, что дынями торгует, подскочил к Санечке и тюбетейку свою ему на голову напялил. Сам хохочет, и все смеются. Другой торговец в кепке с большим козырьком даже плюнул на Санечку. И опять все смеются.

— Всех спасал, а себя не можешь!

А как милиционеры тронулись, все за ними потянулись, веселятся, хохочут, будто праздник какой. Кто-то даже приплсывает. Марья оглянулась — Марфенька пропала куда-то. Постояла она, постояла и тоже пошла за всеми.

— Куда мы идем? — спрашивает у кого-то.

— Куда же еще? В тюрьму!

— Как в тюрьму? Ему нельзя! У него здоровье слабое...

— Там подлечат...

А тюрьма — это на самой окраине, на холме, ее еще при Екатерине строили. Это идти через весь город. А люди на улицах останавливаются, на них смотрят. Марья идет сбоку, по тротуару, разговоры слушает.

— Бандита поймали. Сколько времени ловили...

— Наконец-то, — крестится старушка.

Бородюк на мотоцикле впереди медленно едет. Остановится, подождет и снова вперед. За ним Санечка с двумя милиционерами по бокам. А дальше все остальные. Марья нарочно свернула в переулок, чтобы обогнать всех и выйти навстречу. И когда вышла из проулка, так прямо и столкнулась с мотоциклом и увидела своего Санечку совсем близко. По лицу его из-под тубетейки бежал пот. Откуда ни возьмись — Марфенька. Подходит прямо к Санечке и пот ему вытирает. Милиционер вежливо так рукой ей показывает — дескать, не положено. Сам на Бородюка косится. Марья смотрит — и другие подруги Санечки здесь же: Магда, Сусанна. Приятелей его только никого нет. «Остался бы ты лучше простым плотником, — думает Марья, глядя на Санечку. — Женился бы. Жил бы себе в доме. А теперь что? Один срам...»

А как на холм перед тюрьмой подниматься — происшествие. Опять заглох мотоцикл Бородюка. Как он ни старался, не заводится — и все тут. Бородюк к милиционерам оборачивается.

— Ну, что стали? Толкайте!

Милиционеры вместе с Санечкой давай толкать мотоцикл. В толпе, конечно, смех, кто-то засвистел. Ну, милиционеры те только вид делали, что толкали, у них же в руках оружие. Толкал, конечно, один Санечка. А тут еще погода начала портиться — темнеет и темнеет среди бела дня. Пока до тюрьмы добрались, солнце совсем темным сделалось, как при затмении. Многие перепугались:

— Никогда такого не было!

Женщина рыжая в берете подошла к Бородюку, за рукав тянет.

— Отпустите Кирсана! Неспроста это...

И рукой на небо показывает.

— Быть беде!

Бородюк только погрозил ей и по кобуре похлопал. А Санечка, прежде чем скрыться за воротами, поднял руку и крикнул:

— Любите друг друга. Но больше любите истину!

— Вот я и увидела тебя, радость моя, — шепчет Марья.

Марья каждый почти день носила Санечке передачу. Испечет дома что-нибудь — печенье или пирожки — и несет. А однажды принесла, а ей говорят:

— Больше носить не надо...

— Почему? — спрашивает Марья.

Только ей ничего не объяснили, не надо — и все тут. Марья терялась в догадках. А тут, как нарочно, именно в эти дни стали происходить в городе удивительные события. Все только о них и говорили. Ну, сначала-то вроде ничего особенного — небольшое трясение земли, толчки подземные в стороне вокзала. Так что земля в одном месте (возле моста) как бы треснула. Трещину эту Марья сама видела. А дальше уже совсем что-то несообразное. Говорили, будто из трещины этой в воскресенье вышел петух и произнес человеческим голосом:

— Ждите, люди, несчастий...

Но это было только начало. Дальше — больше. Некая Августа Кулебякина (дом ее сразу за отделением милиции) родила ребенка. Марья эту Кулебякину хорошо знала — она на почте работала. Так вот говорили, что у ее новорожденной девочки оказался рыбий хвост.

И, наконец, случай с рыбаками. Трое рыбачили возле моста, это недалеко от пристани. Потом они рассказывали, что видели в воде чудовище и даже чуть было не выловили его. Так, по внешнему виду, вроде бы человек, они даже сначала подумали: не утопший ли? Потом пригляделись, а у него вместо лица, там, где у всех людей нос, глаза, рот, у этого — самая обычная дуля из трех пальцев, фи́га. Марья рыбаков этих хорошо знала — Авгий Иванович из гаража, Пузь Федор Маркович, закройщик из ателье, и третий, которого она знала меньше, — некий Володя Виссарионович, банщик из городской бани.

«Господи, — думала Марья, — к чему бы все это? И все так разом...» Как вдруг приходит ей повестка из милиции — просят зайти.

«Вот оно что, — решила Марья. — Вот к чему все эти чудеса...»

Она думала, что ее вызывает Бородюк Никанор Трофимович, но в отделении был какой-то незнакомый майор. Вежливый такой, стул Марье подвинул.

— Надо бы вам в тюрьму зайти. Несчастье там какое-то с вашим сыном.

Поехала Марья в тюрьму, долго добиралась. Там тоже милиционер вежливый, одеколоном от него пахнет. Правда, не майор, а капитан.

— Нет вашего Кирсана, — говорит. — Заболел он и умер.

— Я так и думала, — сказала Марья. — Ему в тюрьму нельзя было. У него здоровье совсем слабое.

Вынесли Марье одежду Санечки: рубашка та самая новая, что она ему сшила, брюки, ботинки — все знакомое.

— Где же он теперь? — спрашивает Марья.

— В морге, — отвечает капитан. — Следствие сейчас идет. Как закончится, мы его вам выдадим.

Вышла Марья за ворота, а там человек в белом халате сидит, курит, санитар, наверное.

— Это ваш сын умер? — спрашивает.

— Слабенький он у меня, — отвечает Марья. — Вот и помер...

Санитар докурил сигарету, потом говорит:

— Там ведь что вышло? Язвы у него по всему телу пошли. А он уже как бы в беспамятстве. Расчесывает себя... Весь кровью обливается... Его тогда в палату отдельную и на стол. Руки в разные стороны привязали, ноги привязали. Лежит он, как распятый. Так и умер на столе. Утром пришли, а он уже мертвый. Теперь вот следствие завели... Зачем только?

Вернулась Марья домой, но на этом события не кончились. Дня через два, только она из дома вышла в булочную идти, — гости к ней. Милиция, три человека, четвертый — Бородюк Никанор Трофимович. Вернулась она с ними в дом, милиционеры сразу стали во все углы заглядывать, будто ищут что-то. Потом один из них спрашивает:

— Что вам известно о вашем сыне?

— Умер он... У меня и бумага есть...

— Больше ничего? — спрашивает Бородюк.

— Вещи его вот мне вернули...

Принесла она одежду Санечки, развернули ее, а там пятна какие-то, каких раньше не было. Пригляделись, а это и не пятна вовсе, а изображение человеческого лица. А как разобрали — ахнули: лицо Бородюка, вылитый его портрет. Милиционеры тут же попрощались и ушли. На другой день ни свет ни заря бежит к Марье Марфенька.

— Тут такое творится! — кричит с порога. — Такое творится!

Марья уже вроде привыкла, ничему не удивляется.

— Что же такое? — спрашивает.

— Во-первых, мышеловка...

— Какая еще мышеловка?

— Да мыши у нас. Мышеловку мы на ночь выставили. Два дня назад. Утром смотрим — там мышь. Да какая? Шесть лапок и две головы...

— Ну и что? — пожимает плечами Марья.

— А я так и ждала — что-нибудь случится. Раз такая мышь... Неспроста... И точно. Отец позавчера домой приходит, лица на нем нет. Что случилось? — спрашиваю. А он молчит. Потом все же не выдержал. Кирсан пропал, говорит. Приходят в морг, а его нет. Камера его пуста, дверь нараспашку. Стали сторожа спрашивать, а он, как безумный, ничего сказать не может. Выкрали, говорит. Злоумышленники похитили...

— Господи! — крестится Марья. — Как выкрали?

— Всю милицию на ноги подняли, весь город прочесали — нет нигде трупа.

— Как же так? — говорит Марья. — Мне же его похоронить надо. Чтобы могилка была...

Все эти дни Марья была как потерянная. Куда-то ходила, что-то делала. Однажды опомнилась, а она на вокзале. Поезд пришел, люди с вещами спешат. Что ей на вокзале нужно — не знает. Другой раз тоже очнулась — на почте. И зачем ей на почту — не припомнит. Через день снова пришла в чувство, оглядывается, а это рынок. Старушка какая-то с ней здоровадается, про здоровье спрашивает. А это Агриппина Ниловна, знакомая. Потом Агриппина Ниловна старика какого-то ей показывает. Это, говорит, дядя Миша, бывший сторож из морга. Теперь он здесь, на рынке, первый человек. Кто водку самодельную купит, все к нему бегут. Проверь, дядя Миша, можно ли пить, не отравиться?

Дядя Миша, конечно, пробует, никому не отказывает. Марья, как услышала, что из морга, сразу к нему. Дядя Миша ее спрашивает:

— Тебе что, водку проверить?

— Нет, мне про сына узнать. Который из морга пропал. Как все это вышло?

Только дядя Миша ничего вразумительного сказать не мог, он в этот день уже с утра несколько бутылок проверил.

— Смотрю,— говорит — парень какой-то в белом халате. Я думал — санитар, иду себе мимо. А он мне: прозевал ты своего покойника. Нету его здесь больше. Воскрес он... И ехидно так... Я ломик взял — и на него. «Я тебе покажу — воскрес,— говорю.— Здесь не такое место, чтобы шутки шутить». А парень исчез куда-то. Я туда-сюда, нет нигде. И ведь трезвый был, ни в одном глазу. За что же, спрашивается, меня увольнять?

Пошла Марья с рынка и у самого выхода видит — лицо вроде знакомое. Та самая Сусанна, у которой Санечка жил. Сусанна тоже, видно, Марью признала, потому что стала рукой знаки какие-то делать: мол, иди за мной. Сама по сторонам озирается и уходит куда-то. Марья за ней. Сусанна идет впереди, на Марью время от времени оглядывается. Потом зашла в какой-то двор — и за мусорный бачок. Марья подошла, Сусанна ей шепчет:

— Нашелся Кирсан...

— Как нашелся?

— Видела я его...

«Бедная девочка,— думает Марья.— И что ж так плохо о ней говорили?» Сусанна тем временем рассказывает:

— Свет у меня в квартире перегорел. Сижу я, стучит кто-то. Звонок-то не работает. Открываю дверь, думаю, электрик. Лица-то не видно. А он мне говорит: воскрес я. Ты, говорит, не удивляйся и не бойся. Я ему: вы же, говорю, электрик. А он мне: потрогай мои язвы. А у него, и правда, по всему телу рубцы. Язвы, видно, зарубцевались, шрамы остались...

Разволновалась Марья от ее рассказа, приходит домой, а вечером у нее — гости: Петруня с Андреюшкой.

— Где же вы до сих пор пропадали? — спрашивает она.

— В Хомутовке мы были,— говорит Петруня.— У моей сестры двоюродной.

Усадила их Марья обедать, а они ничего не едят, рассказать им не терпится.

— Чудо тут у нас вышло,— говорит Петруня.— Прямо не знаем, как сказать...

— Да уж такое чудо,— подкакивает Андреюшка.

— Пошли мы с ним в соседнее село,— продолжает Петруня.— Сестра присила тетку навесить. Вот идем по дороге, разговариваем. Вдруг смотрим: кто-то третий рядом идет. Лицо будто туманом подернуто, не разобрать. И откуда он взялся — неизвестно. Что грустите? — спрашивает. А мы ему: чему же тут радоваться? Нет больше с нами Кирсана...

— Нет, это я сказал: нет больше нашего Кирсана,— перебивает его Андреюшка.— И добавил: как же мы теперь без него?

— Ну а как к тетке пришли,— продолжает Петруня,— путник наш хотел было идти дальше. А мы уговорили его остаться — время позднее. Ну, сели за стол, вина достали. И вот смотрю я: выпил он, а стакан переворачивает и кусочек хлеба сверху кладет.

— Санечка! — так и вскрикнула Марья.

— И я сразу признал — Кирсан,— говорит Петруня.

— Нет, это я первый признал,— опять вмешивается Андреюшка.— Я так и сказал: Кирсан! А он тут же сделался невидим. Точно — Кирсан это был.

Не успела Марья от этого известия опомниться, к ней новые люди — Громогласова Анна Тихоновна и Карп Захарович. Марья их сразу чаем поить. Карп Захарович чай любит сладкий, сахару полчашки набухает. Анна Тихоновна ему говорит:

— Ну, рассказывай, Карп Захарович, как все было...

Карп Захарович допил чай, пока он не остыл, потом говорит:

— В гостях я был у Анны Тихоновны. Сидели мы, вот как сейчас, чай пьем. Разговариваем между собой, все тихо, спокойно. И вдруг посмотрим, кто-то

за столом с нами сидит. Пригляделись — Кирсан. Перепугались мы сильно, думали — дух покойника явился. А он просит: дайте поесть. Дали мы ему рыбы отварной, меду. Сидит он, за обе щеки уплетает. Нет, думаем мы, это не дух. Дух плоти не имеет. А этот вон как уписывает...

— А я еще думаю,— вставляет Анна Тихоновна,— как же он вошел? Дверь-то наружная заперта.

— И знаешь, что он нам сказал, Марья? — продолжает Карп Захарович. — Это, говорит, любовь матери моей меня воскресила. Ее любовью я воскрес.

Ушли гости, а Марья после этого все молилась об одном, чтоб воскресший сын к ней явился. «К другим же ходишь, ко мне что же? Я ведь последнее время и не видела тебя толком». И однажды ночью, когда она лежала без сна, Санечка перед ней явился. Сначала она его не узнала: свет в комнате тусклый от уличного фонаря. Стоит в углу какой-то младенец, совсем крошечный, рубашка на нем белая. Потом пригляделась — это же он и есть, ее Санечка, только маленький, каким был в конце войны. Поговорить-то они, конечно, по-настоящему не могли, да Марья и без разговоров счастлива — увидела наконец своего сыночка. Чистенький он такой, рубашка свежая, все хорошо у него, все на месте. А как рассвело, Санечка ушел.

6

Всю зиму Марья ждала, что Санечка еще раз к ней явится, может, даже в своем настоящем возрасте, но он не приходил. Она и дело себе нашла — каждую неделю в городскую тюрьму ездила, где Санечка был. Как получит пенсию, накупит сладостей — пряников, халвы — и едет.

— Кому передача? — спрашивают ее.

— Кому-нибудь, — отвечает она.

Ее уже там хорошо знали, здоровались с ней. И она многих знала — Ольга Платоновна, капитан, Будкин еще, майор. Однажды приехала Марья, а там в коридоре этапники стоят, только что прибыли. Молодые ребята, человек шесть. В руках мешки, сумки, сетки с вещами. У одного под глазом здоровый синяк. Марья взяла и раздала им, что с собой принесла.

— Где это тебя? — спрашивает она того, с синяком.

— А, это в карцере... Пять суток тогда сидел...

— За что же?

— Голубей из форточки хлебом кормил.

Съел он Марьян пряник и говорит:

— Спасибо...

Потом помолчал и сказал:

— А я уж второй раз здесь. Первый раз шесть лет дали, за кражу. В расконвойке ходил... И освободили раньше срока... Да вот недолго на воле гулял.

Когда этапников увели, Марья спрашивает у Ольги Платоновны:

— Этот, который с синяком, за что он?

Ольга Платоновна заглянула в личное дело и захлопнула его.

— Мать приемную топором зарубил...

Марья давно просила, чтобы ей разрешили свидание с кем-нибудь из заключенных. Ей всегда отказывали.

— Зачем это вам? — морщилась Ольга Платоновна. — Ведь все одно и то же — кражи, насилие, судимости, кражи...

Майор Будкин тоже ей сначала отказывал. А потом махнул рукой.

— Пусть, если хочет...

Обыскали Марью с головы до ног, повели в комнату свиданий. Долго она там сидела, ждала. Наконец, приводят — совсем молоденький паренек, даже на Санечку чем-то похож. Только кожа белая, ни кровинки в лице. И запах особенно тяжелый. Марья потом этот запах на себе всю неделю чувствовала, никак отмыть не могла.

— Вот, знакомьтесь, — сказал майор. — Хворостов Александр.

Марья все сидела, не знала, что говорить. Потом спрашивает:

— А родители у тебя есть?

— Нет у меня никого, — отвечает Хворостов, хмуро так, сам в сторону смотрит. — Сирота я.

Так они сидели, молчали. Потом Хворостов говорит:

— Летом освобождаюсь. А к зиме, думаю, снова сюда.

Марья даже не поняла сразу.

— Как — сюда? Зачем же — сюда?

— Тут — крыша. Белье меняют, баня. Опять же — кормят. Я здесь профессию получил — жестянщика. Сижу, ведра клепаю. А на воле я сам разве выживу?

Вышла потом Марья на улицу, весна, солнышко светит, и все никак понять не может: как же так, обратно в тюрьму? Смотрит она вокруг — люди ходят, дети бегают, старушка нищенка у ворот сидит, крестится: все живут. Марьяшла какую-то мочель, дала старушке. Потом вернулась и говорит:

— Поехали ко мне чай пить... У меня и баранки есть...

Звали старушку Евдокия Харитоновна. Дома Марья наливает ей чаю и спрашивает:

— Как же так можно — обратно в тюрьму? Неужели на воле хуже?

Евдокия Харитоновна баранку в чае мочит.

— А что воля? Главное — крыша над головой. Я вот сама без крова. Хорошо, когда в ночлежку поустят, спасибо им. Только там долго не держат...

— Как вы так без дома остались? — удивляется Марья.

— А как? Мазурики какие-то... Сказали: отпишите нам квартиру, бабушка. Будем ухаживать за вами до самой смерти. И похороны тоже, похороним... У меня ведь никого нет... Ну, и подписала. А они потом возьми и выгони меня...

Попили они чаю, Марья и говорит:

— Живите пока у меня...

Осталась Евдокия Харитоновна у Марьи. Хлопот с ней мало. Разве что подружки ее когда зайдут по старой памяти. Попьют они чайку и за город отправляются, за железную дорогу. Там, сразу за насыпью, свалка городская. Чего только Евдокия Харитоновна оттуда не приносила! То огрызок шоколада в красивой обертке, то банку с остатками сгущенного молока, то еще что-нибудь. Из вещей тоже много всякого было — кофта почти новая, рукава только подшить, остатки каких-то кружев. Однажды даже флакон красивый принесла, на дне духи французские.

Вечером сидят они за столом, Марья все про Санечку своего рассказывает.

— Для себя ничего. Все для других. Любите, говорил, друг друга...

А Евдокия Харитоновна про свое:

— Отец мой офицером был. В первую войну погиб, под Брестом, за царя. А я сама три лагеря прошла. Последний был — Унжинский, трудовой...

— Да, да, — подкакивает Марья. — Жизни своей Санечка не пожалел... Чтобы в любви все были...

Только жила Евдокия Харитоновна у Марьи недолго. Утром как-то просыпается и говорит:

— Сегодня ночью во сне лошадь черную видела. Скачет по снегу, а снег такой белый...

Сказала так, а вечером и умерла. Марья выходила куда-то, домой возвращается, а Евдокия Харитоновна на кровати лежит, глаза стеклянные, челюсть отвисла. На другой день с утра поехала Марья гроб заказывать. К обеду возвращается, в комнате — старушка какая-то.

— Евдокию пришла проводить. Ночью лошадь приснилась какая-то черная и говорит мне: «Ступай, мол, Евдокия померла». Ну, я и пришла. Дверь-то у вас не заперта...

Потом, когда гроб привезли, они вдвоем со старушкой обрядили Евдокию Харитоновну, уложили в гроб, на стол поставили. Свечку в ее пальцы на груди вложили, как положено, зажгли.

Оставила Марья старушку возле гроба, сама поехала на кладбище — место для могилки смотреть. А старушка у гроба, видно, задремала. И как-то так вышло, что свечка из рук покойницы упала. И вот сначала загорелась одежда на покойнице, потом гроб, а там и вся комната. Когда Марья вернулась, дом уже полыхал вовсю. Она еще издали дым черный увидела. Бегает Марья возле горящего дома и кричит:

— Там же старушка осталась! Там старушка живая!

Соседи из домов повыводили, кто в чем. Один даже в простыню завернутый, прямо из ванной. Посмотрел он на пожар и сказал:

— Вещи бы спасать надо...

Уже когда пожарные приехали на трех машинах, как раз крыша рухнула. Искры чуть не до неба, все так и шарахнулись. К ночи все разошлись. Марья одна сидит на пепелище, лицо черное. Пожарные тоже сворачиваются, уезжать собираются. К Марье командир их подходит, брандмайор.

— Вам заявление в исполком подать надо,— говорит.— Вне очереди должны жильё дать...

Так до утра Марья и сидела. А утром Громогласова пришла Анна Тихоновна.

— Что же ты сидишь? — говорит.— Идем ко мне.

Полгода, наверное, Марья у Анны Тихоновны жила. Марья все переживала:

— Вдруг Санечка снова явится. Придет на старое место, а там — пепелище...

— Ну, тебя-то он всегда найдет,— успокаивала ее Анна Тихоновна.

— Он теперь, наверное, на небе,— говорила Марья.— Хоть бы Господь скорее забрал меня... Санечку увидеть... Только об этом и молю...

В самом конце августа в день Анны пророчицы — именины у Анны Тихоновны. Гости собрались, стол накрыли. Только за стол сели, почтальон Дуся в дверях. Открытка для Марьи — явиться за ордером. Все, конечно, поздравлять Марью стали, выпили за ее комнату в коммуналке. А как получила Марья ордер, так сразу и переехала. У нее и вещей-то никаких нет, все сгорело. Анна Тихоновна дала так кое-что на первое время. Квартира Марье понравилась. Только запах в коридоре тяжелый. Вот утром выходит она на кухню, соседи у плиты стоят. Марья спрашивает у них: откуда, мол, такой запах? Элеонора Карповна, она как раз рыбу жарила, говорит:

— Это в крайней комнате старик помирает... Все никак не помрет... Митрофан Гурьевич...

Другая соседка, Ильинична, она молоко кипятила, сказала:

— А уж мучается как... Корежит его всего, ломает. А то еще — язык наружу, сам синий весь... Вечером затихнет, думаешь — отошел. А утром все сначала... Головой об стенку бьется...

— Так прибраться у него надо,— говорит Марья.— Что ж запах такой терпеть?

— Еще чего! — говорит Элеонора Карповна.— Вон Ильинична еду ему носит! Хватит с него!

Марья тем не менее выпросила у соседей ведро, тряпку, нагрела воду — и к соседу, к Митрофану Гурьевичу. На кровати старик лежит, обросший весь, белье грязное. В комнате вонь, паутина, тараканы по полу бегают. Нашла Марья в шкафу белье постельное, перестелила, как смогла. Старик-то лежит колодой. Посадишь его, он обратно падает. Подняла Марья подушку, а там под ней медали, ордена.

— У меня еще именной револьвер был,— шамкает Митрофан Гурьевич еле слышно.— Потом часы золотые с вензелями. Все подарки. Теперь украли, наверное...

Принялась Марья комнату мыть. Грязи там столько, что за неделю не вывезешь. У порога весь пол в пятнах крови, Марья еле отскребла. Митрофан Гурьевич лежит, на нее смотрит.

— Вот, все никак помереть не могу,— шепчет он.— А знаю почему. За службу свою...

— Что же за служба такая? — спрашивает Марья.

— В охране... На Колыме, в лагерях... Старшина НКВД...

Утомилась Марья тряпкой возить, села к нему на кровать передохнуть.

— Вот лежу, вроде бы, думаю, помер уже. Даже хорошо. А тут вдруг сам вождь ко мне является. Ты еще нужен, говорит. И вот снова живу, мучаюсь...

— Зачем же мучиться? — говорит Марья.— Живите себе...

Митрофан Гурьевич что-то хочет сказать, рот открывает, а по щекам слезы текут.

— Я ведь тогда думал — враги... Я тебе скажу... Они каждую ночь ко мне приходят... По очереди... Все лагерники, кого знал... Вот и не сплю я... Мне бы только помереть. Больше ничего не надо...

И опять рот беспомощно открывает, сипит, будто задыхается.

— Выводим их на мороз под утро — к обрыву. А они уже знают, зачем. Телогрейки снимают, бахилы, другим отдают.

— Как же снимают? — спрашивает Марья.— Босиком, что ли, идут?

— Ну, кто наматает что на ноги. Стоят, мерзнут. Некоторые стоять не могут, на колени падают.

— А потом что? — спрашивает Марья со страхом.

— Потом в затылок из нагана. Они так сразу с обрыва и падают...

— Господи,— крестится Марья,— это же какой грех на душе носить... Как же с ним жить? Это же никаких сил не хватит терпеть...

Хочет Митрофан Гурьевич голову от подушки поднять, а она у него трясется, так из стороны в сторону ходит.

— Помню, как первый раз. Я молодой был. Так ухо одному и отстрелил. Тот стоит, руками за голову держится, между пальцами кровь, прямо на снег. А я упал на колени и реву: не могу, не могу... Тут командир ко мне бежит, наган к моей башке...

— И что же? — опять спрашивает Марья.

— Ну, поднялся, добил того...

Старик все к Марье тянется.

— Он теперь так без уха ко мне и приходит... Там, в дверях, стоит. Весь пол кровью закапал.

Марья сразу вспомнила — пятна крови у двери. Посмотрела она на Митрофана Гурьевича и говорит:

— Вон как вы исстрадались... Пора бы и отпустить вам грех.

Ну, убралась Марья у Митрофана Гурьевича, ушла. Утром выходит на кухню, а Ильинична ей говорит:

— Старик-то ночью помер...

— И с чего бы это? — поджмает губы Элеонора Карповна.— Столько времени не мог, а тут вдруг сразу...

И на Марью косится. С тех самых пор соседи на Марью как-то странно смотреть стали, особенно Элеонора Карповна. То терка у нее со стола пропадет, то ложку разливную найти не может.

— Никогда у нас такого не было,— говорит она.— Что за напасть? Прямо наваждение какое-то...

А тут как-то Марья возьми и скажи супругу ее Адриану Прокофьевичу, просто так, от чистого сердца: мол, не надо бы вам столько курить, для здоровья вредно. А на другой день Адриан Прокофьевич с постели подняться не может — грудь заложило, и изжога с отрыжкой. Элеонора Карповна тогда и говорит на кухне:

— Вот он, глаз-то черный... Известно, чей это глаз...

Другой раз праздник у них какой-то был, юбилей свадьбы, что ли. Всю ночь гуляли, шум, музыка. Наутро у Адриана Прокофьевича новая беда — икота нашла. Да такая сильная, что ничем остановить нельзя. Так весь день и икал, только к вечеру отпустило. Элеонора Карповна сразу на Марью:

— Твоих это рук дело! Вот погоди, мы хвост-то у тебя отыщем! Мы у тебя хвост-то выдернем!

Кто теперь приходил в квартиру, Элеонора Карповна предупреждала в дверях, громко так, на весь коридор:

— Вы уж поосторожней! У нас в квартире ведьма! Ей сглазить человека ничего не стоит!

Однажды Марья выходит на кухню, видит: Элеонора Карповна ширму из комнаты притащила, стол свой отгораживает. В тот же день вечером слышит Марья, кто-то под дверью ее возится. Выглянула, а это Элеонора Карповна порошок какой-то белый возле ее двери рассыпает, от тараканов, что ли.

Теперь еще кошка. У них в подъезде кошка бездомная жила, Маркиза. Марья ее кормила, Маркиза почти все дни в ее комнате была. А однажды приходит Марья домой, Маркиза у ее порога дохлая лежит. «Не иначе, как отравили»,— решила Марья.

Она уже теперь нарочно на кухню не выходила, чтобы лишний раз не позываться. Купила себе плитку и готовила на подоконнике в комнате. Вот разогревает она себе ужин, слышит, как за дверью Элеонора Карповна говорит своему супругу:

— Подсыпать бы ей чего-нибудь в кастрюлю...

А однажды приходит Элеонора Карповна домой, гостя какого-то за собой ведет. Обросший весь, небритый, волосы до плеч. Угостила его у себя в комнате, небритый потом выходит — лицо красное. Марья как раз руки в ванной мыла. Увидела его — и скорей к себе, небритый за ней. Марья крючок на дверь накинула, а небритый с той стороны в дверь колотится.

— Выходи, ведьма! Я тоже колдун! Выходи! Я сильнее тебя! У меня двенадцать сил, у тебя и пяти, наверное, нет! Ты кого заговоришь, я отговорю! А кого я заговорю, никто не отговорит! Против меня не устоять! Выходи!

И в дверь ногами колотит. Потом говорит Элеоноре Карповне:

— Ты ей слабительное в чайник насыпь. Пронесет ее как следует, все колдовство свое забудет...

Так до ночи и сидела Марья у себя. А ночью, как все легли, хотела она выйти, толкнула дверь, а та снаружи сундуком прижата. Еле отодвинула, сил то уже нету. Утром Элеонора Карповна говорит:

— Это чтобы ты по ночам не летала по коридору...

Марья все молилась Господу — взять ее поскорее в горные селения, чтобы сына своего увидеть.

— Зачем таким, как я, жить? Людям только надоедать. Не надо вот, а живу. Все уже у меня было, больше ничего не будет. Сколько же еще жить нужно?

И вот ночью однажды снова явился к ней юноша невзрачного вида, тот самый, что ей когда-то о рождении сына говорил. Марья его сразу признала — рыбой от него соленой пахнет. Она тогда уже совсем старая была, лет за семьдесят. Юноша и говорит:

— Сын твой ждет тебя...

И веточку какую-то ей протягивает.

— Что это? — спрашивает Марья.

— Это торжество над телесной смертью. Смерть не будет иметь над тобой власть. Ты воспрянешь от нее, как от тихого сна, к бессмертной жизни...

И с того самого дня Марья стала готовиться. Вещи, какие были, прибрала, в комнате порядок навела. Вот лежит она и думает: «Что же у меня в жизни было? Для чего я жила? Только и знала — любить сына. А больше ничего и не было».

Потом смотрит Марья: перед ней старушка стоит, та самая, что в доме тогда сгорела, когда Евдокию Харитоновну хоронить собрались.

— Сон мне был, — говорит старушка. — Будто я на санках с горы еду. А внизу ты стоишь, вся в черном. И мы вместе в снег покатались...

А дальше вроде как туман в комнате, не видит Марья уже ничего. Только тени какие-то в тумане и голоса:

— Зачем нас сюда позвали?

Другой голос отвечает:

— Для утешения Марьи. Порадуемся вместе с нею — она отходит к сыну своему...

И тут Марья вроде бы даже голоса признала — вот Петруня, вот Андрюшка, другие еще. Все приятели Кирсана. Давно она их не видела. А теперь они все здесь. Стоят возле ее кровати, а Марья им говорит:

— Я вижу его! Сына своего вижу!

И откуда-то голос Кирсана:

— Иди ко мне, родная моя!

— Иду, — шепчет Марья, а у самой лицо от счастья светится. — Готово сердце мое. Иду, как прежде, любить тебя... Служить тебе...

И снова голос Кирсана:

— Как ты носила меня на руках в земной жизни, так я понесу тебя к жизни небесной...

Утром соседи заглядывают в комнату Марьи — люди там незнакомые, на постели Марья лежит недвижимая.

— Как вы сюда попали? — кричит Элеонора Карповна.

— Хоронить пришли,— отвечает Петруня.

Похороны были скромные, народу мало. Приятели Кирсана вынесли гроб из подъезда, впереди Марфенька, ветку в руках держит, какую нашли возле Марьи на подушке. Погрузили гроб на машину, шофер спрашивает:

— Куда везти?

— На старое кладбище,— отвечает Петруня.

Шофер подумал, потом говорит:

— Разве там сейчас хоронят?

— Хоронят, хоронят,— машет ему рукой Андреюшка.

А как приехали на кладбище, тут все и началось. Только стали гроб с машины снимать, бежит начальник какой-то, наверное, директор. За ним сторож в ватнике.

— Что за самоуправство? — кричит директор.— Кто позволил?

Показывают ему бумаги, он даже смотреть не хочет.

— Здесь всяких не хоронят! Только по особому разрешению! Везите на новое кладбище!

— Без разрешения нельзя,— поддакивает сторож.

Стал директор гроб обратно на машину закидывать и вдруг как закричит. Смотрят, у него обе руки повисли, как плети,— отсохли. А сторож вокруг него топчется, руки перед собой выставил, как слепой. Заглянули ему в лицо, а у него и впрямь глазницы пустые. Что тут крику, шуму! Директор ревет в голос, сторож ощупкой туда-сюда тычется, на машину налетел, голову разбил. Тут Петруня подходит к гробу и говорит:

— Прости их, Марья...

И вот пальцы у директора на руках зашевелились, руки стали сгибаться, а там и вовсе отошли — снова руки как руки. И сторож видеть стал, как прежде, прозрел. Стоит, за голову держится, на пальцах кровь.

— Черт с вами! — машет директор.— Хороните...

И сторож тоже машет:

— Черт с вами!

Ну, похоронили Марью как положено, все честь по чести. На другой день тот самый сторож, что было ослеп, а потом прозрел, с самого утра на рынке, возле пивного ларька. Угостят его кружкой пива, а он в который раз принимается рассказывать:

— Своими глазами видел. Стоит в воздухе, вся в белом... А у нас там, у ворот, нищих полно. Так она каждому булку белую дает.

— Не может быть,— поддразнивали его.— Это ты вина, верно, выпил...

— Вы нищих у кладбища спросите,— обижался сторож.— Они вам скажут...

И на самом деле вышло так, как говорил юноша с веткой,— очнулась Марья после смерти, как от тихого сна. Помнит она, будто сначала Санечка вел ее куда-то за руку, а потом пришла в себя, оглянулась — вокруг никого. Стоит она среди поля. Светло, как днем, тишина. Какой-то старик идет ей навстречу. Подошел ближе, а это отец Владимир из храма Покрова, где Марья девочкой жила. Обнялись они, расцеловались.

— Идем, я тебе покажу, какими муками души человеческие мучаются,— говорит отец Владимир.

Повел он ее по полю куда-то. Прошли немного, перед ними овраг. Внизу туман, ничего не видно.

— Я ничего не вижу,— говорит Марья.

Мало-помалу туман стал расходиться. И видит Марья: внизу река кипящая, так и бурлит. В реке люди стоят, кто по пояс, кто по грудь, другие по шею.

— Кто это? — спрашивает Марья.

— Это те, кто против своей совести жил,— говорит отец Владимир.

Стали они вниз по тропинке спускаться. По сторонам на кустах и деревьях ключья тумана. И вот видит Марья: чернеет дерево, а к верхушке человек за ноги подвешен. Черви по нему ползают, всего облепили. Вгляделась Марья в лицо перевернутое и даже вскрикнула. Тот самый матрос, который тогда в храме замуж ей предлагал идти, а потом с иконой танцевал.

Повернулась она в другую сторону, там тоже дерево. К ветке женщина подвешена за волосы. Изо рта у нее змеи так и лезут, целый клубок. И ее Ма-

рья узнала — Дора-каторжанка, с хлыстом и револьвером, у которой отряд карательный был.

А дальше еще и еще деревья, то с одной стороны, то с другой. Вот человек за язык подвешен железными крючьями. И это лицо Марья знакомо — Чумкин, председатель ЧК, который Осипа Даниловича допрашивал. Тут же рядом еще кто-то подвешен за ноги, форма на нем милицейская. Из головы пламя вырывается, опалает всего. Этого Марья не могла сразу признать. Отец Владимир говорит:

— Охранник это, который Кирсана в тюрьму вел. Он еще семечками в него плевался на крыльце.

А дальше, как они шли, — столы огненные. На столах люди лежат, корчатся. И здесь Марья многих узнавала — все больше торговцы с рынка. Тот, что в тубетейке, дынями торговал, другой еще — в кепке с большим козырьком. «Когда же они умереть успели?» — думает Марья. А на одном столе — Митрофан Гурьевич, бывший охранник, у которого Марья в комнате прибиралась.

Чем ниже они спускались, тем сильнее палил жар. Река так и полыхала огнем. Наконец, отец Владимир вывел Марью к месту, где был мостик. Перешли они на другую сторону, стали вверх подниматься. Поднимаются, а конца подъему не видно. Облака уже вокруг небесные, а они все идут. И вот видит Марья: в облаках люди какие-то ходят. Одеты все одинаково — халаты — не халаты, балахоны какие-то большие. Тут же столы расставляют, стулья.

— Кто это? — спрашивает Марья.

— Грешников судить будут, — отвечает отец Владимир.

А судьи взад-вперед ходят, руками размахивают, спорят о чем-то. Один — маленький, пузатый, другой — верзила тощий. Толстяк совсем лысый, тощий тоже лысый, но с бородой. Слушает их Марья, а сразу понять не может, о чем они говорят. Толстяк все на тощего насакивает:

— Земная любовь выше небесной... Вот так!

И язык высовывает.

— Эк, заладил! — огрызается бородатый. — Только небесная любовь венчается нетлением!

— Душа человеческая без земной любви греху подвержена, — не унимается толстяк.

— А небесная любовь покрывает все грехи! — отвечает бородатый.

— Грешник — это и есть тот, в ком нет земной любви!

— Душа без небесной любви мертва!

Какой-то мальчик, тоже в балахоне, вокруг спорящих вертится. То одного за полу дернет, то другого. Его гонят, а он все равно под ногами путается. И все время посвистывает.

— Не свисти! — говорят ему. — Прекрати!

Тогда мальчик хитро так щурится и спрашивает:

— А что такое небесная любовь и земная?

Спорящие сначала было отмахнулись от него, потом поглядели друг на друга и перестали спорить.

— Видишь ли, — говорит бородатый, — когда мать любит своего сына и служит ему — это любовь земная. А если сын любит истину и служит ей — это любовь небесная...

— Любовь — это то, что очищает сердце, — поддакивает толстяк.

Мальчик тогда спрашивает:

— А любовь к женщине — это тоже венец и спасение?

Тут оба спорщика накинудись на него и прогнали.

— Подумаешь! — кричит мальчик. — Завели тоже канитель!

Марья стоит и думает: «И чего тут спорить? Если любишь, так что уж тут... Тогда и рассуждать некогда... Когда любишь...» Потом говорит:

— Нет, это не для моего ума. Это только Санечке впору. Где уж мне?

И тут она видит Санечку. Ходит он среди судей в балахонах, как у себя дома. Толстяк и бородатый тоже его увидели — и к нему.

— Рассуди нас, — просят.

Санечка подумал и говорит:

— Любовь к истине выше. Кто любит истину, тот и велик. Небесные существа бессмертны по своей любви к истине. Земные стали смертными оттого, что их любовь только земная...

«Вот он какой у меня!» — думает Марья, а у самой на глазах слезы. Тут и Санечка ее увидел:

— Мать, ты что?

А Марья стоит, от радости не знает, что говорить.

— Скажи им, Санечка,— просит она.— Пусть помилуют грешников. Попроси... Видела я, как они мучаются... Жалко мне их...

Тут оба спорщика накинулись на Марью.

— Как же простить? — кричит толстяк.— В них же любви никакой. Ни земной, ни небесной! Только ненависть и вражда!

И бородатый его поддерживает:

— Мир сотворен для любви, а эти ее не знают! Как же их помирить?

Только Марья все равно стоит на своем: простите да простите. Судьи ни в какую, даже слушать не хотят.

— Смерть для людей, которые знают любовь, есть бессмертие. А для людей, не знающих любви, есть смерть.

Марья тогда отошла в сторону и говорит отцу Владимиру:

— А я все равно сюда ходить буду... Каждый день... Ходить буду и просить... Хоть одного да помилуют...

А в бывшей комнате Марьи тем временем происходили самые странные события. Элеонора Карповна и Адриан Прокофьевич долго ходили мимо ее двери. А потом наконец не выдержали — вскрыли и вошли. Комната пустая, вещей никаких нет. Так, из одежды кое-что, платье старое на кровати, платок на полу валяется. Элеонора Карповна машинально подняла с пола платок и Адриану Прокофьевичу протягивает. Тот взял платок и держит в руках. А у Адриана Прокофьевича, надо сказать, последние дни была маленькая неприятность. А именно — на щеке под самым глазом выскочил большой фиолетовый прыщ. Что только Адриан Прокофьевич с ним не делал! И выдавливал, и одеколоном прижигал, и мазью какой-то мазал — ничего не помогает. И вот только взял он в руки платок, как прыщ под глазом сам собой исчез, будто его и не было. Элеонора Карповна смотрит на него, понять ничего не может.

— Где же твой прыщ? — спрашивает.

— Не знаю,— отвечает Адриан Прокофьевич.— Только что тут был.

Элеонора Карповна постояла, подумала, потом, ни слова не говоря, хватается со стула фартук Марьи и к лицу своему прикладывает. Адриан Прокофьевич сначала не понял, а потом только догадался — бородавка. У его супруги над верхней губой была большая бородавка, которая очень ему не нравилась. Мало того, что у нее усы, как у мужчины, так еще и бородавка. А Элеонора Карповна так, с фартуком у лица, к зеркалу и идет. Подождала немного, потом медленно фартук от лица убирает.

— Нету! — кричит.— Нет бородавки! И усов нету!

— Ну что? — ехидно так спрашивает Адриан Прокофьевич.— Вот тебе и Марья! А ты — ведьма, ведьма! Святая она — вот что!

А Элеонора Карповна от зеркала оторваться не может.

— И за что только людям святость дается? — вздыхает она.— Откуда такой дар берется?

Мало-помалу каким-то образом скоро все жильцы дома узнали про чудеса в комнате Марьи. И потянулись тогда в квартиру гости. Первой явилась Анастасия Феоктистовна с третьего этажа. Дело у нее серьезное. Муж у нее, Фабиан Семенович, краснодеревщик, человек хороший, непьющий. Двадцать лет они вместе, а детей все нет и нет.

Входят они с Элеонорой Карповной в комнату Марьи, а там на окне графин с водой, от Марьи остался. И странное дело — сколько времени прошло, а вода в графине чистая, прозрачная, будто только из родника. Налила Анастасия Феоктистовна стакан и выпила.

— Вода-то какая сладкая,— говорит.

А еще через месяц звонит она в квартиру и кидается обнимать Элеонору Карповну.

— Сбылось,— шепчет.— В положении я...

Следом за Анастасией Феоктистовной — Прохорчук Созонт Спиридонович с первого этажа. У того и вовсе беда. Ремонтировал он у себя дома проводку на кухне да и упал с табуретки. А табуретка на столе стояла. Расшибся так, что думали — конец ему. Головой прямо о плиту. Жена еле дотащила его на себе в

комнату Марьи. Он тоже попил водички из графина и как заново родился. Ни одной ссадины или царапины. Стоит себе веселый такой, даже притоптывает.

На Созонте Спиридоновиче чудеса, понятно, не кончились. На том же первом этаже жил Трошкин Семен. Все про него говорили: пропащий человек. С самого раннего утра, когда все на работу идут, он уже у магазина, в руках сумка с пустой посудой. После обеда его уже и не видно — спит себе до поздней ночи. Всегда опухший, лицо черное, в болячках запекшихся. А тут вдруг утром однажды выходит из дома, никто узнать его не может. Лицо свежее, ни одной складки или морщинки. И сумки в руках нет. Все, кто был во дворе, так на него и уставились.

— Ты ли это, Семен? Что с тобой? Не заболел ли часом?

А Трошкин Семен рассказывает:

— До сих пор сам ничего понять не могу. Ночью ко мне покойница явилась — Марья. Ничего не сказала, просто постояла рядом. А утром я просыпаюсь и начинаю по привычке посуду пустую собирать. И вот собираю, а сам уже знаю, что пить-то больше не буду. Уверенность такая во мне... Перебил я тогда все бутылки, и вот я совсем другой человек...

Теперь Спиридонова Евлалия Марковна с верхнего этажа. Та чуть не сгорела. Спит она как-то ночью и видит во сне, что у нее на кухне пожар. Проснулась, паленым пахнет. Выскочила на кухню, а там дым, задохнуться можно. Забыла она вечером духовку выключить. И вдруг различает она в дыму чью-то фигуру. Сначала-то, конечно, не разобрала, кто это был. А как дым стал редеть, узнала Марью. Тут и дым совсем пропал, и пожара никакого.

Зимой новое дело — несчастье с Ильиничной, Марьиной соседкой. Заболела она и стала помирать, в постель слегла. Боли ее замучили. Врач только руками разводил. Никакой, говорит, надежды — старость. Ждите, говорит, кончины со дня на день. Элеонора Карповна даже смотреть на Ильиничну не могла — такое страдание в ее лице.

— Неужели боли нельзя снять? — спрашивает она у врача.

Тот опять только руками разводит. А тут как-то заглянула Элеонора Карповна к Ильиничне, а у той новое лицо, будто заменили, — ясное, светлое.

— Марья ко мне приходила, — говорит Ильинична. — Сказала что-то, я уж не помню что, и мне сразу легко сделалось. Боли отпустили. Теперь и помирать не страшно.

Через три дня Ильинична умерла, но до последней минуты улыбалась и ласково так на соседей глядела.

Был еще случай с ограблением. Девятую квартиру чуть не обворовали. Спичкиных, хозяев, как раз дома не было, вот грабители и забрались через форточку, два человека. Стали драгоценности и деньги в сумки запихивать, все удачно шло. А потом вдруг смотрят — в дверях милиция. Они сумки побросали — и в окно. Их, конечно, потом поймали. А на самом деле, как выяснилось, никакой милиции не было, это им так показалось. А стояла за дверью на лестнице Марья, соседи ее видели.

Тоже еще нищие. Вдруг ни с того ни с сего стали со всего города нищие съезжаться к дому, где жила Марья. Целые дни у подъезда сидят, будто ждут чего-то. Их уже и прогоняли, милицию вызывали, а они все равно каждое утро собираются и сидят до самой ночи. Кто на лавочке, кто прямо на земле. И рассказы друг другу рассказывают:

— Вчера ночью лежу в своем подвале, замерз. А потом чувствую, вроде тепло стало. Смотрю, меня одеялом кто-то накрыл. Главное, думаю, откуда одеяло взялось?

— А мне тоже, — говорит другой. — Просыпаюсь утром, знаю — дома маковой росинки нет. То есть ну ни крошки хлеба. А тут смотрю и глазам не верю — яблоки на столе, пряники, колбаса.

— А у меня еще интересней, — говорит третий. — Лежу я как-то ночью в котельной, вижу — женщина передо мной. Смотрит на меня и говорит: копай! А я никак не пойму, что она от меня хочет. На другую ночь опять — пришла и говорит: копай! И третью ночь. Я тогда утром взял лопату и возле котельной стал копать. Ямку небольшую вырыл, смотрю — кошелек. Открыл, а там — деньги. Немного, правда, но жить можно...

Многие приходили в комнату Марьи и записочки там оставляли. Макар Тихонович, например, вовсе из другого подъезда, просил помочь с получением

квартиры. Семья у него большая, трое детей, и все в одной комнатухе. Занавесками перегородились и живут. Так вот, оставил он записочку под подушкой Марьи, а через неделю повестка пришла — получить ордер, очередь подошла.

Евдокимов Ананий Павлович, тот даже не один раз писал, записок пять, наверное, оставил. Все просил повысить зарплату. Тоже семья, жена-инвалид, дети малые. И через какое-то время является Ананий Павлович в квартиру с бутылкой шампанского. Вышло ему повышение по службе и новый оклад, в два раза выше против прежнего.

Нонна Мордасова из соседнего дома тоже писала. Она уже совсем было отчаялась. Сватался к ней военный, офицер, уже и свадьба была назначена. А она вдруг возьми и полюби другого, музыканта какого-то из ансамбля. Родители ни в какую: выходи да выходи за офицера — и все тут. Написала Нонна тогда Марье, дескать, помоги от жениха избавиться. Ну, так все и вышло, как нужно. Через неделю переводят ее офицера в другой город, на дальний Север куда-то. Уж он убивался, когда уезжал.

Короче сказать, народ валом валил в комнату Марьи. Элеонора Карповна прямо с ног сбилась. Сначала-то она пускала всех без разбора, ворчала только, что грязь носят. А потом как-то подумала: что ж так, даром? Надо бы деньги за вход брать. Сказала об этом Адриану Прокофьевичу, тот перепугался.

— Что ты! Что ты! Накажет нас Марья!

Только длилось все это недолго. Квартиру вскоре целиком купил один из новых людей — директор торговой фирмы Ставриди Маврокий Генрихович. И чудеса враз прекратились. Многие тогда вспоминали Кирсана. Не об этих ли новых хозяевах говорил он тогда на рынке, когда громил торговцев?

А у Марьи на небесах все шло своим чередом. Каждый день приходила она к судьям, просила о милости — пожалеть грешников. Старики в балахонах уже не знали, куда от нее деваться.

— Уйми ты ее, — просили они отца Владимира. — Уведи куда-нибудь...

А самое главное, каждый день видела Марья своего Санечку. За всю свою долгую жизнь на него нагляделась. Вот ей и радость...



Р а с с к а з ы

Полное собрание сочинений Тучина

I

Если вам сорок с чем-то и вас покинул муж, едва ли вам будет приятно посвящать посторонних в свои невзгоды. Мое намерение посетить дом на окраине города, в унылом районе под названием Новый Перлах, не вызвало восторга. Я позвонил, дверь неохотно отворилась, я назвал себя.

Это была так называемая социальная квартира, — слово «социальный» говорит само за себя. Тусклая прихожая, мебель, приобретенная на складе благотворительного общества Caritas, запах вчерашней еды, отверженности, одиночества и гордыни. Старая и облысевшая женщина сидела, вцепившись в ручки кресла, перед телевизором. Меня провели в соседнюю комнату.

«Это ваша мать?»

«Свекровь, — сказала хозяйка. И добавила: — Альцгеймер».

«Простите?»

«По-русски — слабоумие».

Мы обменялись двумя-тремя фразами. Я прихлебывал кофе и разглядывал фотোগрафии. Часть из них была сделана еще «там».

Я спросил:

«Давно вы уехали?»

«Скоро пятнадцать лет».

Она, конечно, сильно изменилась. Что касается Тучина, то на всех снимках он выглядел одинаково. Человек без возраста; малорослый, лысоватый, тщедушный, с непропорционально большой головой. Глаза? Затрудняюсь сказать, что они выражали. Глаза устремлены в пространство или, что то же самое, внутрь себя. Взгляд человека, погруженного в собственный мир, где он созерцает пустоту. Впрочем, все это были мои фантазии. А кстати, спросил я, сколько лет было ее мужу, когда они решили... когда их заставили?..

«Никто нас не заставлял, — сказала она надменно. — Костя не имел к политике никакого отношения. Вообще все это его не интересовало».

«Что не интересовало?»

«Да все это диссидентство. У него и друзей-то не было».

«Но он ведь, кажется, прежде чем выехать, печатался за границей?»

Она пожала плечами. Что-то такое, в одном журнале. «А в Москве, в самиздате?» Что-то ходило по рукам; откуда ей знать? «Почему вас это интересует?» — спросила она.

«Я уже говорил вам. Я собираю материалы для...»

Она усмехнулась.

«Вспомнили. Небось, пока он был тут, ни одна душа не поинтересовалась».

«Вы правы, — сказал я. — Так было и со старой эмиграцией: спохватились, когда никого уже не осталось в живых. Поэтому я и решил, пока еще...»

«Пока я жива? Я-то тут при чем?»

«Он был старше вас?»

«Да что вы все говорите о нем как о мертвом!»

Я извинился. Помолчали, потом она проговорила:

«Он думал: вот приедем на Запад, начнут его печатать. На руках будут носить... Кабы не он, никуда бы я не поехала».

На этом, собственно, разговор закончился; выходя из дома, я думал о том, что задавал ей совсем не те вопросы, которые надо было задавать. Ничего нового я не узнал. Тучин был не единственным, кто надеялся за границей добиться успеха. Кто из нас не воображал, что везет с собой нечто исключительное, небывалое, может быть, гениальное? А тут еще предложение, сделанное через туристов, каких-то гостей или эмиссаров, — стать редактором русского журнала, о котором он ничего не знал, кроме того, что там однажды появились его рассказы. Тучин прибыл с женой и матерью, не удостоившись торжественной встречи, на которую втайне рассчитывал. Через полгода редакция закрылась; друзей он не приобрел, языка не знал и не чувствовал желания учиться; получил пособие; жена моталась по городу, была почтальоном, уборщицей, подавальщицей в пивном саду, раздавала душепасаительные брошюры. Тучин сидел дома и, похоже, ничем, кроме своего нескончаемого писания, не интересовался. Как вдруг что-то сдвинулось с места, словно потянуло гниловатым весенним ветерком. Разнеслись небывалые вести. Тучин решил — опять же подобно многим, — что настал его час. Наконец-то его начнут печатать на родине. Были какие-то обещания, телефонные звонки, письма, которые он прятал. Были посланы рукописи, на которые, правда, не последовало никакой реакции: то ли не дошли, то ли не понравились. И когда он собственной персоной отправился в Россию, один, без жены, для переговоров, ни у нее, ни у него — по крайней мере ей так казалось — и мысли не было о том, что он не вернется.

II

Представительство нашего отечества по-прежнему рассматривает себя как осажденную врагами крепость. С вами разговаривают через черное стекло, и русская речь отнюдь не облегчает общения. Беседа напоминает допрос. Чтобы попасть к начальству, требуется разрешение, на основании которого выписывают пропуск. Мрачная личность обхлопывает вас, надеясь найти оружие.

Все же кое-каким начаткам цивилизации они научились. Мне даже предложили сесть. Человек за столом был одет в костюм цвета вишневого компота, из кармашка торчал платочек. Я предъявил ходатайство Института славистики и письмо от ПЕН-клуба.

«Да, но мы-то тут при чем?»

«Если не ошибаюсь, — сказал я, поспешно пряча в карман всю эту липу, — для оформления визы требуется вызов от учреждения, которое приглашает».

«Либо от родственников».

«У него нет родственников. Приглашение могло быть только от какой-нибудь редакции или издательства».

«Так в чем дело?»

«Я и говорю. Хотелось бы выяснить. К кому он поехал?»

«Послушайте, — сказал консул, — мне не совсем понятно. Если вы потеряли связь с человеком, напишите в Москву».

«Кому?»

«Это уж ваше дело».

Наступила пауза; видя, что я не собираюсь уходить, он спросил:

«Но ведь он российский гражданин, зачем ему приглашение?»

«Он эмигрант», — сказал я.

«Ага. Ах вот оно что! Так бы сразу и сказали!»

Человек поглядел на меня, прищурился одним глазом, точно прицелился. Стоит ли говорить о том, что я отправился в эту контору не без внутреннего сопротивления и даже трепета; вот что значит быть «бывшим».

Вот что значит унести ноги, но оставить на родине свою плененную тень, свое дело с грифом «Христос воскрес». Прошу прощения, так называлась надпись «ХВ» на папках: хранить вечно. Теперь я находился на экспериментальной территории, или как там это у них называется. Переступив порог консульства, я очутился в стане врага. Как и Тучин, я был бесподанным; лишенный родины, я числился ее изменником. И человек в модном костюме, выдававший себя за дипломата — я-то прекрасно знал, кто они такие, — мог сделать со мной

все что угодно, мог предъявить мне самое абсурдное обвинение. Он уже протягивал руку к селектору.

Сиплым голосом я произнес:

«У него здесь жена и мать. Жена думает, что он там сошелся с кем-то... с какой-нибудь женщиной...»

Консул развел руками.

«Ну, знаете. Тогда я вообще не понимаю, что вам от нас нужно!»

Он добавил:

«Может быть, тоска по родине?»

«Может быть,— сказал я, несколько оправившись.— Только на Тучина это как-то мало похоже. В том-то и дело. Он уехал, не оставив никаких распоряжений. От него нет никаких вестей. Мог хотя бы позвонить! Мы, его друзья, очень обеспокоены. («Какие друзья?» — подумал я.) Очень вас прошу. Поручите вашим сотрудникам проверить, обращался ли такой-то за визой и по чьему приглашению. Если не обращался, я свяжусь с полицией».

Я был почти уверен, что он ответит: вот и прекрасно, пусть вашим другом займется баварская полиция. А мы займемся вами. Вместо этого он окинул меня еще раз пристальным взором, вздохнул и, нажав на клавишу разговорного аппарата, произнес несколько слов. Мне было велено позвонить через две недели, что я и сделал.

III

Один мой приятель утверждает, что литература относится к опасным для жизни профессиям; он считает, что писателям, как на вредном производстве, нужно бесплатно выдавать молоко, а поэтам даже двойную порцию. Мало кому из пишущей братии, по его мнению, удается дожить до старости — во всяком случае, в России. Сам он — автор нескольких дюжиновых романов и в свои шестьдесят восемь лет отличается завидным здоровьем.

Тем не менее исследователю надлежит оперировать точными данными. Изучая этот вопрос, я имел случай убедиться в правоте моего друга. Правда, одновременно оказалось, что у представителей других профессий — как, впрочем, и у лиц без определенных занятий, — ничуть не меньше шансов заболеть раком, попасть по пьянке под трамвай, наткнуться на нож бандита или быть схваченным тайной полицией.

Просто все дело в том, что ремесло сочинителя у нас всегда было окружено неким нимбом. Тем ужасней уйти в небытие, ни у кого не вызвав сожалений!

Вообразите человека, который, забыв обо всем на свете, как проклятый, как потерянный, один в четырех стенах, корпит над своим опусом, шевелит губами, созерцает пустоту, давит в пепельнице окурки за окурком и выстукивает букву за буквой. И так изо дня в день, десять лет, двадцать лет. А потом умирает. И что же? Его рукописи, перевязанные бечевкой, лежат вместе с кипами старых газет у подъезда в ожидании сборщиков утильсырья, и ветер листает его прозу.

Был ли Константин Тучин, беллетрист и самостоятельный философ, пытавшийся разгадать в своих никому не нужных, никого не интересовавших сочинениях загадку любви и смерти, был ли он незамеченным гением? Или одним из этих маньяков, которых ничто не разубедит в том, что лишь зависть коллег мешаает им прославиться? Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужны были тексты. Но где они?.. Единственный раз в русской библиотеке, основанной изгнанниками второго призыва, был устроен авторский вечер, слушателей собралось кот наплакал. Что читал Тучин? Заведующая библиотекой сменилась. Жена не могла, а может, и не хотела сообщить мне что-либо о судьбе тучинского архива; чего доброго, и в самом деле выкинула с досады весь этот бумажный сор.

Я считаю своим долгом упомянуть о том, что мне все же удалось отыскать. Заранее извиняюсь за некоторую смелость моего воображения. Бесспорно, исследователь должен придерживаться фактов. Но кто же откажет себе в удовольствии строить гипотезы? Мне повезло, я откопал старый эмигрантский

журнал, один из тех, что именуются братскими могилами. Когда-то Тучин с волнением перелистывал эти страницы: как-никак это была его первая (и последняя) публикация. Цикл рассказов, объединенных общими персонажами и до некоторой степени общим сюжетом.

Действие происходило в наши дни, и сюжет был, надо сказать, самый тривиальный: кто-то кого-то убил. Но с первой же страницы завертелось, затеялось и стало расти, как ком, нечто неудобопонятное. Читая эту прозу — без абзацев, без диалогов, — я испытывал головокружение. Автор не мог прийти к окончательному решению. Казалось, он прикидывал, какие возможности может заключать в себе самая примитивная фабула, и примерял одну версию за другой. Классический полицейский роман предполагает однозначный ответ. Другими словами, он основан на вере в истину. Единственную, окончательную, неопровержимую истину. А тут вам словно старались внушить, что ответа не существует. Персонажи могут вести себя так, могут и по-другому. Одно и то же происшествие может выглядеть по-разному, любая оценка — лишь одна из возможных, ибо действительность представляет собой ассортимент вероятностей. Скользящее светлое пятно в темном поле возможностей — вот что такое пресловутая действительность.

Я подумал, что неуловимая истина жизни, за которой гоняется писатель, не может быть не чем иным, как совокупностью всех версий. Всех! Мне стало понятно, почему с тех пор Тучин ничего не публиковал. Пятнадцать лет он просидел в своей комнатенке, в чужой стране, а каков результат? Фрагменты, пробы, робкие вылазки из крепости наивного реализма в зыбкий вероятностный мир. В некотором роде писание в разные стороны. Повторяю: таковы были мои догадки. Я пошел дальше, я подумал, что Тучин работал над большой вещью; быть может, он только над ней и работал. Быть может — такое предположение не казалось мне неправдоподобным, — это был единственный, огромный и обреченный остаться неоконченным труд его жизни.

IV

«Что значит пропал? Сегодня пропал, завтра появился. Утром ушел, вечером пришел. Знаете, сколько человек за день пропадает в городе? Один сбежал от жены к любовнице. У другого фирма прогорела. Третий решил устроить каникулы на Канарских островах. Если мы так будем за каждым гоняться...»

«Нет у него никакой фирмы. Ни о каких Канарских островах не может быть и речи».

«Как, вы сказали, его фамилия?»

«Тучин. Т-У-Ч-И-Н. Теодор, Ульрих, Тина, Зигфрид, Цезарь, Хильда, Инге, Николаус».

«Возраст? Был чем-нибудь болен? Психически? И давно ушел? Что же вы так поздно спохватились? Родственники есть?»

«Есть жена. Мать — инвалид».

«Почему она сама не пришла?»

«Понимаете, его жена думает, что...»

«Ага, я же вам сказал! Знаете, сколько мужиков каждый день убегает к любовницам? Если мы так будем за каждым...»

«Да нет у него никакой любовницы! Просто он отправился в Россию, а на самом деле...»

«Ах вот оно что; так бы и сказали. Он немец?»

«Нет, русский».

«Я спрашиваю: является ли он немецким подданным?»

«Он эмигрант. Без гражданства. Имеет разрешение на жительство».

«Все ясно. Потянуло домой, что ж тут удивительного! Только мы-то тут при чем?»

«Видите ли, я был в консульстве...»

«Вот и отлично. Поезжайте сами, там его и найдете».

«Простите?»

«Я говорю, сами поезжайте в Россию. Там и разыщете ^евашего друга».

«Да, но вы не дослушали. Я навел справки в консульстве, и оказалось, что Тучин никакой визы не получал!»

«Не получал. Гм. А в американском консульстве вы были?»

«При чем тут американское консульство?»

«Может, в Америку поехал. Ладно, пишите заявление».

«Позвольте спросить: что вы собираетесь предпринять?»

Вахмистр пожал плечами.

«Пошлем наряд по месту жительства. Запросим больницы и приемники для бродяг. Объявим розыск через Einsatzzentrale. Заполняйте бланк».

V

Некоторое время спустя произошло одно событие. Жена Тучина позвонила: надо поговорить.

Снова унылая лестница, лысая старуха перед телевизором; я вручил хозяйке цветы и бутылку «Божоле».

«Вы уверены, что это был он?»

Она пожалала плечами.

«Он шел вам навстречу?»

Нет, она его видела со спины. Вернее, их: Тучин был не один. В левой руке он нес под мышкой портфель, она узнала бы его по этому старому, с оборванной ручкой портфелю, даже если бы сомневалась, что это он. Правой поддерживал даму выше его ростом. Женщина была в длинном пальто, отороченном снизу дешевым мехом.

Отодвинули рюмки, тарелку с ломтиками сыра, я расстелил план города.

«Не делайте этого, прошу вас».

«Но надо же хотя бы убедиться!»

«Он жив, здоров, слава Богу. Пусть живет своей жизнью».

«Разве вас не интересует, что с ним?»

«Не интересует,— сказала она.— Да и где вы его отыщете?»

Резонный вопрос. По ее словам, переулок, куда поспешно свернул Тучин со своей подругой (почему поспешно? Увидел супругу?) был перегорожен строительным забором. Значит, подумал я, она все-таки пошла следом за ними. «А дальше?» «Что — дальше?» — спросила она. «Куда они делись, вошли в подъезд?» Она покачала головой, нет там никаких подъездов. Вынырнув из небытия, Тучин — если это был он — снова пропал, точно провалился сквозь землю.

Так я оказался в малоподходящей для меня роли частного детектива. Как Герману всюду мерещились три карты, так и мне каждый мужчина невысокого роста с толстым портфелем казался тем, кого я искал: он листал книжки на лотке перед книжной лавкой, я делал вид, что интересуюсь витриной; он заходил в пивную, и я туда же, садился в сторонке и вынимал из кармана фотокарточку. Я искал человека, чей взгляд был всегда устремлен в пустоту, другими словами, внутрь себя. Я надеялся встретить беглого мужа там, где его обнаружила брошенная жена; возможно, он проживал где-то поблизости. Хорошо еще, что моя работа оставляет мне много свободного времени. (Я забыл представиться. Я лектор издательства, где все еще не утратили интереса к русским авторам.)

Было совершенно ясно, что ничего из этой затеи не выйдет. Попробуйте найти человека в большом городе — не говоря уже о том, что жена могла ошибиться. Но я ничего не мог с собой поделаться: Тучин, как призрак, манил меня издалека.

Город способен раздвигать пространство. Вы все знаете Альтхаузен, в этом районе и я жил одно время. Взгляните на план города, найдите треугольник расходящихся улиц к северу от Площади королевы Луизы, по которому я водил пальцем, слушая объяснения жены Тучина; кажется, заблудиться здесь невозможно. Но это только так кажется. Поезжайте туда, отыщите улочку или, верней, закоулок, перегороженный строительным забором. Раздвиньте доски.

Прежде всего: никакой стройки за забором не оказалось. Возможно, весь квартал предназначался на снос. Я пролез сквозь дыру в заборе и очутился в лабиринте, о котором даже не подозревал. Воистину город удесятерят пространство, и там, где еще двести пятьдесят лет назад пастух лежал на склоне холма, там каким-то образом поместились, сгрудились все эти дома, дворы, переулки, чахлые садики, пристройки, брандмауэры и тупики. Там сплелись тысячи судеб. В мансардах и полуподвалах гнездится любовь, клокочет ревность, тлеет вожделение; за темными окнами прячется одиночество, играет музыка, пишутся романы, затеваются интриги, храпят пьяницы и ждут смерти старухи.

Вот о чем стоило бы написать: о гипнозе старых кварталов, о чувстве зыбкой, ненадежной действительности, которое охватывает вас в этих трущобах. Две недели, с утра до темноты, я дежурил на углу проклятого безымянного переулка. Случалось ли вам убедить себя в том, что вера сдвинет горы и надежда в конце концов будет вознаграждена? И вот он появился. Он ли? Низкорослый неряшливый человек с разбухшим портфелем мелькнул и пропал за забором. Отодвинув доску, я успел заметить, что он направляется к ближайшей подворотне; несколько мгновений спустя его шляпа мелькала позади мусорных бочек. После чего, о, проклятье, я потерял его из виду.

Он не мог уйти далеко; если бы он пересек двор, я бы его заметил. Значит, он остался во дворе и вошел в один из четырех подъездов, которые даже нельзя было назвать подъездами: скорее то, что в России называлось черным ходом. Туда он и юркнул; в который из четырех? Внутри было холодно, пахло плесенью. Я услышал шаги. Тучин — если это был он — медленно поднимался по лестнице. В скудно освещенном пролете, за прутьями перил я видел его руку, держащую под мышкой портфель, и обтрепанные отвороты брюк. Дойдя до последнего этажа, он остановился. Вероятно, доставал ключ.

VI

Очередная моя гипотеза состояла в следующем: Тучин перебрался в другую часть города в надежде довести до конца свой огромный роман, сбежал от жены, устав от ее упреков, симулировал отъезд в Россию, чтобы никто его не искал. Что касается дамы, с которой он будто бы шел под ручку, то этот пункт, на мой взгляд, был несущественным; женщина могла быть случайной знакомой; предположение об интрижке не вязалось с моим представлением о Тучине.

Итак, я дал себе слово продолжить розыск, ибо в тот раз, как вы догадываетесь, у меня ничего не вышло: добравшись до верхней площадки с единственной находившейся там дверью, за которой, казалось, никто не жил — ни кнопки звонка, ни таблички с именем, — я долго стучался, прислушивался и не мог уловить ни единого звука. Что бы это могло значить? Заперся ли он с твердым намерением никого не пускать или сбежал через какой-нибудь потайной ход? Я уже ничему не удивлялся.

Вечером я снова принялся за его рассказы; ничего другого я больше не мог читать, и ничего другого, кроме старого эмигрантского журнала, у меня не было. Мне было ясно, почему Тучин, даже если бы сейчас в России нашлись охотники опубликовать его прозу, был обречен на неуспех: события последних лет прошли мимо него, вдобавок, как уже сказано, его стиль предъявлял немалые требования к читателю. Длинные, ветвящиеся периоды вновь погрузили меня в состояние, близкое к наркотическому опьянению, — право, я не могу выразиться иначе. И опять это впечатление зыбкой, ненадежной реальности. История, сама по себе несложная, прокручивалась на разные лады, и оставалось только гадать, были ли это варианты одного и того же замысла или замысел состоял в том, чтобы утопить истину в трясине гипотез. На другой день я отправился в Альтхаузен.

Кто-то прибил доски, забор оказался непроходим. Пришлось идти вокруг. В результате я окончательно заблудился. Все дворы были на одно лицо. Не у кого было спросить, да я и сам не знал, какой номер дома мне нужен. Кажется, в этих дебрях вообще не существовало нумерации.

Оказалось (как это часто бывает), что я кружил вокруг одного места. Из черного хода навстречу мне вышла женщина. Я был уверен, что это тот же самый подъезд. Я уже сделал несколько шагов по ступенькам, как вдруг меня осенило: пальто! Длинное пальто, отороченное мехом. Я выскочил во двор. Она шагала к воротам.

Тут я остановился. Громадными прыжками помчался по лестнице, через несколько мгновений был уже наверху и, задыхаясь, трижды медленно и отчетливо ударил костяшками пальцев в дверь. Никакого ответа; я слышал только свое тяжелое дыхание. Стукнул кулаком. Гробовая тишина стояла во всем доме, мне почудился слабый звук, похожий на клокотание жидкости, за дверью как будто шаркнули шаги. Конечно, это был обманный маневр, очередная уловка неуловимого Тучина, он знал, что за ним следят, и умел скрываться, все мы в свое время прошли эту школу! Я поглядел вниз через перила — никого нет — и извлек из кармана общеизвестный инструмент. Операция не потребовала усилий: нажав, я легко продавил иссохшее дерево. Хрустнул старый замок, дверь открылась.

Там был темный коридор и дверь в комнату. Как я и предполагал, это был рабочий кабинет писателя. Грубый стол, заваленный манускриптами, начатый лист вставлен в машинку. Клокотала вода в кофеварке. Хозяин лежал на полу.

VII

Можно не сомневаться, что обер-инспектор Деррик, известный и уважаемый в нашем городе криминалист, отыщет истину — хотя бы потому, что верит в отличие от покойного Тучина в существование единой и единственной истины. Кажется, в преступлении подозревается жена писателя. Мотивы убийства налицо: ревность, разочарование, месть за исковерканную жизнь.

На допросе, которому ваш слуга был подвергнут в качестве свидетеля, первого, кто обнаружил труп, было, естественно, обращено сугубое внимание на особу, которая встретила меня в подъезде. Не потому ли она так стремительно прошла мимо, что узнала меня? Мне показали старую фотографию, одну из тех, которые я видел во время моего первого визита на квартиру в Новом Перлахе: Тучин с женой, на ней длинное расклешенное и обшито мехом пальто. Такие одеяния носили лет двадцать тому назад. Я возразил, что если бы убийцей была жена Тучина, она не говорила бы мне о том, что на женщине, которую она видела на улице с Тучиным, было такое же пальто. Не знаю, нашли ли они убедительным этот аргумент; может, как раз наоборот. Впрочем, я просто не успел как следует разглядеть незнакомку.

Вернее, я разглядел ее. Скажу больше: я ее узнал. К сожалению, я не могу объяснить инспектору то, чему научился у Тучина: что истина — это лишь совокупность версий. Мою версию ни одна полиция в мире, конечно, не примет всерьез.

Рукописи Тучина — все, что было обнаружено в комнате, его неоконченный и, добавлю, обреченный остаться неоконченным труд, — конфискованы полицией. Поэтому я не могу ссылаться на тексты, которые подтвердили бы мою точку зрения. Как историк литературы я понимаю роковую власть, какую обретает мир романа над жизнью сочинителя. Эмма — это я, сказал Флобер, это хроника моей души, полное собрание моих надежд, иллюзий и разочарований. Ему бы следовало добавить, что отныне он сам в плену у тех, кого он создал.

Константин Тучин — запомните это имя! Я решаюсь заключить мой отчет неожиданным выводом. Тот, чья жизнь была очевидным поражением, ушел из нее победителем. Он достиг пределов того, о чем может мечтать художник, он вдохнул жизнь в своих героев и героинь до такой степени, что они вмещались в его собственную жизнь. Вот почему бесполезно искать незнакомку за пределами того мира, откуда она пришла. Сделав свое дело, она вернулась в призрачный мир слов. Тучина умертвила его подруга — но не та, которую я посетил, а та, которая жила в его книге.

Повторяю, это всего лишь моя версия.

Гиббоны и облака

Те, кому приходилось ездить в пригородных поездах Казанской железной дороги, знают, что тут можно смело сэкономить на билете: на всем участке вплоть до Голутвина никто отродясь не видел контролеров. Тем не менее однажды вечером, в десятом часу, в электричке на пути в город был задержан гражданин неизвестного государства.

Произошло это так: в ответ на вопрос контролера пассажир, улыбаясь, помотал головой и развел руками. Подошел второй контролер, женщина. Поезд неся мимо тусклых полустанков, сквозь ночные поля и заросли, в которых отражались лампы вагона, пустые скамьи и лица людей в форменных фуражках, контролер показывал пассажиру сложные книжечкой ладони, очевидно, требовал предъявить документы. Пассажир весело закивал и добыл из недр просторного макинтоша грамоту крупного формата в дерматиновой обложке с гербом и короной. Контролер развернул диковинный паспорт, как ребенок раскрывает книжку с картинками. Женщина заглядывала через плечо. Контролер попытался засунуть паспорт в карман служебной сумки. Поезд затормозил, и все трое вышли на платформу.

Иностранный гражданин с достоинством прошествовал к зданию станции, где был встречен местными милиционером и начальником. Старшина милиции на всякий случай обхлопал гражданина, нет ли оружия, и остался с задержанным в служебной комнате, прочие должностные лица удалились в кабинет начальника. Уборщица побежала за картой. Начальник станции, знавший латинский алфавит, хмурил лоб и чесал в затылке, листал странный документ, в котором не было ни штампа прописки, ни иных каких-либо помет, удостоверяющих законное пребывание гражданина в нашей стране. С некоторым остолбением все присутствующие разглядывали фотографию владельца, который был представлен во весь рост, в лазеровом мундире с золотым шитьем и орденами, на фоне пальм.

Начальник станции расчистил стол от бумаг, и компания принялась искать на карте мира Зеданг. Позвонили по линии в Голутвин, оттуда последовали неопределенные указания, видимо, там тоже еще не слыхали о новом государстве, освободившемся от ига колониализма. Их теперь много. То ли в Африке, то ли в Азии. Кто-то вспомнил, было в газетах: советско-zedангские переговоры. Кто-то заикнулся, что не худо бы поставить в известность особое учреждение. Предложение повисло в воздухе. С одной стороны, бдительность необходима. С другой стороны, кому охота связываться с органами. Пускай уж там, выше, сами разбираются; наше дело, сказал начальник станции, доложить.

Гражданин мирно дремал в дежурке. Возникла счастливая мысль запросить, невзирая на поздний час, посольство. По указанию начальника милиционер ввел иностранца в кабинет. Удачно объяснившись на пальцах, показывая на себя, на паспорт, на иностранца, начальник протянул ему телефонную трубку. Тем временем на подносе был внесен скромный ужин, гость галантно раскланялся перед уборщицей, с очаровательной улыбкой поднял стакан с газированной водой за дружбу народов, отпил глоток и стал крутить телефонный диск.

Последующие полтора или два часа гражданин Королевства Зеданг провел на кушетке в комнате дежурного по станции. Милиционер посапывал в углу. Начальник сидел в своем кабинете, положив голову на стол, и ему представлялось, что он расхаживает по залитому светом вокзалу, на нем белый парадный китель, красная фуражка с крабом и штаны с серебряным кантом. Это был его вокзал, его настоящая жизнь, а тухлая станция ему всего лишь приснилась. Задрезжал телефон, и голос с иностранным акцентом сообщил, что ответственные лица находятся в пути.

Зеленая луна сияла на мачте светофора. Тусклый свет побежал по рельсам, посыпалось мерное постукивание, из-за дальнего поворота выкатились огни дрезины. Начальник стоял на платформе. Было ли это продолжением его сна? Прибыло только одно ответственное лицо, но зато какое! Военный аташе собственной персоной, с бахромчатыми эполетами, шнурами и лампасами. Он напоминал швейцара в каком-нибудь шикарном отеле. Ко всеобщей радос-

ти оказалось, что атташе превосходно владеет русским языком. Он похлопал начальника станции по плечу. Тем временем его соотечественник пробудился и сладко зевал, сидя на кушетке.

Дрезина, как только высокий гость сошел на платформу, сама собой тронулась и покатила дальше в направлении Голутвина; автоблокировка переключила зеленый сигнал на красный.

В блеске и великолепии, в грибообразном раззолоченном картузе высокий гость проследовал в кабинет. Начальник, придя в себя, мигнул кому надо; явился трехзвездный армянский коньяк, лимон, нарезанный ломтиками, явилась селедочка, проплыла мимо почтительно расступившегося персонала разодетая в пух и прах, с наколкой на жидких волосах уборщица Аглаида или Степанида, история не сохранила ее точного имени, — с огромной сковородой, на которой журчала глазунья с салом. Под звон стаканов состоялся доверительный разговор и обмен тостами в честь наших народов и их вождей: Генерального секретаря КПСС, Его Величества революционного короля Али-Баба-Зеданга Мудрого и Его Высочества революционного наследного принца Али-Баба-Мухамеда-Зеданга, Еще Более Мудрого. Как это, еще более? А вот так: каждый следующий глава государства бывает мудрей предыдущего; сын наследного принца и внук короля носит титул Сверхмудрого, а когда появится правнук, то он будет Еще Более Сверхмудрый. «Но где же мой компатриот?» — вскричал военный атташе. Начальник рассылался в извинениях, гражданин, задержанный в поезде, вошел в кабинет. Пир продолжался втроем и оставил по себе самые лучшие воспоминания.

Зевая и содрогаясь от утреннего морозца, приятели вышли на перрон Казанского вокзала, причем атташе был укрыт макинтошем, дабы не возбуждать нездорового любопытства у рабочего люда. Некоторое время спустя оба ехали в мотающейся коробке лифта в старом доме на Преображенке. Гражданин Королевства Зеданг мурлыкал государственный гимн. Визг каната, тащившего кабину словно бадю из колодца, будил жильцов. Добрались до последнего этажа. Подданный Его Величества отомкнул тремя ключами обшарпанную парадную дверь, и они очутились во тьме коммунальной квартиры. Впустив друга в комнату, похожую на келью, хозяин закрыл дверь на защелку, задвинул задвижку и — уф! — плюхнулся на диван.

Мундир висел на плечиках. В оловянном свете будней было видно, что он не нов. На старом костяном роге — возможно, это был рог единорога — раскачивался грибовидный картуз эпохи колониальных завоеваний. Штаны с лампасами аккуратно сложены и упрятаны в сундук. «Пора на службу», — зевая, проговорил экс-атташе. «Успеется», — возразил хозяин. «А ты когда-нибудь доиграешься», — сказал атташе. — Думаешь, они не догадались?» Хозяин пожал плечами. «Зачем им догадываться?» Он был прав: в самом деле, зачем? И еще много лет спустя начальник станции рассказывал о ночном прибытии дрезины с роскошным гостем.

В углу на тумбочке помещалась спиртовка с химической колбой, в которой пузырился желудевый кофе. Штабеля альбомов в массивных переплетах над продавленным диванным ложем грозили обрушиться вместе с полкой. На черном от городской копоти подоконнике стоял аппарат для рассматривания водяных знаков. Филателист, с лупой в руках, сидел на диване в дальневосточном халате и в короне, она была выполнена в точном соответствии с изображениями на марках и обошлась ему в немалую сумму. В своей ненасытности благородная страсть не знает границ. Филателист был нищим, как всякий обладатель сокровищ.

«Ну, я пошел», — пробормотал атташе королевского посольства, и хозяин запер за ним дверь.

Он рассматривал в лупу три свежеприобретенных экземпляра серии «Гиббоны и облака», ради них было предпринято путешествие в Голутвин, к собрату, доживавшему там свои дни. Теперь у филателиста были все двенадцать марок — полная серия, подобие двенадцатитоновой гаммы или радуги экзотических широт. Животные, которым она была посвящена, принадлежали к виду, не известному за пределами сказочных нагорий Зеданга.

Здесь будет нелишним заметить, что коллекционирование фальсификатов, будь то разного рода мнимые грамоты, монеты, регалии военной доблести или знаки почтовой оплаты, — занятие столь же легитимное, как и собирание подлинных реликвий. В некотором высоком смысле поддельный раритет равноправен подлиннику. Более того, существуют фальшивки, ставшие классическими, признанные шедевры подлога, рядом с которыми оригинал выглядит жалкой имитацией. Вышедшая из рук высокоодаренного мастера, подделка оказывается редкостней и ценней оригинала; она сама превращается в оригинал и, в свою очередь, может быть подделана. Но свое высшее достоинство искусство подделывания обретает в идее фальсифицирования несуществующих подлинников.

Большая, во вся стену, карта Исламского Королевства Зеданг, висевшая в келье филателиста, свидетельствовала о том, что эпоха великих географических открытий не закончилась. Утверждают, что страна, раскинувшаяся в горах Юго-Восточной Азии и на островах теплых морей, где не существует времени, где царит вечное лето, где всего вдоволь, возникла в полуподпольной парижской типографии; изделия имели успех, за короткое время цена их удвоилась и утроилась. Уже в начале века известный каталог Гизевюса воспроизвел их в разделе «Марки и штемпеля несуществующих государств». Но и это известие со временем превратилось в легенду или, лучше сказать, стало малозначительным эпизодом уходящей в седую древность истории Зеданга. Тот, кто там побывал, мог бы кое-что рассказать о его народах и языках, о караванах, башнях, о блеске его властителей, соперничестве династий и посрамившей европейскую кулинарию кухне.

Магия крошечного цветного квадратика завладела собирателем, словно он выглянул из окошка в зубчатой раме и очутился среди обросших голубой шерстью животных, на разогретой солнцем каменистой тропе.

Оэ

Посвящается Хорхе Луису Борхесу

Чтобы предупредить возможные кривотолки, сразу скажу, что моя специальность — художественные переводы. Существует старое правило: перевод делается с чужого языка на родной, а не наоборот. Я представляю собой счастливое исключение. Владея языком оэ в совершенстве, я перевожу и с оэ на русский, и с русского на оэ. Как литератор я существую в двух ипостасях и, например, данный текст пишу сразу на обоих языках.

Прежде чем говорить о богатейшей литературе оэ, напомним, что этот язык распространен на островах небольшого тихоокеанского архипелага, известного под разными именами, что отражает историю его освоения: острова были открыты несколько раз мореплавателями, которые подплывали к ним с разных сторон. Поэтому на старых картах можно видеть не один, а несколько похожих друг на друга архипелагов с разными названиями. Как ни странно, это забавное недоразумение (напоминающее случай с Джомолунгмой, которую принимали за две разных вершины) до сих пор нельзя считать вполне проясненным; примечательная деталь в причудливой истории островов.

Смешению рас и совмещению разных эпох страна обязана своей уникальной культурой, из которой я — в меру моей компетенции — хочу выделить словесность; необычайная трудность языка (я говорю об общенациональном литературном языке, который в свою очередь является продуктом конвергенции и противоборства весьма разнородных диалектов) не менее чем географическая отдаленность, ураганы и другие природные препятствия, затрудняющие регулярное сообщение с островами, способствовали тому, что лишь очень узкий круг специалистов имел возможность проникнуть к родникам этой культуры. Да, собственно, о каком круге идет речь? Два-три филолога в Европе, один бывший профессор университета в городке Миддлтаун в Коннектикуте и один новозеландский студент, энтузиаст-самоучка, недавно приславший мне письмо на оэ, — само собой, со множеством ошибок, — вот и весь наличный состав зна-

токов. Мне неизвестно ни одной кафедры, ни одного научного журнала по данной специальности. При том, что литература языка оэ, по моему мнению, могла бы занять место в ряду ведущих литератур мира.

Очевидны по меньшей мере две причины такого положения вещей. Во-первых, природа самого языка. Мало сказать, что он труден для усвоения. Язык оэ лишь условно может быть причислен к западноокеанической семье. На самом деле он не укладывается ни в одну из принятых классификаций и ставит в тупик даже очень искушенного лингвиста, вынуждая его отказаться от многих привычных категорий. Учение о словообразовании, система частей речи, синтаксис, фразеология — все, что мы сознательно или бессознательно применяем при изучении иностранных языков, что кажется нам таким же естественным и необходимым, как функционирование нашего организма, — оказывается бесполезным, когда имеешь дело с языком островов. По преданию, аборигенов обучила языку райская птица Оэ. Некоторые особенности языка оэ заставляют вспомнить эту легенду. Достаточно сказать, что в нем отсутствует различение слов и предложений (черта, отдаленно напоминающая языки аборигенов Мексики), иначе говоря, самое понятие слова становится проблематичным. Морфологии в обычном смысле этого термина не существует, а семантика в решающей мере зависит от произношения. Главной чертой фонетики оэ является то, что в зачаточной форме присуще некоторым дальневосточным языкам, — музыкальное ударение. Как известно, оно основано на различении слогов не по силе звучания, а по высоте тона на музыкальной шкале.

Поэтому разговорная речь неотличима от пения, а так как мелодия определяет семантику (от высоты тона зависит смысл того, что произносят или, вернее, поют), то это привело к тому, что словесная и музыкальная культура оэ образовала единое целое. Среди живых носителей языка оэ невозможно встретить человека, не обладающего абсолютным слухом, ибо в противном случае он просто не мог бы объясняться с соотечественниками. Представителю этой культуры кажется странным, что стихотворение может быть переложено на музыку и притом разными композиторами: для него это означало бы радикальное изменение смысла стихов. Разные музыкальные версии были бы просто разными текстами. Литературные тексты изначально представляют собой вокальные партитуры. Ясно, что для того, чтобы понимать такой текст, требуется чрезвычайно изощренная музыкальная память.

Встает вопрос о письме, и тут иностранца подстерегает еще одна ловушка. Буквенное письмо и самый короткий в мире алфавит (короче итальянского), казалось бы, должны ободрить новичка, ожидающего встречи с какой-нибудь непостижимой иероглифической письменностью. Ан нет. Музыкально-вербальная семантика языка оэ обходится минимальным набором знаков, задача которых не столько зафиксировать звучащую речь, сколько расставить ориентиры: все остальное, опускаемое на письме, нужно запоминать!

Таковы в двух словах трудности языка. Другая причина, затрудняющая знакомство с литературой оэ в оригинале, состоит в необычном ее характере. Чтобы не утомлять читателя подробностями, скажу коротко, что ее отличительная черта — универсализм. Мы в России до некоторой степени знакомы с подобной традицией, ведь и у нас художественная словесность долгое время притягала на воспитательную, просветительную, религиозную, политическую — словом, внехудожественную роль. Однако это не идет ни в какое сравнение с литературой языка и народа оэ, которая представляет собой не только слияние музыки и слова, о чем говорилось выше, но и синтез всех областей духовной культуры. Даже рядовой роман на языке оэ может оказаться в одно и то же время повествованием о вымышленных героях, травестией мифа, литературоведческим исследованием, богословским трактатом и эссе, в котором все наличное содержание подвергается скептическому пересмотру. Заметим, что разложить такую прозу на ее компоненты невозможно: нельзя отграничить свободный полет фантазии от трезвого анализа, мифологию от дискурса. Язык и стиль художественной прозы релятивирован метаязыком науки, которая, в свою очередь, служит материалом для искусства и оборачивается художественной игрой. Таков удивительный парадокс этой литературы: на вершине своего

развития, разочарованная в самой себе, она возвращается к первоизданной нерасчлененности.

Долголетнее сотрудничество переводчика с издательством завершается выходом в свет лучших образцов литературы оэ в десяти томах. Перед вами первый том. Биографические сведения об авторах и характеристику отдельных произведений читатель найдет в комментариях. Позволю себе прибавить к ним несколько замечаний о моей работе. Уже из сказанного видно, с какими невероятными трудностями сталкивается литературный переводчик с языка оэ.

Отечественная школа перевода знает два направления: так называемый буквализм и направление, которое именует себя творческим. Очевидно, что идеал перевода, максимально близкого к оригиналу, в нашем случае достижим еще меньше, чем в любом другом. Остается уточнить пределы второго метода. Но где найти критерий необходимого и дозволенного, как провести границу между переложением и подражанием, подражанием и свободной вариацией на заданную тему? Уважение к оригиналу есть альфа и омега художественного перевода, но опыт раздумий над текстами оэ внушает нечто большее — почти религиозный пиетет перед их неуловимостью, изумление перед тайной этого языка, который с равным правом можно считать и дословесным, и послесловесным и который следовало бы назвать праязыком, если бы одновременно, не утратив свое архаическое величие, он не достиг столь высокого совершенства. Сравнение с Эверестом не зря сорвалось у меня с языка: литература оэ высится перед нами, слово горная крутизна с невидимой вершиной, исчезнувшей в облаках. Кто в состоянии рассказать, спустившись с этих высот, что он там видел и слышал? Так Моисей, сойдя с Синая, предъявил скрижали, но никто не знает, на каком языке говорил с ним Бог.

Итак, мне не оставалось ничего другого, как отказаться и от буквального перевода, и от подражания. В меру моих сил я выбрал другой путь. Переводчик с обычных языков имеет дело с готовым текстом. Он встречает автора, так сказать, на финише беговой дорожки. Я же, насколько мне позволяет мое скромное дарование, возвращаюсь к истокам, пытаюсь восстановить самый процесс творчества. Как и всякий переводчик, я постарался поставить себя на место автора, но не того, кто с чувством заслуженной гордости, усталый и удовлетворенный, вручает читателю законченный труд, и не того, кто правит, и перечеркивает, и дополняет рукопись. Еще до того, как он стал автором, я встретился с ним. Усилим воли я переселился в душу творца в ту минуту, когда она почувствовала себя беременной новым, еще бессловесным замыслом. Вместе с художником, которого я никогда не видел, но который слился со мною и сделался мною самим, я пережил его самооплодотворение и его материнство — вплоть до родовых мук, до блаженного часа, когда дитя явилось на свет. И тогда я понял, что великий оригинал остался в своем довременном, дословесном пространстве и никакого другого воссоздателя, кроме меня, не было и нет. Ибо всякое искусство есть воплощение невидимого, и всякая литература — перевод с непереводаемого. Мне незачем добавлять, что язык, о котором я попытался рассказать в этом кратком предисловии, есть скорее догадка о языке, ибо, строго говоря, языка оэ не существует.

Окно, диван, книжная полка

Трудно поверить, что неловкое движение, минутная потеря равновесия могут обернуться такой неприятностью, но еще труднее поверить в то, что тебе так много лет. Ведь еще живо в памяти время, когда сорокалетние старики внушали ему жалость. Что им еще оставалось, как не ждать смерти, а у него в запасе была целая жизнь. И вот он просыпается, потрясенный чудовищной мыслью: жить осталось в лучшем случае пять—восемь лет. Десять — уже неправдоподобный срок. В таком-то году будет то-то. А его уже не будет. Что такое десятилетие? Что было десять лет назад, что произошло в прошлом году, в прошлом месяце? И ему кажется, что месяц тянулся долго, каждый день тянется бесконечно, зато десять лет тому назад — словно позавчера.

Чувство времени превратилось в слух. Человек с белой ногой, торчащей из-под пледа, слышит, как поскрипывают на снегу валенки, как палка ощупывает опасную дорогу, — это скрипят секунды, тащится дряхлое время. Ему чудится слабое доканье подков, скрипят колеса, за окном медленно проплывает черный дом на колесах, и на козлах сидит швейцар. Снег покрыл его белой шалью. В комнате могильная тишина. С неожиданным хладнокровием, удивительным для него самого, человек в гипсе думает о том, что невероятное приблизилось: в самом деле, пора в путь. Всем нам кажется, что виноваты не мы, а стечение обстоятельств, погода, приметы, планеты; незачем было выходить из дому, если бы не вылез, то и не поскользнулся бы на обледенелой ступеньке. Но на самом деле это судьба, и ей нужен только повод. Как начальству, которое решило от тебя отделаться и ждет удобной минуты. Судьба караулит за углом. Она предстает перед тобой под маской дурацкой случайности и никогда не показывает своего лица, ибо нет у нее лица; сбросит маску — под ней другая. Может быть, спросил он, это патологический перелом? Может, у него опухоль? Он знал одного такого, еще не старого: танцевал на вечере с девушкой, вдруг нога подвернулась, бац — перелом. Оказалась саркома.

«Перестаньте, — сказал хирург. — Через шесть недель будете сами отплясывать».

Кого еще там черт несет?.. Звонят. Человек с гипсовой ногой глядит на часы. Жена придет в семь. Звонят. Он следит за пульсом секундомера, ему хочется уловить движение минутной стрелки. Невозможно; все равно что поймать момент, когда бодрствование сменяется сном. Все равно что уловить мгновение смерти. Стрелка передвинулась, а как — он и не заметил.

Кто-то взошел на ступеньки, кто-то топчется у парадной двери, может быть, стряхивает снег. Крадетя по коридору. Пустяки, говорит он себе, нет там никого. Шесть недель... надо еще дожить! Будущее, думает он, всегда длиннее прошлого, но когда оно настает, то оказывается, что оно было короче воробьиного носа; что такое шесть недель — полтора месяца; мы всю жизнь пожираем будущее, набиваем утробу памяти и не можем насытиться. Снег идет за окном, а теперь и в комнате. Может ли так быть? Снежинки падают на плед, на книгу, которую он держит на груди, заложив палец между страницами. Кто-то взобрался снаружи, это и был человек, стоявший на крыльце. Дотянуться до костылей, встать и закрыть балкон. Вместо этого он натягивает на себя плед. Ему приходит в голову, что гипс может размокнуть от снега! Должно быть, гость не хотел тревожить его звонком в дверь и перелез с крыльца на балкон.

Он раздумывает над тем, как это может быть: он лежит в комнате, но в то же время комната — это он сам, и густой беззвучный снег падает хлопьями у него в мозгу.

Меркнет день, человек в гипсовом панцире покоится посреди сугробов: с бескровными губами, с заиндевельными ресницами. Где-то в полях замело все дороги, замело окно, на полу, вокруг ножек стола — всюду снег. Он подносит к глазам часы и видит, что прошло всего две или три минуты. Протянув руку с дивана, нащупывает упавшую книгу. Все кончилось, снегопад прекратился. В передней звонок, настойчивый, видимо, звонят уже несколько раз. Кого-то черт несет. Дотянуться до костылей.

«Кто там?»

Она не слышит, думает, что он спит, и роется в сумочке. В гипсовую ногу вмонтирована скоба, наподобие стремени, чтобы можно было понемногу ступать, это даже рекомендуется — давать нагрузку на ногу, но он боится, что кость опять сломается. Он прыгает на костылях, выясняется, что она отперла дверь своим ключом, почему же она не входит?

Человек глядывается в полутьму, там стоит низкорослая нищенка с ребенком: это еще что за новость? Он видит, как блещат ее глаза, шевелятся губы, как ребенок сучит ножками, требуя, чтобы его спустили на пол. Юркнув мимо костылей, прошмыгнув чуть ли не между ногами, малыш вбежал в комнату. Схватил книжку, вскарабкался на диван, раскрыл книгу.

«Разве он умеет читать?»

«Конечно, ведь он твой сын».

«Этого не может быть»,— возразил он. Наступило молчание, оба смотрели то на мальчика, то друг на друга

«Ты бредишь»,— сказал он. Она презрительно усмехнулась. Малыш отшвырнул книжку. Теперь он катался по полу на коньках.

«Шустрый ребенок»,— сказал человек в гипсе.

Мальчик носился по комнате, подобрав лохмотья: раз, раз — налетел на что-то и шлепнулся. Они услышали его плач.

Этого не может быть по разным причинам, подумал он и продолжал вслух:

«Во-первых, прошло столько лет, ребенок должен был вырасти. Не перебивай меня. А во-вторых...— он пожал плечами.— Откуда ты взяла, что он мой?»

«Ты когда-то меня любил,— сказала она.— Ты написал мне письмо».

«Не забывай, что ты была старше меня»,— сказал он.

«Ну и что?» Она вытянула из-за пазухи письмо, измятую бумагу, от которой пахло теплом и потом, пахло ее грудями, и он узнал свой почерк. «Да, но что же это доказывает?» — спросил он

«Ты меня любил. Я-то знаю, что любил, не спал ночами, ходил вокруг моего дома, стоял под деревом, шел дождь. Неужели не помнишь?»

«Не дождь, а снег. Мало ли что! — буркнул он.— Это ни о чем не говорит!»

«По-твоему, любовь не имеет значения?»

«Ты все равно не обращала на меня никакого внимания. Однажды я три часа прождал тебя, а ты прошла мимо и сделала вид, что меня не заметила. Ты меня избегала».

«Это потому, что я была несвободна. У меня был другой. Я не виновата, что он был».

«Ну конечно,— сказал он брезгливо,— а я-то, идиот, считал тебя невинной девочкой».

«Ты бы мог догадаться. Мог заметить, что ты у меня не первый».

«У нас ничего не было!»

«Нет, было. Если я говорю, значит, я знаю. Просто ты был не первый. Он был завучем в нашей школе. Вместе с отцом работали, только папа не вернулся, а он вернулся, без ноги, ходил на протезе, вот как ты сейчас... Вызвал меня как-то раз в свой кабинет, мялся, мялся, потом сказал, что хочет мне заменить отца».

«Ну и что?» — подумал человек на костылях.

«Да ничего. Запер дверь на ключ, сел со мной рядом на диван».

«С протезом?»

«Протез отстегнул».

«Ах ты, дрянь, отвяжись, дрянь! Что тебе от меня нужно?»

«Как это что? Он еще спрашивает! А кто алименты будет платить? Все вы сволочи, вам бы только удовольствие получить. Кобели проклятые».

«Слушай,— проговорил он, дрожа от ненависти,— еще одно слово — и...»

«А чего мне бояться? Мне жить негде! — закричала она.— С ребенком! По вокзалам таскаюсь! По ночлежкам... Это твой ребенок. Твой, не отпирайся».

«Не знаю я ничего и не хочу знать, и убирайтесь немедленно, чтоб вашего духу здесь не было! Ишь, моду взяли! По квартирам шастать. Бог подаст!»

В гнесь он хлопнул дверью и, лежа под пледом, долго не мог успокоиться. Поднял книжку с пола; снова звонок. Да пусть она там хоть разорвется! Что это вообще такое? Ни доказательств, ни документов. Письмо... Кто ж не пишет любовные письма девчонкам! Надо еще проверить, думает он, действительно ли это его письмо.

Поразительно, что от прошлого, от всей прелести остался один только голос, волшебный грудной голос, даже когда она стала ругаться. Если бы не свет из комнаты, зимний свет, он не заметил бы перемены. Как она разыскала его? Нет, ты подумай: снова звонит; дрянь, шлюха, авантюристка. Пришла его шантажировать.

Он тащится в коридор.

«А я уж было решил, что вас нет дома».

«Доктор?..— сказал человек на костылях.— Какими судьбами?»

«Мне тут по дороге. Решил вас проведать. Узнать, как дела».

Он укладывается, как положено пациенту, жметя к спинке дивана, чтобы освободить место. Хирург сидит вполоборота, потирая замерзшие руки.

«Вы, я вижу, молодцом».

В комнате полутемно.

«Зажечь свет?»

«Не стоит».

«Выпьете чайку, доктор?»

«Благодарю».

Врач постукивает по гипсовому футляру, ощупывает пальцы ног. Пальцы теплые. Нет ли чувства онемения? Что ж, прекрасно. «Я думаю,— говорит он,— хорошо бы вам на следующей недельке... В понедельник операционный день, так что лучше всего во вторник. Заглянуть в клинику».

«Но вы же сказали, через шесть недель».

«Что? Да, конечно. Гипс будем снимать через шесть недель. А пока что...»

«Выпьете чайку?»

«Спасибо. Послушайте, я и не заметил. У вас на щеках румянец. Ай-я-яй! У вас температура»,— сказал врач. Он обвел глазами комнату, книги, паркет, на котором остались царапины от коньков. Тяжко вздохнул и, закрыв лицо руками, разрыдался.

«Доктор,— пролепетал больной,— успокойтесь...»

«Не могу... Не надо было мне приходиться... Не надо было вообще вас оперировать. Лучше бы кто-нибудь другой».

«Вас встревожило, что у меня температура, разве это так важно?» — спросил человек в гипсе, цепляясь за последнюю надежду.

Хирург покачал головой, потом кивнул.

«Это симптом»,— сказал он, сморкаясь.

«Симптом чего?»

«Вы сами знаете».

«Патологический перелом? Зачем же вы от меня скрывали?»

Хирург развел руками.

«Это было всего лишь подозрение. До свидания»,— сказал он,— до вторника. Не забудьте».

Человек с гипсовой ногой пробегает глазами несколько строк, у него не хватает сил добраться до конца абзаца, книга лежит на груди, он слушает нарастающий рокот литавр, оркестр тишины. Ибо тишина, кто же этого не знает, может быть тихой, а может и оглушить, может быть мелодичной, может быть грозной, может быть какофонической, может терзать слух! Вальс тишины, менуэт тишины, дикий канкан тишины! И он лежит, зажмурившись и заткнув пальцами уши. Надо переждать. Опускает руки. Тишина играет анданте.

После чего дверь распаивается сама собой.

«Оставьте меня в покое!» — кричит он.

Тот или то, что стоит в проеме двери, не обращает на его стоны никакого внимания.

«Кто вам дал право? Дайте мне умереть спокойно! Ненавижу вас всех».

Из-за того, что стало совсем темно, не разберешь, кто или что стоит на пороге: нечто косматое, может быть, гость напялил на себя медвежью шкуру. Театр, думает больной, кажется, сегодня святки или как там это называется, хотят восстановить старые обряды. Ряженный, сейчас будет просить денег. Да пошли вы все! Что за моду взяли! Дайте спокойно умереть. Что-то дымчатое, без лица, без рук. Он кашляет. И тут его осеняет: темнота наступила не оттого, что угас короткий зимний день, а оттого, что вместе с этим последним гостем в комнату проник черный дым. Бесформенное черное существо заняло всю комнату, расплзлось по полу, загордило окно, еще минута, и дымом станет он сам.

Сон в зимнюю ночь

Tes cheveux, tes mains, ton sourire rappellent de loin quelqu'un j'adore. Qui donc? Toi-même.*

Marguerite Yourcenar. Feux.

Дневниковая запись Людовика XVI от 14 июля 1789 года — что-то о погоде и охоте — навсегда останется трагикомическим недоразумением, но когда Франц Кафка записывает в дневнике: «Германия объявила войну России. После обеда — плавательная школа», — это заставляет задуматься об иерархии событий. Изо дня в день домашний экран внушает вам, что партийные дразги или отставка футбольного тренера — самое важное из всего, что происходит в мире. Глядя в рот комментатору, который разъясняет всемирно-историческое значение очередной встречи в верхах, вы спрашиваете себя: будут ли о ней помнить через неделю? Что вообще останется от всей этой трухи?

В сущности, это вопрос о том, где кончается мнимая жизнь, навязанная нам извне, и начинается внутренняя, подлинная, тайная и незабвенная. В сорок третьем году произошло событие, которое я не забуду. Вы должны представить себе зиму в больничном поселке в верховьях Камы, на границе двух частей света: темную рать елей, спускающихся с окрестных холмов, бревенчатые двухэтажные корпуса, тропки, протоптанные в снегу, мутный призрак луны и желтый свет керосиновых ламп в окошках. Вы должны вспомнить, что все еще тянется долгая ночь войны, немец силен, как прежде, и никто не знает, что нас ждет впереди.

Керосин выдают по карточкам. Его надо экономить. Стекло дороже хрустала. Поэтому им не пользуются. Нужно снять стекло, вывинтить колпачок и прикрутить фитиль; модификация керосиновой лампы, называемая коптилкой, освещает край стола, книжки, двойной листок, вынутый из школьной тетрадки. Все это тускло отражается в черном окне.

Давно миновала эпоха первых проб пера; к пятнадцати годам я был писателем-профессионалом. Я был универсальным писателем. Мое литературное наследие включало все жанры. Я был автором прозы, стихов, драматических сочинений, публицистических статей, философских трактатов, вел литературно-критическую переписку со своим дядей, жившим на Урале, писал дневник, издавал газету и был ее единственным подписчиком.

Тем не менее событие, мною упомянутое, не имело ничего общего с этими упражнениями. Ибо тайна слова останется для нас непонятной, пока мы не убедимся, что слово не только называет, но и преобразует действительность, что чувства приобретают над нами двойную власть, коль скоро они доверены бумаге. Волнующая прелесть письменного объяснения состоит в том, что оно одновременно и произнесено и не произнесено; написать письмо девушке — все равно что прошептать ей на ухо секретный пароль, оставаясь невидимым, *parler sans parler*, как говорит герой «Волшебной горы». Моя мать дежурила в хирургическом отделении. Мой маленький брат спал сном праведника. С пером в руках я сидел за столом и смотрел, как зачарованный, на тусклый лепесток огня.

Дом больничного персонала представлял собой род барака; чтобы вручить письмо той, кому оно предназначалось, достаточно было перебежать от одного крыльца к другому. Однако я надел пальто и валенки, нахлобучил шапку и, никем не замеченный, вышел из дома. От больницы до села, куда каждый день я ходил в школу, было два километра. Я шел и думал. О чем? Справа от дороги до самого горизонта расстилалась плотно укрытая темным снежным одеялом река, слева стояли сумрачные леса. Мглистое пространство сна, серебром и оловом отливающий санный путь, мертвое гудение телеграфных столбов. При входе в село на заборе висел почтовый ящик.

Нет ничего труднее, чем рассказывать историю, в которой ничего не происходит. В который раз убеждаешься, что функция памяти — совсем не в том,

* Твои волосы, твои руки, твоя улыбка издали напоминают мне кого-то, кто мне дорог. Но кого же? Тебя. Маргерит Юрсенар. «Огни».

чтобы консервировать прошлое. Память — это беллетрист, который вечно стремится придать событиям литературную завершенность. Что, собственно, и превращает их в события. Я так и не узнал, получила ли она мое письмо. Но на третий день вечером, когда у матери снова было дежурство, в комнату мою постучались.

Теперь я должен описать ее внешность. Удивительное дело: я прекрасно помню ее волосы и улыбку, помню цвет ее глаз и звук голоса, силуэт и походку, ведь чаще всего я любовался ею издали; кажется, я мог бы восстановить до мельчайших подробностей весь ее облик, но при этом я вижу ее не совсем такой или даже совсем не такой, какой она казалась мне в ту пору. Необыкновенная живость воспоминания оборачивается ловушкой. Ибо совершенно очевидно, что я вижу то, чего тогда не различал. Я вижу ее отчетливей, как близорукый, надевший очки. Нет, я не случайно употребил это сравнение. Нас уверяют, что юность смотрит на мир сквозь цветные очки. На самом деле зрелость напяливает себе на нос стекла, которые дают увидеть бесчисленные подробности лиц и вещей, все — кроме самих вещей.

В дверь постучались, лучше сказать — поскреблись, и вошла девушка девятнадцати лет, в коротком пальто, накинутом на плечи, по-крестьянски несколько неуклюжая, крепкая и полногрудая, с крупными и нежными чертами лица, бледными припухшими губами, с тенями вокруг глаз того неопределенного серо-жемчужного оттенка, о котором говорят: взгляд с поволокой. Я смотрел на нее, охваченный счастьем и ужасом. По-видимому, она очень стеснялась. Она пришла попросить «что-нибудь почитать».

О письме, разумеется, ни слова. Она уселась на табуретку напротив меня. Я думаю, что она была выше меня ростом. Она никогда не была в большом городе. Может быть, она всего несколько раз видела железную дорогу, сменила за свою жизнь пять пар туфель и прочла десять книг. Ее звали Нюра — мелодия, состоящая из двух нот. Это имя, уменьшительное от Анны, употребляется в России только в простонародной среде. Она была русской девушкой, самой русской, какую только можно себе представить, говорила с местным деревенским акцентом, мягким и шепелявящим, какого я никогда в жизни не слышал и который пробуждал во мне трогательное умиление, у нее был хрипловатый, низкий голос, один звук которого заставлял стучать мое сердце, и на среднем пальце левой руки она носила оловянное колечко. Она была медицинской сестрой и отлично знала, что человек состоит из кожи, костей, мышц и желёз. А я был учеником восьмого класса и ни разу не видел обнаженную женщину; я научился читать и писать, когда мне не было четырех лет; я был обречен вечно сидению перед бессонной лампадой и, собственно говоря, должен был родиться в век Маймонида и Святого Фомы. Я был книжником в двенадцатом поколении и унаследовал от своих согбенных предков религию непроизносимого Имени и культ молчаливого слова, особого рода надменную застенчивость, физическую слабость, близорукость, размывающую контуры женских лиц, и любовь к комментариям, которая ставит вас перед выбором: либо ты живешь, либо комментируешь текст жизни. И у меня было только одно преимущество: если не считать главного врача, человека с деревянной ногой, я был единственным мужчиной в больничном поселке.

Я вижу нашу убогую комнату и слышу наш приглушенный, сладостно-уклончивый разговор, из которого не могу припомнить ни одного слова. Нечего и говорить о том, что официальный повод ее прихода был тотчас же забыт. Сидя напротив меня, она положила локти на стол, и ее груди слегка выдавились из прямоугольного выреза платья. Я запнулся. Заметив мой взгляд, она мгновенно выпрямилась.

У меня была идея, которую я должен был каким-то образом высказать. Она состояла в том, что я ничего не жду от моей избранницы. В пятнадцать лет я узнал о том, что беззаветная любовь — не изобретение поэтов. Я полагал, что никто до меня не любил земную женщину так преданно и самозабвенно — за исключением, может быть, рыцаря Тоггенбурга. И мне было достаточно того, что она знает о моих чувствах, и знает, что я ничего от нее не жду. В сущности, объяснение в любви было важнее самой любви, и мое письмо к ней уже заключало в себе осуществление любви. Мне не приходило в голову, что подобное

бескорыстие не может удовлетворить женщину; если оно и льстит ей, то все же рано или поздно наскучит. Отвратительное в своей откровенности сравнение любви с велосипедом, который должен ехать вперед или повалиться, ко мне совершенно не подходило. Я был роковым образом привязан к слову и никогда бы не смог перейти к «делу».

А она? Что побудило ее постучаться ко мне? Было очевидно, что этот ночной приход стоит в прямой связи с письмом,— значит, она его все-таки получила. Насколько я знал, у нее не было жениха, и, как я уже говорил, мы жили в мире инвалидов и женщин. Но опять же это простое соображение приходит мне в голову только теперь. А тогда... неожиданная, дерзкая до упомощащения мысль пронеслась в моем мозгу: что, если она меня тоже любит? По правде говоря, это не входило в мои расчеты. Но мне не грозила ее любовь. На самом деле ее попросту разбирало любопытство.

Здесь нужно добавить, что мы были знакомы довольно давно. Эти времена смутно вспоминаются мне. За перегородкой лежала сестра инфекционного отделения, остриженная наголо; кажется, она выздоравливала от тифа. Занятый по горло чтением, литературными проектами и планами бегства в Москву, я не испытывал к ней ни малейшего интереса. В теплый весенний день она стояла на крыльце в рубашке. Видимо, это было незадолго до того, как она переселилась в соседнюю секцию. В комнатке за перегородкой поселили старуху-татарку с дочерью, которая пела песни и работала в амбулатории. Время от времени к ней приезжал муж, как считалось, с фронта, и каждый раз новый. Летом мы купались на Каме. Я помню ватагу барахтающихся детей, среди которых, заслонясь ладонью от брызг, стояла в воде, так что были видны ее белые плечи и начало груди, девушка с короткими, как у школьника, волосами. Никому не введома алхимия пола, ведь жаргон физиологического созревания непеводим на язык души. Случилось так, что мы шли вдвоем по дороге в село. Она шагала в своем коротком зимнем пальто, глядя себе под ноги и помахивая рукой, так, как это иногда делают женщины,— вбок, а не назад. Озарение наступило внезапно, подобно открытию ученого или мелодии, неожиданно зазвучавшей в мозгу музыканта, и мне не удается связать давние полудетские картины с тем, что случилось зимой, с Нюрой, которую я поджидал на крыльце нашего дома, окоченев от мороза, долгими звездными вечерами.

Да, так начались эти встречи. Я понимал, что она должна была по неписанным правилам тогдашнего этикета делать вид, что вышла из дому не ради меня; она бежала по снежной тропке от крыльца к некоему домику на лесной опушке, похожему на скворечник, и когда она возвращалась, я выходил ей навстречу из темного тамбура. Она приближалась медлительным шагом, кутаясь в наброшенное на плечи пальто, ее лицо казалось черным в ртутном сиянии звезд, и волосы окружал, как нимб, серебряный иней. Она поглядывала по сторонам. Мы оба ужасно мерзли. В темноте мы стояли друг перед другом, печальные, словно брат и сестра, которых ждет тысячеверстная разлука, и не знали, что сказать друг другу, и когда, наконец, я преодолел немоту, мы говорили друг другу «вы».

А затем наступили недели еще неведомых мук. Луна исчезла за облаками; пошел снег. Навалило высокие сугробы. Настал февраль. Долгие часы я клал зубами и пританцовывал на крыльце. Никто больше не выходил. Однажды я встретил ее днем, она отвернулась, но на узкой дорожке в снегу невозможно было разойтись. Она взглянула на меня своими серыми выпуклыми глазами и промолвила: «Ваша мама запретила мне с вами встречаться».

Весна разразилась, когда ее никто не ждал; внезапно грянул небесный оркестр, блеснули трубы и ударили литавры; дорога поднялась над осевшим снежным полем, заблестели грязные колеи, с голодным хрюканьем по ним неслись, виляя тощими задами, плоские, почерневшие за зиму свиньи. Я швырял в них комьями мерзлого снега и всю дорогу от больницы до школы горланил разбойничьи песни, ибо нет такого триумфа, который мог бы сравниться с торжеством освобождения от изнурительной любви. Наше последнее свидание произошло несколько месяцев спустя и, по-видимому, было совершенно случайным. Я увидел ее в лесу над зеленым склоном оврага, она стояла под деревом в белом платье. На минуту все как будто началось сызнова. Разбежавшись, я перепрыг-

нул через ручей. «Нюра,— пробормотал я,— вы меня любите?». Она опустила голову. И сейчас, дописывая последнюю строчку, я пытаюсь понять, когда мне приснилась эта история: сейчас или тогда?

Один плюс один

NN отличался мечтательностью. Конечно, как всякий гражданин, он имел имя и фамилию. Но он был таким обыкновенным человеком, так был похож на других граждан, спешащих в утренней тьме к остановке автобуса, на пассажиров в вагоне метро, на своих коллег по конторе, что ничего не изменится, если мы будем называть его просто NN. Итак, он был мечтателен — единственная, быть может, черта, придававшая его натуре некоторое своеобразие, — и каждое утро, бреясь и подходя к окну, представлял себе, как он вечером наберется смелости и пригласит к себе в гости женщину, которая блуждала за окнами квартиры напротив.

NN работал — постараясь точно назвать его должность — заместителем старшего делопроизводителя управления плановых перевозок Министерства государственных имуществ. Он работал там много лет, сначала помощником делопроизводителя, потом был повышен в должности, потом поднялся еще на одну ступень и мог с закрытыми глазами доехать до места службы, мог целый день просидеть за столом, сверять сводки, подшивать ведомости и отвечать на телефонные звонки, не открывая глаз, мечтая о том, как он в воскресенье соберется и поедет на целый день за город.

Вечером он возвращался домой, входил во двор, где не было ни единой травинки, поднимался по щербатой лестнице. Дом был многоэтажный, лишенный каких-либо признаков того, что принято называть архитектурой; бывший доходный дом, как две капли воды похожий на соседние. NN готовил себе ужин, потом лежал на диване с закрытыми глазами или сидел перед телевизором, переключая один за другим пятнадцать каналов. К тому времени, когда он доходил до последней программы, первая успевала смениться; так проходил вечер. По выходным дням NN занимался уборкой своего жилья.

Однажды он забрел в другой район и очутился возле птичьего рынка. Он ходил в толпе среди свиста, шелканья, щелбета, вдоль столов, табуреток и старых ящиков, за которыми стояли продавцы с клетками, и ему захотелось изменить свою жизнь. Он вошел к себе в комнату, держа в одной руке пакетик с кормом, а в другой — проволочное сооружение; вечером он накрыл клетку, как ему велели, темным покрывалом, чтобы свет не мешал птичке, а в ближайшее воскресенье приобрел настоящую клетку с жердочкой, зеркальцем и каким-то подобием зелени. Птичка оказалась веселой и послушной, охотно ела корм, пила воду, утром щелбетала, вечером спала и, по-видимому, не страдала от одиночества, так как видела в зеркале другую птичку, точно такую же, как она.

Продавец не обманул его: птичка была еще птенцом. За несколько недель она заметно подросла, научилась сидеть на жердочке, поворачивать голову навстречу хозяину и смотреть на него сбоку круглым загадочным глазом. NN отворил дверцу, чтобы дать ей полетать в комнате. Птичка колебалась. «Ну, давай,— сказал он.— А то закрою, и останешься сидеть». Птичка закружилась под потолком, закачалась на люстре, уселась на телевизоре, почистила перышки, снова вспорхнула, это было очень весело. Он насыпал ей крошек на стол, и они вместе поужинали.

Птичка продолжала расти, теперь она только ночевала в клетке. Как-то раз NN пришел с работы в дождливый, слякотный вечер, плюхнулся на диван, птичка строго поглядела на него. Он понял: она была недовольна тем, что он не снял грязную обувь. Вечером они вместе смотрели телевизор. Наступила зима. В комнате стояла разукрашенная елка. Хозяин зажег свечи. Птичка отказалась от мысли устроиться на ветке, так как это было опасно. Шампанское ей не понравилось. С красным шелковым бантом на шее — подарок NN — она клевала конфеты, он поднял за ее здоровье оба бокала и поздравил птичку с Новым годом.

Оттого, что стала взрослой, птичка не любила летать. Она расхаживала по комнате, повязав передник, обмахивала пыль с мебели, протирала полки с книжками, потом отдыхала, сидела на подоконнике и смотрела во двор. NN спросил: не хочет ли она прогуляться? Вероятно, она скучает по лесу? Птичка ничего не ответила. Он открыл окно, была весна. «Хочешь, мы в воскресенье поедem за город? — сказал он. — Плюнем на все и махнем куда-нибудь подальше. Возьмем с собой еды. А то даже, — прибавил он, — если хочешь, если тебе надоело, я могу тебя отпустить». Он сказал это и испугался. Птичка могла поймать его на слове. Он подумал: вот сейчас она сообразит, в чем дело, и... Птичка махнула крыльями, надменно повела носом, прыгнула с подоконника и усе-лась смотреть вечернюю спортивную программу.

Неделя кончилась, апрель был в полном цвету, это чувствовалось по необыкновенному запаху, который проникал через распахнутое окно в комнату: где-то очень далеко цвели луга. Птичка сидела в кресле, загородившись раскрытой газетой, на носу у нее были очки; она читала политические новости. NN крался по комнате со стулом. Птичка перевернула газетный лист, он услышал, как она щелкнула языком. NN встал ногами на стул, покосился на птичку, шагнул со стула на подоконник, взмахнул руками и улетел.

Картафил

Quid sit futurum cras, fuge querere et Quem Fors dierum cumque dabit...

Hor. Carm. 1,9.*

Выставка в Базеле оживила в моей памяти давнее увлечение. Будучи в этой области дилетантом, я прекрасно понимаю, что мои попытки прогнозировать будущее не заслуживают серьезного обсуждения. Речь идет, как уже сказано, об увлечении, о хобби, но разрешите мне со всей подобающей скромностью сослаться на авторитетных ученых, отдавших ему дань.

Если мы согласимся, что всякая притязающая на научность теория должна не только объяснять факты, но и уметь их предсказывать, мы должны будем потребовать от истории, чтобы она поведала нам не только о прошлом, но и о будущем. В таком случае она станет частью того, что можно назвать Общей Теорией Гадания, и вернется к забытому наследству, к пророческим грезам и мрачным пророчествам позднего средневековья, о которых напоминает выставка в базельском музее.

Я вспоминаю превосходно воспроизведенный рабочий кабинет знаменитого гуманиста, философа и скептика Корнелия Агриппы Неттесгеймского, и его прибор, некогда породивший так много слухов. Полюбовавшись кабинетом (искусно подвеченная фигура ученого за пультом помещалась в глубине, потолок тонул в полумраке, все это создавало эффект таинственности), я пожелал узнать, какие источники были использованы для реконструкции хроноскопа. Мне было отвечено не без некоторого высокомерия, что чертеж этого устройства имеется в манускрипте XVI века, возможно, принадлежащем самому Агриппе. Я не мог отнимать много времени у г-на директора, да и не был уверен, что он сможет удовлетворить мое любопытство, и спросил на всякий случай: имеется ли в виду рукопись под названием «Хроника о Картафиле»? «Да, — сказал он, — а вы откуда о ней знаете?» Я заметил, что хотя достоверность данного источника оспаривается, из него можно заключить, что прибор был по крайней мере однажды продемонстрирован и притом с ошеломляющим результатом. «Ну, это уже домыслы», — сказал директор, и разговор был окончен.

Мне остается добавить, что в моей библиотеке имеется комментированное издание этой рукописи. Очень содержательные примечания, составленные Гер-

* Что завтра будет, лучше не спрашивай.
Из дней, какой бы рок ни послал, прими
Во благо.

Гораций, ода 1. 9 (пер. Ю. Верховского).

хардом Гюнпером, подсказали мне подробности истории, которую я предлагаю вниманию читателя. Мое предположение, что мы имеем дело в данном случае с одним из самых удивительных предвидений, пожалуй, несколько ослабляется несовпадением дат. Дело в том, что известная конференция в Ванзее — читатель потом поймет, почему я о ней вспомнил, — состоялась в 1942 году. Рукопись же, если она принадлежит Агриппе, не могла быть составлена позднее 1535 года, когда знаменитый чернокнижник скончался. Однако в масштабе столетий так ли уж важно опоздание на несколько лет?

«Хроника о Картафиле» (под таким названием она значится в каталоге Майера; дословный перевод титула: «Верное и правдивое известие о некоем жестокосердном еврее Картафиле, наказанном за проступок, коему нет прощения ни в мире сем, ни на небесах») относится к обширной серии полуфольклорных сочинений о бессмертном скитальце. Многие из них остались памятником ненависти и фанатизма. Иные отмечены своеобразной поэтичностью. Любопытно, что автор «Хроники» как бы хочет положить конец всем дальнейшим легендам и домыслам, утверждая, будто с тех пор странник больше не появлялся. В любом случае их загадочная двусмыслица вызывает недоумение. И я не могу не сказать о тяжелом чувстве, испытанном мною при чтении этого «известия», которое передаю здесь, не пытаясь имитировать испорченную латынь подлинника — язык смутного века, потрясенного темными знаменьями и сомнительными успехами нового знания. Вопреки своему названию век этот не возродил ни Афины, ни Рим.

Итак, с чего началась эта история? В один ничем не замечательный день в кабинет Агриппы вошел неизвестный человек; хозяин принял его за нищего. Но тот отказался от подаяния, ибо пришел с другой целью. С какой? Последовал невнятный ответ, из которого можно было только заключить, что гость выдавал себя за того, чьим именем озаглавлена рукопись.

«Чем ты это докажешь?» — спросил ученый.

«Да вот хотя бы этим...» — пробормотал странник, и оба взглянули на картину, висевшую над дверью. Агриппа придвинул лесенку, в пыльном солнечном луче, вода лупой по холсту, отыскал в толпе зевак, обступивших Лобное место, фигуру, на которую намекал гость. Сходство не вызывало сомнений.

«Гм», — сказал Агриппа. Он не стал выяснять, откуда, собственно, живописец мог знать, как выглядел Вечный Жид. Усевшись перед высоким пультом, он спросил себя, зачем судьба напоследок явила ему человека, о котором никто в точности не знал, существует ли он на самом деле.

Вслух он спросил: как это произошло? Как было дело? «Если, конечно, ты еще помнишь».

«Как не помнить?» — возразил старец. Оба сидели друг перед другом, гость ел вареные бобы, а за окном над гонтовыми и черепичными крышами садилось солнце. Оба думали о городе в седловине гор, о покрытых пылью паломниках, о взбудораженной толпе. Сколько чудодеев, самозванных спасителей и бродячих пророков видел этот город! Прогнав прочь от своего дома ложного мессию, который просил помочь ему дотащить тяжелый, сколоченный крест-накрест снаряд — орудие предстоящей казни, — Картафил пошел за толпой. День был жаркий, а он и тогда уже был немолод. Три виселицы стояли на холме, оцепленном легионерами.

После этого случилось нечто малопонятное. Картафил заблудился. Он оказался за внешней стеной. Повернув назад, побрел через лабиринт узких улочек вокруг Овечьего рынка, снова вышел к воротам, так повторилось несколько раз.

«И это все? — спросил Корнелий Агриппа. — Мне кажется, ты кое-что утаил. Кое-что важное».

«Мне скрывать нечего...»

«Значит, забыл. Он должен был тебе сказать... Разве Он ничего не сказал?»

«Он сказал: подожди, я приду снова».

«И больше ничего?»

«Больше ничего».

«Очевидно, это позднейшие домыслы,— проговорил Агриппа, думая о своем.— Ты говоришь, что не смог вернуться домой... Значит, с тех пор ты и ходишь?»

Старик пожал плечами, развел бронзовыми руками.

Легко было убедиться, глядя на него, сколь нелепы многочисленные якобы достоверные сообщения о вечном скитальце. Фантастический возраст не сделал его непохожим на тысячи других стариков. Однако его явление поставило перед ученым важный вопрос. Отсутствие смерти, если вдуматься, равнозначно отсутствию рождения. Бессмертие предполагает бесконечность существования в обе стороны; не умирает лишь тот, кто никогда не родился, другими словами, тот, кто не сотворен. Не сотворен же единый Бог. В этом, по мнению Корнелия Агриппы, заключалось слабое место в христианском учении о бессмертии души.

«Я не христианин,— заметил Картафил, словно угадав его мысли.— Ваши контрверзы меня не интересуют. Ты мне только скажи. Выходит, что и я когда-нибудь помру?»

«Все может быть. Не исключено, что Он имел в виду именно это».

«Я не понимаю!» — вскричал старец.

Агриппа усмехнулся.

«Клянусь, я не видывал иудея, который выдавал бы свое происхождение больше, чем ты. Эта борода, эти вылупленные карие глаза. Визгливый голос... Что ж тут не понимать? — сказал он.— Тебе сказано: будешь странствовать по земле, покуда Я не приду снова».

«Все это я уже слышал. Собственно говоря, вам бы надо сказать мне спасибо!»

«Кому это „нам“?»

«Всем вам,— буркнул гость.— Всем! Тычут мне в нос: проклят, проклят... А, в сущности, должны поклониться мне и сказать спасибо. Ведь я единственный, кто Его видел. Единственный!»

Какие у вас доказательства? — продолжал он.— Можешь ты мне объяснить? Нет у вас никаких доказательств! Слухи, сплетни. Рассказы не заслуживающих доверия людей, да и то по большей части с чужих слов... А я живой очевидец. Можете меня гнать, можете натравливать на меня чернь, собак, сторожей. Или я уже не знаю кого... Но я единственный, кто видел Его своими глазами,— вот как тебя сейчас вижу. Единственный, кто может сказать, что Он действительно существовал — кем бы Он ни был...»

Долгая речь утомила старца, он протяжно вздохнул, опустил на грудь лысую загорелую голову, и послышалось легкое посапывание.

Хозяин прошелся по комнате.

«Не обращай внимания,— вдруг произнес Картафил,— время от времени я... теряю нить беседы, но это ничего не значит. Это бывает и с людьми моложе меня. Видишь ли,— заговорил он бодрым голосом, как ни в чем не бывало,— я страдаю бессонницей, порой не сплю месяцами. И лишь такой кратковременный отдых позволяет мне восстанавливать силы. Во всяком случае, я сохраняю над собой контроль и, надеюсь, еще не впал в слабоумие... А иногда я вижу сны. Из-за того, что мой сон некрепок, мои сновидения необычайно яркие, так что если бы я каждый раз видел во сне одно и то же, то, пожалуй, не мог бы решить, который из двух миров существует на самом деле: мир моего бодрствования или мир видений?»

«Любопытная мысль»,— отозвался Агриппа. День угас, в кабинете ученого стало сумрачно.

Он осведомился, чему все-таки обязан честью этого посещения.

«Вот, вот,— сказал Картафил,— я к тому и клоню. Как ты думаешь: можно доверять снам?»

«Если ты подразумеваешь то, что народное суеверие называет вещими снами, то мое мнение именно таково: это суеверие. Однако я думаю, что поэт подразумевал другое, говоря: *Quid sit futurum cras, fuge querere*».

«Что же именно?»

«Он имел в виду научное предсказание будущего и... предостерегал против неосторожных прогнозов».

«Понимаю. Но мне...— Гость вздохнул.— Мне достаточно будет знать, что когда-нибудь проклятие будет снято. Я устал. Ужасно устал. Тому, кто таскает на своих ногах, словно разбитую обувь, полторы тысячи лет, не позавидуешь... Одним словом, я хочу знать, когда именно закончится моя жизнь».

Знаменитый астролог пожимает плечами, я же сказал, говорит он, в день, когда совершится Второе пришествие, если верить тому, что ты рассказываешь,— в этот день тебе будет возвращен покой.

«Да нет же...» — слышится плачущий голос в густеющих сумерках. И Вечный Жид протягивает скрюченный палец к нише, где, наполовину задернутый занавеской, помещается аппарат, о котором автор хроники говорит, что его необычайность не бросалась в глаза.

Ах, вот оно что! Хозяин смотрит на гостя.

«Кто бы ты ни был,— говорит он,— я думаю, что тебе лучше уйти».

Оба молчат.

«Тебя привела ко мне моя слава. Но обо мне ходят разные толки. Например, ты можешь услышать, что на меня набросился дьявол в образе черного пса с огненными глазами и причинил мне увечье, которое несчастный Абельяр в истории своих бедствий называет жесточайшим и позорнейшим... Бедный пудель пал жертвой народного суеверия. Представляешь, они убили его палками. Они сами, если на то пошло, не лучше дьявола. Дьявол престонародья... Одним словом, Картафил,— сказал Агриппа,— я советую тебе уйти подобру-поздорову».

Странник покачал головой, и снова наступило молчание.

«Это рискованный опыт».

Старик ответил:

«Что мне терять?»

«Я тебя предупредил,— сказал Агриппа.— Это очень опасный опыт: тебе придется стать соучастником того, что произойдет. Только так ты сможешь увидеть будущее...» И далее было произнесено несколько замысловатых фраз касательно философских и естественно-научных основ предстоящего эксперимента.

Изложить принцип действия хроноскопа на языке того времени, вероятно, не составило бы труда; к несчастью, этот язык не более вразумителен, чем язык хеттов или шумеров. Впрочем, кое-что можно интерпретировать с позиций оптики и стереометрии мнимых изображений. Кристалл, представляющий собой главную часть прибора, висит по обе стороны стекла, словно предмет и его отражение в зеркале, причем отражением нужно считать то, что ближе к нам. Иначе говоря, мы находимся по ту сторону зеркала: мы сами — чье-то отражение. То, что предстает глазам зрителя, есть следствие физических законов, но также образ, созданный им самим, ибо «игра лучей в кристалле стала частью его внутреннего зрения». Так, судя по всему, следует понимать слова Агриппы Неттесгеймского (или того, кто был автором «Правдивого известия») о том, что всякий, созерцающий стекло, должен превратиться из наблюдателя в соучастника.

Между тем Агриппа все еще колебался.

«Я обязан был тебя предупредить,— повторил он, не обращая внимания на протестующий жест пришельца.— Ты говоришь, тебе нечего бояться, но ты не защищен от безумия. Перед тобой нечто такое, что представляет собой отступление от мирового порядка, подобно тому как ты сам — отступление от него... Видишь ли, меня давно соблазняла мысль воспроизвести в опыте то, о чем говорит Августин: *id quo esse aut cogitari melius nihil potest*, то есть «то, лучше которого ничего не может быть и невозможно себе представить». Имеется в виду абсолютное, субстанциональное и неизменное бытие, и если ты вспомнишь, что такого рода бытие он считает прерогативой Бога, то поймешь, сколь опасно было мое предприятие».

Он продолжал:

«Абсолютное бытие есть не что иное, как вечность, актуализованная в настоящем, другими словами — вечно длящееся настоящее. Ты следишь за моей мыслью? В рамках такого бытия не существует событий, которые безостановочно проваливаются в яму прошлого. Событиям возвращен их первоначальный смысл; вдумайся в это слово: со-бытие, нечто сосуществующее, а не мимо-

летное. Я иду,— сказал Агриппа,— путем, противоположным тому, которым следует большинство философов и богословов. Как и они, я отправляюсь от общих истин, как и они, исхожу из теории; ибо это царский путь всякого исследования. Но они используют умозаключение для доказательства бытия Божия, например, ссылаются вслед за Ансельмом на необходимость совершенного бытия, чтобы отсюда заключить, что Высшее Существо не может не существовать. Они доказывают Бога, как Эвклид — свои теоремы. Я же, напротив, исхожу из аксиомы существования Бога, чтобы умозаключить, что абсолютное, неразрушимое, не исчезающее в воронке времен и не рождающееся из ничего бытие есть такая же несомненная реальность, как реальные мы с тобой... Как человек науки я исхожу из убеждения, что все, что реально существует, в принципе может быть воспроизведено. Но! Внимание, Картафил, я возвращаюсь к тому, с чего начал. Создав модель такого бытия, я столкнулся с чудовищным казусом. Явление, о котором я говорю, несомненно, будет оценено, когда теология из чисто умозрительной дисциплины превратится в экспериментальную науку. Однако в моих собственных опытах оно поставило меня на грань опасности, перед которой бледнеют все ужасы наших дней».

«Итак, не буду тебя пугать, хотя вряд ли что-нибудь способно внушить тебе страх,— скажу прямо: моя лабораторная вечность, воссозданная в этом кристалле, едва только я сумел ее актуализовать, начала продуцировать собственное время!...»

Он умолк. Дед моргал, не спуская глаз с чародея и, очевидно, силясь понять, что означает вся эта чертовщина.

«Позже, листая Confessiones, поистине бессмертную книгу, я нашел объяснение. Августин задается вопросом, почему Бог не сотворил мир раньше, чем сделал это на самом деле. Его ответ так же прост, как и неожидан. Потому что для божественного бытия нет понятий «раньше» или «позже»: абсолютное бытие существует вне времени. Но далее он пишет, что невозможно представить себе, чтобы Творец предшествовал времени, ибо это означало бы, что и он соотносится с временем, иначе говоря, подчинен ему. Что же из этого следует, как не то, что Творец по необходимости создал наш временный мир, что он, ежели на то пошло, был обречен исторгнуть из себя этот мир, сущий во времени? В противном случае Бог существовал бы до мира, а это противоречит исходной посылке — его пребыванию не «до» и не «во время» преходящего времени. Другими словами, абсолютное и неизменяемое бытие не может не породить время. Диву даюсь, как я мог упустить это из виду!»

Светлый пар поднимается от стекла. Кристалл растет и постепенно растворяется в воздухе.

«Я ничего не вижу...» — лепечет гость.

«Терпение. Сосредоточься».

«Но я в самом деле ничего не вижу. Я уже и кристалл не вижу».

«Это потому, что ты внутри кристалла».

Когда некоторое время спустя Корнелий Агриппа кликнул гостя, ответа не было. Старик сидел в глубокой задумчивости, расставив ноги в разрушенных сандалиях, глядя в пол.

«Ты спишь? Картафил!»

«Нет, не сплю,— был ответ.— Я вспоминаю. Вернее, стараюсь припомнить, о чем я вспоминал».

«Видишь ли ты кристалл?»

Странник поднял голову.

«Еще один?» — спросил он.

«Да. Сейчас они совместятся... Внимание. Только не пытайся встать. Дай глазам привыкнуть к слабому свету. Смотри в одну точку. Теперь осторожно перемещай взгляд, не отходя далеко от точки. Перемещай взгляд кругами...»

Прошло еще сколько-то времени, хотя не следует забывать, что смысл подобных выражений был уже неодинаков для экспериментатора и для гостя. Со стариком творилось что-то странное, он разинул беззубый рот, глаза, устремленные в пустоту, вылезли из орбит. Он подался вперед, закачался и запел, залопотал по-арамейски. И Агриппа понял, что опыт не удался. Перед ним был старый безумец, один на один со своими галлюцинациями; незачем было предостерегать его, он давно потерял рассудок.

«Ну что,— осторожно спросил Агриппа, подождав, пока прибор остынет, а гость придет в себя,— как ты себя чувствуешь?»

Дед растерянно смотрел на него.

«При чем тут я?» — пробормотал он.

«Я спрашиваю, как ты перенес опыт».

«Это был Он»,— сказал Вечный Жид.

«Что?»

«Это был Он».

Агриппа нахмурился.

«Ты хочешь сказать?...»

«Да».

«Картафил...»

«Да,— сказал Картафил,— я именно это хочу сказать».

«Ты Его узнал? Ты в самом деле Его увидел?»

«Как тебя сейчас вижу».

«Вот оно что. Значит, он выполнил свое обещание»,— медленно проговорил Агриппа.

«Хуже! — простонал старик, и глаза его наполнились слезами.— Гораздо хуже!»

Ученый провел рукой по лицу, попросил гостя успокоиться, рассказать все по порядку.

«Не могу. Я им хотел объяснить, но они меня не слушали».

«Кто — они?»

Старик тряс бородой и ничего не мог ответить.

«Картафил,— мягко сказал Агриппа,— даже если это было дурное видение, а я склонен думать, что это так, ты ведь сам говорил, что не всегда можешь отличить сон от яви,— так вот: даже если это сон, расскажи мне...»

«Они думали, что их ведут в баню,— сказал старик.— Они не хотели меня слушать. Я им говорил: посмотрите наверх, видите эту трубу? Видите этот дым?.. Вас всех сожгут, вам осталось жить несколько минут! Но они меня не слушали».

«Ты говорил на древнем языке, они не поняли».

«Старики знают арамейский. Но они не хотели понять. Не хотели слушать. Они думали, что с ними поступают как с людьми».

Чародей молча похлопывал себя по колену, оба сидели в полутьме друг против друга и думали каждый о своем.

«Когда это будет?» — спросил гость.

«О,— сказал, очнувшись, Агриппа,— это всего лишь будущее. Оно наступит скоро».

«Когда?»

«Не все ли равно...»

«Когда?» — вскричал странник.

Агриппа встал, зажег свечу и развернул огромную книгу, это были чертежи и таблицы.

«Минутку,— пробормотал он, воткнул циркуль и провел круг.— Это будет... Да. Ровно через четыреста лет. Потерпи еще четыре века. Тогда закончатся твои скитания... Послушай»,— сказал Агриппа, который испытывал тяжелое недоумение, так как понимал, что легче предположить помрачение ума в любом из нас, нежели допустить безумие мира, куда мы заброшены. Ведь это значило бы признать сумасшедшим самого Творца. — Послушай... Видит Бог, я хотел бы оказаться обманщиком. Но, допустим, что ты прав, и то, что ты видел, не было порождением расстроенного ума. Выходит, все сбывается! Он же тебе говорил: жди Меня, Я приду во второй раз. И Он пришел. Скажи мне только одно, ведь прошло столько лет: ты не ошибся? Ты действительно Его узнал? Как Он выглядел?»

«Так же, как в Иерусалиме».

«И что Он сказал?»

«Ничего не сказал. Он шел вместе со всеми».

«Куда?»

«Куда... Туда же, куда все. В печь, или как она там у вас называется».

«Почему у нас, при чем тут мы?.. В какую печь? Что ты несешь?»

«В огненную печь».

«Зачем?»

«Как это зачем? Чтобы сгореть!»

«Этого не может быть», — сказал Агриппа.

«Почему?» — спокойно возразил гость.

«Потому что в отличие от тебя Он бессмертен. Он сошел с небес. Он Сын Божий! — закричал Корнелий Агриппа. — Можете ли вы это наконец понять?!»

«Он сын нашего народа», — сказал Картафил. — И я своими глазами видел, как Он шел вместе со всеми в дом смерти».

«И не сопротивлялся?»

«Никто не сопротивлялся».

«И... никто не пал перед Ним на колени?»

«Кто это должен был пасть?»

«Стражники, солдаты!»

«Солдаты, ха! Я думаю», — сказал Картафил, — им было не до этого».

Стиснув руки, Агриппа промолвил:

«Нет, ты не в своем уме. Ты не понимаешь, что говоришь!»

Старец сказал:

«Что тут еще понимать? Я хотел получить ответ и узнал его. Спасибо».

«Не о том речь. Я объясню...»

Вместо этого чародей погрузился в раздумье, и чем больше он думал, тем ясней сознавал невозможность своих мыслей. Никто не мог понять, что означало пророчество, думал он. Ни этот старец, ни его соплеменники. А оно могло означать только одно. *Я буду жить, куда ты жив.* До тех пор пока ты жив, пока все вы живете и свидетельствуете обо Мне, буду жив и Я. Ради этого вам подарено будет бессмертие... На какое-то время.

Да, размышлял Агриппа, ибо считал своим долгом додумывать все до конца. Пророчество не могло означать ничего другого, как признания роковой связи. Проклятье тебе и всем вам, но когда вы уйдете, уйдете вместе с вами и Я... Вас будут гнать ради торжества нашей веры, потому что вы для нее — вечный упрек, но когда дело дойдет до последней черты, когда вас, наконец, истребят, всех, старых и молодых, ученых и неучей, и древних старух, и калек, и младенцев, всех до одного, когда вы станете столбом дыма и осядете прахом, тогда рухнет и обратится в прах наша святая вера. Вместе с вами, вместе с тобой, презренный Агасфер, сожгут и Меня. И больше Я уже не воскресну. Я больше не вернусь! Вот что означало пророчество. Боже, думал Агриппа, какое счастье, что это будет не скоро.

Вслух он сказал:

«Я понимаю, это может случиться с каждым. Ты стар. Твое зрение ослабло. Ты был слишком потрясен увиденным... Каждый может ошибиться».

«Как это „ошибиться“?» — буркнул старец.

«Очень просто. Видишь ли, — продолжал Агриппа, — то, чего не может быть, никогда не бывает, говорю тебе это как человек науки. Этого не может быть».

«Ты так думаешь?»

«Я в этом уверен».

«Я засиделся», — сказал Картафил. — Хорошо. У меня к тебе еще одна просьба. Последняя, и я покину твой дом».

Вздыхнув, Корнелий Агриппа поднялся, задул свечу и подошел к зеркалу. Прошло много времени — как показалось пришельцу, — прежде чем кристалл ожил, начал расти. Облако светлого пара поднялось от стекла, на этот раз он был непроницаем, он становился все гуще: не пар, а дым. Вся комната наполнилась едким дымом. Острый запах заставил ученого отвернуться, это был запах обугленных костей. Когда дым рассеялся, в комнате никого не было. Вечный Жид не вернулся, он исчез навсегда, и Агриппа подумал, что должен был это предвидеть.

Пастораль на грязной воде

ПОВЕСТЬ

Поэт Кына Акын уволилась из музея. Заскучала. Несмотря на ее поэтический дар все, кроме Соломонии, восприняли ее уход с облегчением. Она была слишком яркой и творческой личностью, чтобы работать скромным музейным смотрителем. Она была всегда готова совершить какой-нибудь подвиг, и пока шла борьба за музей, место для такого подвига имелось. А теперь, когда добро победило зло и музей открылся, ей стало скучно. Толпы посетителей исчезли. Стали приходиться настоящие любители, немногочисленные интеллигентные зрители. Они писали удивительно взволнованные отзывы в толстой музейной книге и не хотели никакой борьбы. Регулярно по субботам или по воскресеньям в музее проходили поэтические и музыкальные вечера. Место стало престижным, и установилась очередь из уже известных поэтов и музыкантов, желающих выступить. Хом с Чернушечкой готовили к каждому вечеру приглашенный билет с ксероксом рисунка Соломою, и многие говорили, что начали собирать из этих рисунков замечательную коллекцию. За некоторыми современными поэтами следовали поклонники. Одни поэты дружили с другими поэтами и ходили на вечера друг друга. Но были поэты ревнивые, любили только себя и к другим поэтам не ходили. В основном поэтами занималась Чернушечка. Она очень умело лавировала в поэтических интригах. Но все равно не уследила, как гениальный поэт-концептуалист Кособрейко обиделся на нее и на Хома за то, что они хорошо относились к другому гениальному поэту-концептуалисту Грипову. У Грипова имелись все качества звезды, и за ним притаскивалась куча народа, почти как за знаменитыми футболистами. А Кособрейко тоже все знали, но толпы не было, поскольку он говорил еле слышно, обладал плохой дикцией и требовались большие усилия, чтобы разобраться в том, что он произносит. Он издал малюсенькую книжечку на газетной бумаге за свои деньги. Книжка, естественно, была гениальная. Никто в этом не сомневался. Но, несмотря на все похвалы, расточаемые Кособрейко со всех сторон, он был обижен и уязвлен. Уже отовсюду доносились кособрейкины измышления о том, что Чернушечка и Хом «продались Грипову».

— Я не буду обижаться на Кособрейко, — сказала Чернушечка. — Все равно он мне нравится.

— Ты права, — согласилась Соломония, — на таких, как он, Богом обиженных, не обижаются.

— Он вполне ничего, — сказал Хом.

— Но все-таки очень тяжелый характер. Он и наргемцев достал! — сказала Соломония. — Они его пригласили к себе. Они выпустили видеокассету с его стихами и даже устроили ему небольшой заработок. Однако он все равно весь в обидах.

— Наргемцам не понять загадочную туковскую душу, — смеясь, сказала Чернушечка.

— Чернушечка, скажи, пожалуйста, кто этот волосатый и грязноватый молодой человек, который бродит за тобой по пятам? Он тоже поэт?

— Да, это поэт Баня Фас. Его все хвалят. Еще он знаменит тем, что баллотировался на пост мэра столицы!

— Видите, как интересно у нас в стране жить! — восхитилась Соломония. — Демократия без берегов! Поэт-фашист Бручник, тоже баллотируется в депутаты, но в провинции. А брюки он все-таки в молодости шил очень хорошие! Я на этом настаиваю. Некоторые утверждают, что он халтурно шил, но это клевета!

— А как вам нравятся стихи Бручника? — спросила Чернушечка. — Я никогда и нигде ничего его не читала.

Соломония немного подумала.

— Во всяком случае, не хуже, чем брюки! И автобиографическую книгу о себе он написал очень правдивую. Называется «Юный подонок».

Хом сообщил новость:

— Кына увольняется.

Соломония уже знала, но все равно опечалилась.

— Мне очень, очень жаль!

— А мне нет, — сказал Хом. — Я устал от ее оригинального поведения! Она ждала, что мы будем ее отговаривать. Но, честно говоря, я даже обрадовался.

— Не жалейте, — сказала Чернушечка, — нельзя, чтобы в музее даже изредка звучала матерная речь не в поэзии, а в жизни! Посетители уже начали жаловаться. Вы лучше поговорите с Ганей Шумером, чтобы он у нас выступил. И, хотя у нас все забито, для него я бы место нашла.

— Это бесполезно! — сказала Соломония. — Я уже тысячу раз пыталась его уговорить, но он не желает. Он сидит с женой и с ребенком, корпит над переводами для заработка и куда-то не ходит.

— Но стихи-то он пишет?

— Конечно, пишет. И очень хорошие. Но выступать ни за что не хочет.

В музее еще существовала ставка научного сотрудника, позже отнятая из-за экономии средств.

До того, как в музее появился новый работник, искусствоведка Нольдик, Хом имел телефонный разговор с Толстонольдиком. Новая сотрудница была тоже Нольдик, потому что она вроде бы являлась сестрой Толстонольдика, но двадцать пятая вода на киселе. Несмотря на диплом искусствоведа, Нольдик Два недавно потеряла никчемную конторскую службу в военкомате. Толстонольдик попросила Хома взять ее на работу в музей.

— Я мог бы, — сказал Хом Толстонольдiku, — но в данный момент у нас практически нет искусствоведческой работы. Зато много всякой другой: хозяйственной и организационной. Съездить надо кое-куда.

— Хом, она ужасно любит путешествовать! — уговаривала Толстонольдик. — И вообще все будет делать. Она очень работящая! — И попросила робко: — Пожалуйста, Хом, не обращай внимания на некоторые ее странности.

— А какие такие странности? — немедленно заинтересовался Хом.

— Ну... Ничего особенного, просто говорит иногда какие-нибудь глупости. И непонятно, что правда, а что она выдумывает.

— Ладно, — сказал Хом, — раз ты так просишь... В любом случае я ее оформлю на два месяца, а там видно будет.

Соломония немедленно полюбила Странного Нольдика за великое трудолюбие. Ее нисколько не раздражали чудные истории, которые та рассказывала. Небольшого ростика, крепенькая, коренастая Нольдик была всего на четыре года младше Соломонии, но моложава до невозможности. Соломонии все время хотелось говорить ей по-матерински «ты», и она с трудом себя сдерживала.

Началось с того, что Нольдик отреставрировала почти погибший большой цветной рисунок Соломою. На этом, одном из многочисленных рисунков Соломою на излюбленную им тему из жизни инвалидов обнаженная женщина обнимала безрукого голого мужчину. Во время ремонта в подвале работяги ходили сапогами по этому рисунку. Хом и Соломония не уследили; в этот момент они спасали что-то другое, тоже очень важное. Рабочие топтали рисунок не нароч-

но. Просто в том кошмаре и разрухе должны были погибнуть кое-какие художественные ценности. И они гибли. К счастью, не так много!

Новый Нольдик ничего особенного не сделала. Просто медленно и постепенно, в течение многих дней, осторожно смыла с рисунка всю грязь, просушила его, прогладила и окантовала.

Пока Соломония и Странный Нольдик готовили этикетки для новой экспозиции в Чернушечкиной комнате, Нольдик кое-что порассказала из своей жизни. Например, что она наргемка по национальности. Родилась в Наргемии в конце войны. Оба родителя, папа и мама, работали в госбезопасности и носили красивую фашистскую форму с пауком на рукаве. Во время бомбежки наргемской столицы мать погибла, а отец сбежал без ребенка. Скорее всего решил, что дитя тоже мертво. На разрушенной улице ее оторвали от материнского трупа туковские танкисты-победители. Они увезли ее в Великий Тук и сдали в провинциальный детский дом. Оттуда ее удочерила одна богатая столичная профессорша, сверхдальняя родственница Толстонольдика. Толстонольдик поэтому решила, что Новый Нольдик ей сестра. Профессорша обращалась с девочкой плохо. Странный Нольдик старательно избегала подробности, только сказала, что сбежала от профессорши, как только немного подросла.

— Куда сбежала? — не выдержала Соломония. — У нас не так просто куда-то сбежать!

— В строительное общежитие, — коротко ответила Нольдик.

Соломонию подмывало задать еще много всяких вопросов, но она все-таки не решилась. Она знала, что Странный Нольдик все равно не скажет.

Позднее монстр-профессорша удочерила другую девочку! И вскоре все повторилось. Новой девочке стало очень плохо у профессорши. Тут на помощь немедленно появилась Странный Нольдик. Они сбежали вдвоем! Таким образом, у Странного Нольдика появилась еще одна сестра.

А куда же при этом смотрели власти, недоумевала про себя Соломония. Она тогда работала в школе и знала, как школьная общественность и комсомол во времена расцвета тоталитарной симфонии влезали во все дырки и особенно в личную жизнь населения.

Но вот прошло много лет, продолжала Нольдик. Профессорша умерла, предварительно выйдя замуж за подлеца. Подлец еще жив, но стар и болен. Он претендует на профессорское наследство, роскошную дачу в двадцати километрах от столицы. А ее эта дача не интересует!

Она разыскала своего отца, бывшего работника наргемских органов. Он покался, исправился, очистился и прошел проверку на дефашизацию. До пенсии продолжал работать кондитером по довоенной своей профессии, а затем стал почтенным и уважаемым бюргером-пенсией. В начале новой эры при Пятнышке Странный Нольдик посетила историческую родину и видела своего отца. У него был собственный дом. Он уговаривал Странного Нольдика остаться.

Но она отказалась. Через год после посещения ею Наргемии отец умер.

— Почему вы не остались в Наргемии? — снова не выдержала Соломония.

— Были обстоятельства, — сдержанно ответила Странный Нольдик.

— Вы знаете наргемский язык?

— Нет.

— А как же вы беседовали с вашим отцом?

— А так как-то. — Странный Нольдик завертела руками перед своим лицом. И сказала, помолчав: — Я теперь хожу к ним туда по понедельникам... Помогаю...

— Куда?

— В наргемское общество.

— Вы хотите уезжать?

— Не знаю... — протянула Странный Нольдик. — Вообще-то хочу, но...

— У вас есть документы, что вы родились в Наргемии? Тогда у вас были бы все права.

— У меня ничего нет, — вяло сказала Странный Нольдик. — Но я собираю... Я все равно не уеду! — добавила она неожиданно и покраснела.

— Почему?

— Из-за нее!

— Из-за кого?

— Из-за Алитки.

— Это с которой вы убежали от профессорши?

Странный Нольдик молча кивнула. Соломония уже поняла, что никаких мужчин в жизни этой милостивой женщины никогда не было.

И вдруг Странного Нольдика коротко прорвало. Она быстро сообщила, что живет в однокомнатной квартире с Алиткой и Хасаном. Алитка — врач. Ей тридцать семь лет. Родить не может! Снова беременная! Ее замучили выкидыши! Хасан — шофер! Она, Странный Нольдик, спит на кухне.

Новые сведения немного ошеломили Соломонию. Больше Странный Нольдик на этот раз ничего не говорила, зато окантовала одиннадцать гравюр. У нее были воистину золотые руки!

До искусствоведения дело никак не доходило, потому что одолевали другие заботы. И главная из них — памятник.

Перед своим возвращением во Второй Тук скульптор Сиз сам начал считать жесткой металлической щеткой ядовитое зеленое покрытие. Краска исчезала с трудом, сопротивляясь изо всех сил, и оставляла на лице работника похожую на копоть черно-зеленую грязь. Работа продвигалась по-черепашьи. Но даже Сиз в итоге одобрил:

— Пожалуй, вы правы. Появляется эффект старой волшебной лампы!

— Ну, конечно! — сказала Соломония, обрадованная тем, что Сиз наконец понял, о чем она ему все время твердила. — Точно! Волшебная лампа! Сразу проявляется прозрачность в цвете, а тупость и глухота уходят. Потом мы чуть-чуть пройдемся шкурочкой. Может быть, кое-где подчеркнем, а может, и не будем... Ты когда уезжаешь, Сиз?

— Завтра.

Соломония огорчилась.

— Как мы тут без тебя? Тут такое количество работы — начать и кончить!

— Ничего, — сказал Сиз, протягивая Соломонии облезлую металлическую щетку. — Потихоньку все сделаете. Вот эта новая у вас сотрудница такая старательная. Она поможет.

— На нее одна надежда, — согласилась Соломония.

Усульманцы, как и обещали, привезли целый грузовик с досками, чтобы закрыть ими памятник и уберечь зрителя от бурных обсуждений его художественных достоинств задолго до официального открытия.

Но не тут-то было!

Доски украли в первую же ночь! Грязно-зеленые скульптуры сиротливо торчали на цементном прямоугольнике посреди огромной холодной лужи.

— А кто же будет заканчивать площадку? — спросил Дашир. Его тонкое восточное лицо сделалось таким же сумрачным, как и погода вокруг.

— Начальник одиннадцатого стройуправления Липка со своей командой, — сказал Хом. — Я видел, как он устанавливал памятник святотуковским монахам. Это человек грубый, но толковый. С ним можно иметь дело.

— Ладно, ребята, — сказала Соломония, — давайте не будем умирать, чтобы, как в старые добрые времена, непременно поспеть к определенной дате и угодить начальству. Хватит губить свои нервы и здоровье! А главное, за счет качества!

Она обратилась к помалкивающему Странному Нольдику:

— Вы можете мне с поверхностью?

У Странного Нольдика на лице ничего не изменилось. Она молча кивнула.

Зима накатывалась пугающе быстро. Соломония и Странный Нольдик лихорадочно использовали светлое время суток. Вот тут бабка Соломония особенно четко ощутила свою физическую хилость по сравнению со Странным Нольдиком. Они ежедневно встречались с утра до открытия музея и до прихода зрителей. Направляясь к памятнику, брали с собой лестницу-стремянку, металлические щетки, наждачную шкурку, тубик масляной черной краски и кисточки.

Лужа подмерзла. Пространства для работы стало больше. В начале декабря начались снежные бури и небольшие, но довольно чувствительные на свежем воздухе морозы.

Как только усильманцы получили деньги из своих фондов, Хом мгновенно появился около памятника с новым шефом строительных рабочих Липкой.

Еще издали Соломония услышала темпераментные высказывания. Липка почти кричал Хому:

— А пусть Арта, твое начальство, жопу оторвет от кресла, съездит к ним и потребует! Вот ей все дадут, она ушлая баба и знакома со всеми дармоедами в кабинетах. А я, брат, за все плачу наличными! Если ты говоришь, перевели деньги, значит, начинаем!

— Товарищ Липка, я проверил, деньги пошли. Сегодня ребята привезут платежку.

Липка немного подобрел от этих слов:

— Не называй меня товарищем, я этих товарищей, знаешь, где видел!

Липка смачно сплюнул.

Хом с готовностью засмеялся. Удовлетворенный Липка молча рассматривал памятник, возле которого копошились Соломония и Странный Нольдик.

— Ну как вам? — спросил Хом.

— А мне-то что? — сказал Липка, внимательно рассматривая памятник. — Это твоего отца?

— Да.

— Я вот сколько ставил. Пожалуй, у нас таких еще не было.

— У нас нет, а за границей много его памятников установлено.

— Да я уж видел в музее отливки-то... И в газетах читал...

Липка внезапно обратился к Хому на «вы»:

— У вас там, в музее, какие-то книжки со стихами...

— Да, это сборник стихов моего отца.

— По окончании работы каждому в бригаде по одной книжке! Одинадцать штук! С вашим автографом!

— Это очень легко и приятно сделать, — сказал обрадованный Хом, — только, к сожалению, мой автограф не имеет никакой ценности.

— Все равно! — кратко сказал Липка, прощаясь. — В понедельник начнем.

Хом был просто счастлив. Он тут же начал закуривать на морозе, с трудом уберегая в ладонях огонек от зажигалки.

— Какой брутальный тип! — сказала закутанная в телогрейку и серый шерстяной платок Соломония.

Она с трудом елозила щеткой внизу левой бронзовой фигуры, пока Странный Нольдик на самом верху стремянки очищала наклоненные овалы голов. У Тонконольдика дело шло значительно быстрее, чем у Соломонии.

— Ничего, ничего, — бодро сказал Хом. — Наконец-то сдвинется с мертвой точки. Липка здорово работает! Мы хотели сэкономить усильманские деньги. А в итоге что? Потеряли и деньги, и время! Если бы сразу договорились с Липкой...

Памятник приобретал все большую материальную плотность и бронзовое цветное благородство. Соломония и Странный Нольдик с сожалением уходили, когда начинало стремительно темнеть. Сильно утомленные, с грязными черно-зелеными лицами, они собирали свое имущество и потихоньку возвращались в музей.

— Вы все-таки слишком легко одеты, — сказала Соломония, обращаясь к молчащей всю дорогу Странному Нольдику.

Чтобы сократить путь, они шли не по улице, а через большой заснеженный сквер. Гуляли немногочисленные люди с собаками. Последние ребятишки с криками съезжали с огромной ледяной горки. Соломония вспомнила, как они гуляли с Соломеем и как она гулять не любила. И он ей всегда говорил: «Вот помру, ты будешь вспоминать наши прогулки и будешь жалеть...»

Соломония не позволила себе расстраиваться от воспоминаний. Она снова обратилась к Тонконольдiku:

— Я вот хочу вам сказать, мне прямо страшно смотреть, как вы в тонких колготочках и сапожках там наверху, на лестнице, вкальваете! У меня дома есть уникальные лыжные штаны. Мне мать купила их еще в детстве на вырост. Но только сейчас, к старости, они стали в самый раз. Я не смогла их сносить за всю свою жизнь. С годами, несмотря на многочисленные стирки, они делались только прочнее. Я их разглядываю иногда, люблюсь и удивляюсь такой долго-

вечности, такой отличной качественной продукции! Для меня это большая ценность. Но вам я могу их одолжить для работы над памятником. В них никакой мороз не страшен!

— Мне не холодно,— сказала Странный Нольдик.

— Да как же это не холодно? — изумилась Соломония.— Ведь насквозь пронзает и всю душу вытряхивает!

— А мне нет! Если мне будет холодно, я надену Алиткины шерстяные рейтузы.

Странный Нольдик внезапно замолчала.

— Посмотрите на небо! — неожиданно проговорила она, остановившись. Она прислонила стремянку к дереву и подняла руки.— Видите?

В тусклом, плотно-сером, без единой звездочки небе плыли едва различимые равнодушные облака.

— А что? — осторожно спросила Соломония.

— Видите ракетки? — У Нольдика вдруг сделался веселый молодой голос.

— А?.. Что вы говорите? — переспросила Соломония.

Лицо Странного Нольдика было удивительно одухотворенным. Соломония не столько увидела это в темноте, сколько почувствовала.

— Так и летают! Так и летают! — возбужденно говорила Странный Нольдик.— По всему небу! Красивые какие! Смотрите, смотрите!

Соломония молчала. Она решила, что ни за что не будет удивляться и пугаться.

— Видите? Видите? — настойчиво повторяла Странный Нольдик.

— Я вообще вдаль не вижу,— соврала Соломония. Именно вдаль она видела отлично, особенно это черное, враждебное небо.

Наступила долгая пауза. Некоторое время они шли молча.

— Улетели,— глухим голосом сказала Странный Нольдик.

Соломонию знобило и колотило. Она чуть не плакала от досады. Надо же— захворать в самый разгар работы над памятником! И это, несмотря на все предосторожности. Не хотелось вылезать из кровати, где, лежа под тремя одеялами и еще сверху рваной Соломоевой дубленкой, она никак не могла согреться. В последний приезд Ларк Айм привез какой-то новый чудодейственный наргемский антибиотик. Надо было его принять, а для этого встать, добраться до кухни, взять лекарство в ящике посудного шкафа.

С завываниями, клацая зубами, она начала осторожно высвобождаться из-под всех одеял. «Не буду мерить температуру,— вслух решила Соломония. Зачем портить себе настроение еще больше? Я и так знаю, что у меня тридцать девять. Не в первый раз и не в последний». Ее поташнивало, голова кружилась так сильно, что пришлось держаться рукой за стену, чтобы не упасть. Вот, Соломойка, все твои хворобы перешли ко мне. С тобой я не могла болеть. Не имела права! Я всегда должна была быть твоей молодой женой. А теперь я сама по себе бабка!

По дороге на кухню Соломония бросила взгляд на комнатный термометр и удовлетворенно отметила: плюс двадцать шесть градусов! Топят, как ненормальные, зато позавчера вообще все отключили: ни отопления, ни горячей воды. И даже холодной воды несколько часов не было. Все в нашей стране болеет! Люди, животные, государство, вещи. Улица болеет! Под ногами сплошные опасности — рытвины, колдобины, открытые канализационные люки. Того гляди, угодишь в какую-нибудь яму и все себе поломаешь. Всеобщее хроническое недомогание!

Господин Дуль, НЛЮ-пришелец, вертелся на холодильнике. Он приятно и равномерно жужжал, плавно взмывал вверх, затем мягко опускался. Сегодня он сверкал как-то особенно разноцветно и радостно. Соломония, увидев его, нисколько не рассердилась и не расстроилась.

Пока она дрожащими руками выдавливала из фольги серо-голубую пилюлю и медленно запивала ее кипяченой водой, НЛЮ забрасывал Соломонию упреками:

— Я от вас такого не ожидал! Коллега Странный Нольдик вам говорит: посмотрите, какие прекрасные ракеты! Само совершенство! Чудесные летательные аппараты дивной красоты! А вы? «Я не вижу, ничего нет!»

— Но я действительно ничего не видела. Ничего не было. Только мороз и безмолвие. Я не видела луны, не видела ни одной звездочки. Небо было черно и пусто.

— Ну уж нет! Небо никогда не бывает пусто. Это пусто у вас в душе и в голове.

— Нет, нет, нет! — не согласилась Соломония слабым голосом.— В голове у меня Бог знает что, сплошной шурум-бурум! А душа у меня болит, как и все тело! Теперь я понимаю, когда Соломой говорил, что душа болит физически, как больной орган, который можно потрогать. Раньше у меня ничего подобного не было, а теперь есть!

НЛО сел Соломонии на плечо и забухтел с придыханиями:

— Кошечку в Наргемии видели на крыше?

— Кота видела,— призналась она.

— А тарелочку летающую рядом?

— Тоже видела.

— А как внимательно животное слушало то, что ему говорит летающий объект!

— Было,— подтвердила Соломония.

— Вот! — удовлетворенно дунул ей в ухо НЛО.— А еще говорите, что красавиц ракет не было! Это, извините, провинциальный снобизм. У вас во всем крайности! На вашем куске суши все или черное, или белое. И сплошное кипение! Скучно, ей-богу! Скучно и утомительно! То безмерно во все верили. А теперь до чего докатились! Вообще все отрицаете. Полный нигилизм! Даже в то не верите, что за окном снег идет.

Соломония глянула в белесый просвет между занавесками. Снега не было. Она попыталась тихонько возразить:

— Бог с ним, со снегом. Я-то как раз кота видела и тарелку видела, а палский профессор-литературовед не видел. Значит, по-вашему, он тоже провинциальный сноб?

— Безусловно!

— Ну и слава Богу,— вздохнула Соломония,— значит, не мы одни такие безнадежные.

Она тихонько побрела в свою комнату. НЛО прыгнул Соломонии на голову и зазвенел ей в ухо нестерпимо громко. Соломония чуть не упала. Но она сбрала всю свою волю и через силу проговорила кокетливо:

— Не хулиганьте, пожалуйста, дорогой барабашечка! Крутитесь потише на моей голове, а то вы мне ее продырявите. Вас так давно не было, я даже соскучилась. Помогите мне выздороветь. Я уже уверовала в то, что вы все можете. Помогите! Мне надо памятник заканчивать!

НЛО соскочил с ее головы и с возмущенным гудением стал летать у нее перед носом.

— Зачем нам этим заниматься? — В его голосе слышалась обида.— Вам и без нас помогут! Вот эта дрянь! Наргемская отравка! Вы ее только что приняли. Большая химия!

— Спасибо,— прошептала Соломония. Она поймала волчок за рукоятку. Он на мгновение перестал вращаться и затих. Соломония согревала своими пылающими руками его холодное металлическое тело. Она погладила сверкающий полированный бок.

НЛО тихонько загудел. Она поднесла его к губам и поцеловала. Потом облизала губы и слотнула слюну с кисловатым привкусом жестянки.

— Может быть, я буду давать вам показания,— примирительно сказала Соломония.

НЛО тихонько захихикал и снова зазвенел — во втором ухе.

— Вы что думаете, я хотя бы одну минуту в этом сомневался? Всеу свое время!

Он примостился на подушке рядом с ее головой. Соломония лежала без сна и тихо пела песню далекого детства про раненого командира, шагающего под красным знаменем. НЛО не в такт подвывал. Но Соломонию это не раздражало. Она снова и снова напевала одни и те же слова: «Голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве».

НЛО неожиданно закаркал сердито:

— Нет, нет, другое, другое!

Соломония повернулась на бок. В тысячный раз она попыталась расслабиться и закрыла глаза. Сна не было. Но она немедленно очутилась в стылом швейном цехе. Рядами стояли столы со швейными машинками. Помещение освещалось двумя голыми лампочками. На цементном полу повсюду валялись пучки соломы. За машинками работали бесформенного вида тетки в телогрейках, платках, ватных штанах и валенках. Несмотря на холод, сильно пахло застарелой грязью. Единственный мужчина в драной ушанке сидел за первым столом. Соломония тут же узнала Соломою. Он, как и все в цехе, шил рабочие рукавицы. Люди шили, прошивая себе насквозь пальцы. Все столы были залепаны липкой кровью. Отдираемая от рук продукция бросалась в большую вагонетку, стоявшую между рядами. Изредка какая-нибудь женщина подходила к Соломою и тихонько у него что-то спрашивала. Он внимательно слушал, затем так же негромко отвечал. Женщина кивала головой и уходила на свое место. Лица у женщин были сверхобычные. Некоторые помоложе иногда чему-то смеялись, переговариваясь друг с другом.

Неожиданно распахнулась дверь и стало еще холоднее. Вошли два солдата в шинелях. Один остался в дверях, другой сразу же подошел к Соломою и коротко сказал:

— Пошли!

Соломой не спеша встал. Он поплотнее нахлобучил ушанку, запахнул телогрейку и потуже затянул ее обрывком грязной веревки.

Соломой был один в цехе. Женщины исчезли.

— Давай быстрее! — поторопил солдат.

Соломой вышел из цеха и сразу же увидел большой открытый грузовик. Все женщины были в кузове.

— А вас-то за что? — спросил Соломой.

— А как же? — ответил женский голос из глубины кузова. — Ты наш бригадир, мы с тобой... Нас тоже...

Соломония громко застонала и села на кровати. Насквозь мокрая пижамная куртка холодила тело. НЛО исчез. С удивлением она почувствовала, что температуры у нее явно нет. Кажется, оклемаюсь, не веря сама себе, подумала Соломония. Вот какой хороший антибиотик! Спасибо тебе, Ларк, дорогой мой наргемчик! Что бы мы без вас, наргемцев, делали и тогда, и теперь!

Она начала сама себя уговаривать: сейчас потихонечку приму душ, посиленнее разотрусь махровым полотенцем, напьюсь чаю с медом, буду расслабляться, буду думать о хорошем. Кыну почитаю для душевного успокоения. Теперь, когда она уволилась, такой чувствительной абракадабры больше никто не напишет. Надо иногда перечитывать старую. А главное — не спешить, не психовать, все делать медленно, плавно, не совершать резких движений...

И на работу!

С каждым днем памятник становился все красивее, а проходящие мимо граждане все злее. Беседы с народом в основном вела Соломония. Станный Нольдик молчаливо вкалывала на стремянке. Она уже дошла до внутренних крестов. Соломония никак не ожидала, что работа будет такой длительной и тяжелой.

Появилась Липкина команда: четыре мужика и пять женщин. Они были одеты все в те же телогрейки, шапки-ушанки и платки. Перед тем, как идти к памятнику, они так же, как и Соломония со Станным Нольдиком, переоделись в музей в смотрительской комнате.

Соломония орудовала щеткой, стоя внутри скульптурного треугольника. Иногда она смотрела в небо и ей казалось, что она маленький благоговейный язычник, который, случайно очутившись внутри громадного храма, вдруг навсегда уверовал в то, что называется Богом.

Дорожники начали укладывать плиты. Иногда кто-нибудь из рабочих вынужден был вступать в разговор с прохожими.

— Это не мы, мы здесь ни при чем, — оправдывались рабочие. — Мы свою работу делаем.

— Это кому же нужен такой памятник? — нервно настаивал один прохожий.

— Вон у них спросите,— сказал рабочий, указывая на Соломонию.

У Соломонии вид был бледный после болезни. Выпученные глаза слезились на ветру, седые космы выбивались из-под платка.

— Скажи, бабка, кто это все придумал? Что все это обозначает?

Человек был среднего возраста и чрезвычайно агрессивен.

Соломонии не захотелось его умиротворять, сил не было.

— Дед, ты почему такой тупой? — сказала она.— Посмотри повнимательней, неужели ты не видишь, что это три стоящие фигуры и у каждой в груди крест?

— Нет, не вижу! — злобно сказал человек.

— Ну, если не видишь, тогда иди...

Человек ушел с проклятиями. Соломония немедленно себя осудила. Нельзя так разговаривать с людьми. Была же когда-то учителем! Объясняла по сто раз одно и то же! Нельзя пренебрегать, нельзя уставать...

Больше она себе такого не позволяла.

Хитренькая женщина остановилась около. Она долго хлопала глазами, прежде чем что-то сказать.

— Хмы,— наконец сказала она и опять замолчала.

— Вы что-то хотите спросить? — сказала Соломония.

— Что это такое? — сказала наконец женщина. Лицо ее сделалось еще хитрее.

— А как вы сами думаете? — спросила Соломония сверхдоброжелательно.

Женщина помолчала. Потом сказала быстро:

— Скорбящие матери! — И опять замолчала. И снова спросила: — Это кому? Усульманцам?

— Усульманцам. Да вы и сами все знаете,— сказала Соломония.

— Сколько народу зазря погубили,— проговорила женщина, уходя, и осуждающе посмотрела на Соломонию.

Соломония наблюдала за тем, как работает Липкина бригада. Самого Липки не было. Он изредка наезжал в течение дня. Соломонии он что-то буркал вместо приветствия, потом недолго разговаривал с рабочими и уезжал. Люди работали на редкость неторопливо. Они не спеша грузили на носилки песок, цемент, щебенку, затем очень медленно наклонялись, еще медленнее поднимали носилки и тихо несли к нужному месту. Они тщательно рассчитывали и бережно расходовали каждое свое движение. Они почти не разговаривали друг с другом. Иногда они с любопытством поглядывали на то, как Соломония и Тонконольдик копошатся возле скульптур, но почти ничего не спрашивали. Соломония удивлялась: работают на вид медленно, еле шевелятся, а дело идет очень быстро.

— Ой, какие чучелы! — обозвал памятник пробежавший мимо молодой парень.

Рабочие, катившие на тележке полированный гранитный прямоугольник, усмехнулись.

— А зачем вот эти гранитные тумбочки? — спросила женщина-рабочая с непроницаемым лицом скифской бабы.

Соломонию всегда притягивали такие лица своей каменной таинственностью.

— Для надписей,— ответила Соломония.— На передних двух будет написано: «Воинам-водногрязцам, погибшим в Усульмании», на другом — дата ввода войск и вывода. Сзади, на третьем камне, название: «Памятник оставшимся без погребения», а на четвертом — строка из стихотворения: «И кровь детей текла, как кровь детей!»

Подошел очередной прохожий.

— Ну и пугалы! — проговорил он.

Соломония уже раскрыла рот, чтобы с ним побеседовать, но тот быстро зашагал прочь.

Были и такие, кто не ругал. Молча смотрели и уходили. Кое-кто даже хвалил. Но мало!

— Вот и новая церковь! — весело прокричал хмельной прохожий.— Давайте все как один будем на нее молиться!

Подошли еще трое молодых.

— А мы все это взорвем, — сказал один. Остальные одобрительно захохотали.

Соломония подошла к ним.

— Как же вы так говорите? Ребята-усульманцы погибли. Их товарищи поставили памятник, а вы хотите его взорвать! А если бы вам пришлось там воевать?

— А что это такое? — сказал один парень. — Почему ничего непонятно?

— Неужели вам действительно непонятно? — удивилась Соломония. — А вот усульманцы сами его выбрали. Они тоже не профессора и не искусствоведы. И вам все будет понятно, если захотите понять. Вы не привыкли к такой форме. Но, по существу, это очень простой памятник.

Недовольная старуха провезла на санках полулежащего, укутанного до неподвижности младенца. Она пробурчала, отворачиваясь:

— Понаставили столбов!

Второй парень, от которого слегка пахло водкой, сказал:

— Ну, ясно, что это матери. А почему кресты не наши? Без перекладины? И усульман там тоже много было. Всякие нации были!

— Потому что это не наш крест и не ихний. Это человеческий крест. Потому что говорят: «Нести свой крест». Это крест, который несет в себе каждый. А здесь крест по погибшему ребенку! Потому что вечная тяжесть, вечная боль и горе...

Неожиданно парни согласились и даже начали кивать головами.

— А когда у вас открытие? — спросил который грозился взорвать.

— В следующее воскресенье.

— Мы придем.

Вечером в музее Хом протянул Соломонии письмо.

— Вот, почитай. Это мне Арта дала, ей переслали из префектуры.

В письме было написано аккуратным почерком: «У нас в районе, недалеко от здания бывшего райкома партии, есть сквер. В нем всегда много отдыхает людей. И вдруг установили композицию из трех скорбящих женщин с крестами в груди! Все ахнули! О чем скорбят здесь эти женщины? О нашей жизни, о пустых полках рядом стоящего универсама или разогнанном райкоме партии? Проходящий, перекрестись, только скорбь и слезы спасут нас! Так, вероятно, думают районные власти? Почему эти скорбящие тети стоят здесь, а не на кладбище? Кому угрожаете вы, наши районные власти? Лавочки поломали, для детей нет песочницы, фонтана! Не накаляйте страсти, дайте людям немного счастья! Борзых Тукерья (пенсионерка)».

— Она права, — сказала Соломония и произнесла речь: — Целый день мы на морозе вкальваем на ногах. В таком огромном сквере ни одной лавочки, чтобы посидеть. И не нужно ссылать памятник на кладбище, не нужно обижать оставшихся в живых усульманцев. Бывшая безразмерная лужа, на месте которой установлен памятник, никогда больше не вернется. Веселые ребятишки на благоустроенной площадке будут играть около грустного памятника. А их бабушки будут отдыхать на удобных скамейках и наблюдать за внуками. Скамейки запроектированы...

— Как раз на скамейки денег уже нет, — перебил ее Хом. — На памятник еле-еле наскребли, а на скамейки надо ждать лучших времен.

— А вот этого мы с пенсионеркой Тукерьей Борзых ни за что вам, районные власти, не простим!

Никто не ожидал такого количества людей. Почетный караул в парадной форме отделял народ от завернутого в парашют памятника.

На утреннем чистом снегу толпа вокруг выглядела необъятной черной массой. А люди все прибывали; одна лавина шла от метро, другая — со стороны музея. Пришел Чернушечкин папа, полковник в отставке, одетый по всей форме и в обязательной каракулевой папахе. Усульманская охрана немедленно пропустила полковника вперед из-за его высокого звания и солидного вида. Младшие школьники парами, держа в руках цветы, перебирались через дорогу во главе с учительницей.

Первым выступил Антох. Он рассказал, что прошло два года после ухода туковских войск из Усульмании и пришла пора поставить памятник погибшим. Антох говорил просто и ясно. Затем выступил Хом, он говорил интеллигентно. Он подчеркнул, что памятник ставится всем туковским убитым усульманцам, независимо от расы и веры. Это он намекал на то, что хотели прислать церковного начальника, а поскольку служителей культа других религий собрать было невозможно, то и этого не надо. Тем более что именно этот высокопоставленный священнослужитель, которого хотели пригласить, сам издавна состоял в органах. И, когда началась эта преступная война, он не только никак не сопротивлялся ее ведению, а, наоборот, соучаствовал. Ездил за границу и рассказывал о великотуковской мирной и богоугодной политике. Потом выступали матери, потерявшие детей. Они говорили чрезвычайно нервно и обвиняли власти. А еще одна мать убитого сына хвалила туковскую армию. Она говорила, что армию уже несколько лет все ругают и это несправедливо.

Тут как раз подоспел вице-Скиф, сам бывший усульманец. Усульманцы очень его ждали и боялись, что он не приедет. Он был самый большой начальник на открытии. Ни Скиф, ни частное нынче лицо Пятнышко не приехали. Вице-Скиф, красивый мужчина с пышными усами, сказал обычную речь. Как только он произнес слова: «Погибло пятнадцать тысяч человек», из толпы раздался истошный крик: «Вранье! Не пятнадцать тысяч, а сто пятьдесят!» Вице-Скиф замолк на секунду, затем произнес рассудительно:

— Не надо кричать, мы с вами не на митинге.

Усульманцы стали тихо, но грубо успокаивать кричавшего, а вице-Скиф довел свою размеренную казенную речь до конца.

Впереди стояли люди со свечками, в основном женщины. Соломония находилась в плотной человеческой толпе. Она утирала варежкой слезы, слушая траурную музыку, и думала о том, что до самой смерти Соломою, который без памяти любил эту страну и пролил за нее столько крови, как таракана морили в подвале за то, что он рисовал и лепил не по их правилам. А теперь перед его памятником марширует государственный почетный караул и стреляют вверх из винтовок.

Она увидела знакомые лица: Подвалыч, папа Фаина Персика, Ганя Шумер, Фотий Второй, артист Веник, Башкат с Башкатой и даже Дурнай!

Когда сдернули покрывало, Соломония удивилась, услышав рыдания. Она очень боялась этого момента. Она приготовилась ко всеобщему вздоху разочарования и ропоту неодобрения. Но ни того ни другого не последовало. Как только караул удалился парадным шагом, толпа немедленно устремилась к памятнику.

Хом успел познакомиться с вице-Скифом после окончания его выступления. Он спросил, нравится ему памятник или нет. Тот стоял к скульптуре спиной, видеть ее никак не мог, но все-таки кивнул Хому утвердительно. После этого вице-Скиф мгновенно отбыл.

Знакомые подходили к Соломонии и поздравляли.

— Здорово все сделано! — сказал смягчившийся от всего увиденного Подвалыч. — Памятник хороший, и открытие прошло нормально!

От Подвалыча похвалы сроду не добьешься.

Веник ругал вице-Скифа:

— Хамло! Когда я сюда ехал, его охрана чуть не скинула мою машину в кювет! А эта истеричная мамаша, которая кричала, какая у нас замечательная армия!

— Будь понисходительнее к женщине, у нее на войне сына убили! — сказала Соломония.

— Ненавижу я эту официальную гадость! — сказал Веник.

Башкат и Башката, такие симпатичные, стояли рядом с Соломонией, и ей было приятно, что они просто так стоят и молчат.

— По-моему, я видела Дурная, — сказала Соломония. — Или мне это показалось?

— Нет, — со вздохом подтвердил Башкат, — вам не показалось, но он уже там!

Перед концом церемонии Антох объявил, что желающие помянуть усульманцев должны подойти к грузовику неподалеку от памятника. Машина доверху была заполнена водкой. Там стояла длинная очередь жаждущих.

— Понятно,— сказала Соломония,— значит, сегодня мы Дурная больше не увидим.

Многие друзья и знакомые пошли в музей. Соломония провела экскурсию для особо любознательных посетителей. Хом, Чернушечка, Арта и более высокое местное начальство поехали в усульманский клуб, где намечалось дальнейшее празднование.

Соломония со всеми распрощалась, еще раз поздравила и поблагодарила Странного Нольдика, поговорила со всеми зрителями; все они любили музей так же горячо, как и уволившаяся Кына Акын, только стихов не писали.

Зал постепенно опустел. Зрители выключили свет на втором этаже из-за экономии электроэнергии. Соломония потихонечку оделась и направилась к метро. Уже смеркалось, когда она подошла к заваленному венками и цветами памятнику. Несколько усульманцев с гитарой, стоя у его подножия, сорванными от надрыва голосами пели свои почти нестерпимые по незамысловатости и трогательности песни. Над ними возвышались три темные фигуры. Казалось, что, распространяя мудрость и покровительство, они защищают молодых от грядущей неизбежной беды.

Боже! Боже! Что творится с пасторалью? Она съезживается, скукоживается, шелушится и осыпается, не в силах вынести такое количество потрясений. Сколько всего произошло за два года!

Произошло новое событие — явление Хама народу. Из великотуковского колониального небытия возник человек по имени Хайтлер. Десять дней подряд перед последними выборами он гримасничал по телевидению. Круглосуточно! За это платил ТВ большие деньги. Он сидел в красном пиджаке и галстучке-бабочке. Его яркая одежда еще сильнее оттеняла бледную иступленную физиономию. Он сообщил, что его мать — чистая туковка, а отец — тукрист. Он создал новую партию. Он понравился избирателям. Он победил на парламентских выборах. Может быть, Хайтлер не совсем Адольфер, поскольку отец тукрист, но все равно! Он пообещал вернуть империю — Великий Тук. Толпа около метро Тукольники рукоплескала. Он сказал, что у Тука есть новое, неслыханное по разрушительной силе оружие и он не побоится его применить. Он сказал, что завоюет усульманский мир, а всех тукреев выселит на необитаемый остров. Он сказал, что все нации будут сидеть на своих местах и он не разрешит им никуда ездить. Он сказал, что поделит планету с Наргемией и Риамекой на три части. Он сказал, что туковские солдаты, одетые в элегантную летнюю форму, помогут пыльные сапоги в завоеванных теплых морях.

Соломония цепенела от ужаса, глядя в телевизор на плюющего страшными словами рыжеватого человека с кудряшками и неподвижным голубым взглядом. Он напоминал не Адольфера из двадцатого века, а совсем древнего императора Ренона, который любил петь на стадионе при большом скоплении народа. Но тогда еще не было усилительных установок и телевидения. После пения Ренон отдыхал и наслаждался, когда по его приказу на том же стадионе сжигали людей живьем или скармливали их львам и тиграм. Публика любила такие зрелища. Она обожала своего императора и ценила его певческий дар. Хайтлер тоже пел. Его истошное соло из обещаний, перемешанных с угрозами, звучало, как возрожденная тоталитарная симфония. Иногда проявлялись ярко выраженные фальшивые ноты, когда он исполнял арию о частной собственности. Лирическое ариозо было самым запоминающимся: «Мальчик, хочешь каждый день кушать шоколад «Шнукерс»? Скажи маме, чтобы в воскресенье проголосовала за меня. Лесбиянки и гомосексуалисты, я, как и вы, смолоду был обделен в личной половой жизни, и я вас понимаю! Приходите в воскресенье на избирательный участок, голосуйте за меня! Когда я стану президентом, вы будете свободно заниматься любовью сколько хотите, в любое время и в любом месте! Домохозяйки, я такой же, как вы, как вы, мне самому приходилось выносить мусорное ведро, спускаться с восьмого этажа. Пьяный слесарь не являлся, чтобы прочистить мусоропровод. Приходите в воскресенье на избирательный участок, я разберусь с нерадивыми сантехниками! Женщины Тука! Я научу вас печь

пышные вкусные пироги, не такие, как сейчас, а как это всегда делалось у нас на Родине, в Великом Туке. Приходите в воскресенье, я дам вам новые кулинарные рецепты! Я знаю свой народ! Я знаю, что вам надо! У каждого на столе будет пол-литра, сыр, масло, колбаска, салатик, свежий батон, соленые огурчики, лучок, чесночок, квашеная капуста, вобла, карамель и красненькое. Рабочие и крестьяне, вы имеете полное право на дешевую водку! Преступники-демократы искусственно взвинтили цены. Но я это прекращаю! Приходите в воскресенье на участок, и уже в понедельник водка будет стоить, как и раньше, два восемьдесят семь!

Некоторым было смешно. Бабке Соломонии было страшно. Но в массе своей туковское население не разделяло ее опасений. Люди послушно пришли на избирательные участки и проголосовали правильно, как призывал Хайтлер. Большинство избирателей всей страны за исключением двух столичных городов проголосовало за Хайтлера! Его партия прошла в парламент на первое место, и Хайтлер уже начал там скандалить.

Самик незаметно подрос и стал студентом. Он поступил в университет на юридический факультет. Он так много и усиленно занимался, что, приходя с очередного экзамена, валился на диван и стонал от изнеможения. Самик был из тех умников, которых близкие уговаривают не учиться столь разрушительно для здоровья, чтобы не заморить себя до смерти. Он даже представить себе не мог, что не поступит в университет! Только Соломония все время внушала ему, что жизнь не кончается, если не поступишь в этом году в высшее учебное заведение. Тем более что ему не грозила туковская армия с ее маразмом и дедовщиной. Самик не желал слушать эти увещевания и назвал говорил, что хотел бы служить в армии и нечего ему тыкать эту сомнительную привилегию, за которую он вынужден расплачиваться своей правой рукой.

Он поступил в университет!

Для него это было важно, как первый и серьезный жизненный успех. Когда он отдохнул и отоспался, стало заметно, какой это милый миниатюрный юноша. Он наотрез отказался от протеза. А поскольку левой рукой и двумя пальцами на правой он мог делать практически все, даже завязывать галстук на шее и шнурки на ботинках, Соломония от него отстала.

Самик разговаривал громко и безапелляционно, как все самоуверенные подростки. Он солидно рассуждал о том, что нельзя допустить, чтобы Тук согласился на единую тукчиковую зону с бывшими республиками, так как это верный путь к гиперинфляции и все усилия по реформе окажутся напрасными. Он все знал и любил поучать взрослых.

Самик совсем не боялся Хайтлера! Его кумиром был вице-премьер Круглыш. Он считал, что Круглыш, основатель экономической реформы, которому дяденька премьер Морд связывает руки, должен в знак протеста уйти в отставку.

— Вот-вот, — мрачным голосом согласилась Соломония, — Круглыш уйдет, за ним министр финансов Пузыш, потом приватизатор Рыжайс. Останется один Хайтлер! Туковцы выберут его президентом, и он с пенсионером Скифом будет играть в шашки, удить рыбку, ходить в баньку. А в перерывах Хайтлер будет нас убивать!

Изумительное гинекологическое кресло, немного покореженное и кое-где ржавое, валялось недалеко от подвала, рядом с кафе. Непонятно, почему оно там очутилось. В кафе бывает совсем другая мебель. Доставая себе большое удовольствие в привычных странностях по свалкам и помойкам, Соломой увидел это огромное женское медицинское сооружение и тут же его захотел. Он бросил на него цепкий вожделенный взгляд и, опасливо оглянувшись вокруг, сказал приглушенно:

— Как стемнеет, пойдём!

Соломония робко возразила:

— По-моему, оно очень тяжелое!

— Ты молчи! — гневным шепотом сказал Соломой. — Если не хочешь тащить, я Хома позову. И вообще, почему ты так часто возражаешь?

— Потому что весь подвал и лоджия в квартире забиты металлоломом!

— Ну и что! Да если бы я сделал из всего из этого только одну скульптуру, и то все было бы оправдано! А я уже сколько сделал!

— Это верно, — согласилась Соломония, — только сил не хватает!

— Хватит сил! — сказал Соломой. — Стыдно тебе, старуха, жаловаться, ты еще молодая!

Наступали самые приятные моменты подвальной жизни. Соломой расчищал посреди большой комнаты свободный пятачок для работы. Подвал по углам подплывал грунтовыми водами. Он расплзался и лопался от нагромождения шедевров и подсобного уличного материала. И уже почти негде было ходить, тем более работать. К работе нужно было тщательно готовиться.

Соломония обожала быть подмоганцем. Ей нравилось придерживать детали, подносить инструменты, перетаскивать мешки с гипсом, здоровенным молотком размельчать сухую зеленую глину в старом корыте, затем заливать ее водой из ведер, помятых от долгой жизни и тяжелых от налипшего изнутри гипса. Были еще обязанности не очень любимые — подметать лестницу, немислимо замусоренную проходящим мимо населением, и выносить мусор из подвала. Грязи накапливалось безумно много и постоянно. Соломония использовала любое посещение своих бывших учеников Гани Шумера и Фаина Персика, чтобы они выносили этот мусор.

Соломой устраивал авралы по уборке помещения. Иначе бы совсем заросли и покрылись мхом и коростой. Все под его руководством, включая Толстонольдика и индивидуалиста Хома, не любившего труд в коллективе, даже семейном, что-то убирала. В основном выносили грязь. Соломония в эти дни им не помогала. Она ходила в магазин, покупала еду, кипятила чайник, бесконечно мыла посуду. Пока ели-пили, все темпераментно обсуждали туковскую жизнь.

Самый кайф наступал, когда Соломой на временно расчищенной небольшой подвальной площадке начинал новое произведение. Он осуществлял свое недавно созданное направление — «Искусство эпохи равновесия страха». В такую серию входили крупные циклы «Гроб-Арт» и «Железные пророки», а также другие большие и маленькие объекты из свалочных накоплений. Сколоченные Соломоем гробы из неровно струганых старых пыльных досок с «Гроб-мужчиной», «Гроб-женщиной», «Гроб-девушкой», «Гроб-ребенком» и стоячим «Автопортретом в гробу, в кандалах и с саксофоном» занимали особенно много места.

Накануне оба чуть не померли, когда ночью по узкой подвальной лестнице с огромными усилиями еле затащили кресло в подвал. Вокруг желтого гинекологического трона лежали собранные на помойке необходимые железные детали: драгоценные канализационные трубы, оставшиеся от замены на новые после очередного потопа, и разнообразные моторы от станков, холодильников, мотоциклов и прочих предметов, происхождения которых никто из окружения не знал.

Работая, Соломой и Соломония односложно переговаривались:

— Подержи!

— Вот здесь?

— Ну давай!

— Держу!

— Пододвинь ногой!

— А не упадет?

— Сейчас клинышек подобью!

— Ой!

— Молодец! Держи! Держи!

— Не могу!

Соломой и Соломония успели вовремя отскочить, когда постройка рухнула.

— Ну как? — с тревогой спросила Соломония. — Не ушибло?

— Да нет, все нормально. Перекосило слегка. Но зато теперь я понял, как делать, — сказал Соломой, — больше не упадет. Она будет сидеть на кресле откинувшись.

— А где ее голова?

— А вот видишь на подоконнике мотор с дырками?

— Хорошее лицо!

— Отличное! Теперь понимаешь, какое роскошное кресло? А ты не хотела его тащить! Ее зовут «Железная леди»!

— А канализационные трайники будешь крепить?

— Только составлю. Но крепить не буду! Я ведь ее тоже завещаю Ларку, а если скрепить, он ее не увезет. Она будет совершенно неподъемная. И из подвала нельзя будет вытащить. Мы вон с тобой пустое кресло с трудом втащили.

— А как Ларк потом снова ее составит?

— По фотографиям.

— А он сумеет?

— Сумеет.

Соломония недоверчиво качала головой.

— Трудно без тебя это скрепить!

— Ларк сможет. Второе название у нее «Современная Даная»!

— Похоже. Только труба между ног и вот эти чугунные культы очень страшные! А уж про лицо я вообще не говорю...

— Хорошая! — сказал Соломой. — Хорошая скульптура. Я доволен!

Соломой был последним, с кем Стюк и Цеп провели воспитательную работу, посетив его на дому. Мероприятие завершилось, и настала пора призвать распутившихся художников к порядку. В последнем апреле своей жизни, когда Соломой чувствовал себя все хуже и хуже, газета «Водногрязская правда» опубликовала большую статью. В основном бранили тех, кто не состоял в творческом Союзе, но имя Соломой тоже было упомянуто. И был поставлен вопрос: до каких пор этот скульптор и два других художника, один — живописец, другой — график, будут терпеть, чтобы их имена использовались за границей в грязных антиутоковских целях? Несмотря на угрожающий тон, чувствовалось, что власть обессилела, сама с трудом удерживает круговую оборону и с помощью нехорошей ругани может только делать вид, что она так же непобедима, как раньше.

Соломой чувствовал себя так скверно, что почти не прореагировал на новое вторжение художественно-партийных руководителей в его хрупкое существование. Они с Соломонией и Хомом решали другую проблему: ложиться в больницу или нет? Соломой припекло так сильно, что надо было что-то делать.

Помог артист Веник. Веник и в жизни пытался оставаться в роли благородного мушкетера, которого он сыграл в кино. Этой ролью он покориł почти всех молодых в Великом Туке. Покориł некоторых и не очень молодых.

Мушкетер Веник предложил:

— Я брошусь перед ней на колени и скажу: «Великому художнику нужна помощь. Ваш кардиологический центр — самый лучший в нашей стране...»

— Что-то не верится, — сказал Соломой.

— Она, естественно, про тебя не знает, — сказал Веник, — но мой театр они с мужем, тоже профессором, очень любят. У нас в стране одна-единственная такая больница! Она в этой потрясающей клинике среднее начальство — заведует отделением и может положить к себе кого хочет. Мы с Феником дружим с ними семьями.

Популярному артисту Венику отказать было невозможно, так же как и его жене, роскошной, шикарной, непререкаемой суперкрасавице театроведке Фенику. Никто не мог отказать Венику и Фенику!

— Если б вы знали, ребята, до чего же мне неохота в больницу! — сказал Соломой печальным голосом.

Он сидел на своей кровати в бледно-сиреневой байковой рубашке, и лицо его было такого же цвета, как эта рубашка.

— Там отличные условия, — убеждал Веник, — палаты почти все на одного или на двоих, с собственным туалетом и душем.

— А родственникам разрешают там находиться постоянно? — спросила Соломония.

— Тебе разрешат. Во всяком случае, я попрошу.

— Я не смогу без Соломонии, — сказал Соломой.

— Ну конечно! — согласился Веник. — Мы с Феником все сделаем.

Имея богатый больничным опытом, Соломой ужасно не хотел в больницу, хотя сердечные приступы случались у него почти каждую ночь. Он думал, что у него есть еще несколько свободных дней. Если Веник договорится, в больницу положат после майских праздников. Но оказалось не так. Женщина-профессор, услышав о приступах, сказала, что ждать опасно и надо лечь немедленно, пока имеется свободная одноместная палата.

В Великом Туке любили популярных артистов и с удовольствием помогали им самим или же их друзьям. Более того, лечащий врач, тоже удивительно милая и любезная женщина, разрешила Соломонии оставаться с Соломеем в его палате на ночь, а не только в течение всего дня. Но просила никоим образом это не афишировать. Соломония захватила с собой раскладушку и шерстяное черно-красное клетчатое одеяло, с которым она в далекие времена, когда еще работала в школе, ходила с детьми в туристические походы. С утра раскладушку можно было складывать, приставлять к окну, а для сокрытия вешать на нее одеяло, как будто это необходимый больному плед. Если раскладушки не видно, никто не поймет, что здесь кто-то еще ночует...

Они вдвоем медленно шли нескончаемыми больничными коридорами по ковровым дорожкам на сверкающих паркетных полах. В просторных холлах у цветных телевизоров сидели в мягких креслах больные. По углам стояли пальмы и фикусы. Они рассматривали висящие на стенах подлинные картины современных туковских художников в полированных рамах. Пейзажи, натюрморты, изображения лучезарных туковских тружеников на работе или на отдыхе распространяли покой, безмятежность и официальную доброту. Дряхлые вожди, правящие перед Пятнышком, запоздало пытались через искусство внедрить в массы особую, как они утверждали, нигде больше в мире невиданную и неслыханную туковскую доброту. Но висящие на стенах холсты эпохи распада констатировали только распад. И больше ничего! Власть силилась не поощрять больше кровожадность и нетерпимость. Но для системы это оказалось противопоказано и нежизненно. Ее стараний никто не замечал.

Навстречу попадались пациенты, одетые в домашние спортивные костюмы. Все с неестественно здоровыми розовыми лицами. У многих из карманов торчали маленькие, похожие на плейеры, приборы-датчики. Их тела в разных направлениях опоясывали черные проводки. У Соломою было такое же, как у других, ярко-розовое лицо больного-сердечника, напичканного нитратными препаратами.

В этом кардиоцентре все было не так, как везде в Туке. Врачи внимательны, персонал вежлив: входя в палату, все стучались, что вообще казалось невероятным!

За полтора месяца пребывания в клинике туковские врачи несколько раз вытаскивали Соломою с того света. Это были очень хорошие врачи!

Многое из того ужасного, что случилось с Соломеем в клинике, он коряво записал слабой рукой, лежа в своей маленькой комфортабельной палате. Наилучшей формой для подобного самовыражения оказался верлибр. Соломой имел неумолимую потребность все, что с ним происходило в жизни, обязательно переводить в искусство. В данный момент верлибр являлся для него самым подходящим и доступным способом. Соломой изображал все, что хотел, не сообразуясь с чувством меры. Соломой не щадил грядущего читателя, он не боялся шокировать его чувства приличия и надрывать его нервы. Он не был уверен, что читатель этот вообще появится. А если и появится когда-нибудь не скоро, то все будет восприниматься по-другому. Время все сгладит и узаконит. Его смелость творца восхищала Соломонию, но и безмерно пугала. Она считала, что именно из-за Соломоевых «Мутаций» Самик родился с покаленной рукой. В этих рисунках Соломой нарисовал такие руки и такие ноги! Он сам сильно страдал из-за Самиковой руки. Он соглашался, что это из-за «Мутаций», но никогда не сожалел, что нарисовал их. Почти каждый художник знает, что рок преследует его всю жизнь и бороться с этим бесполезно. Соломония тоже знала неистребимую силу рока. Она постоянно находилась под гнетом одного из простеньких Соломоевых стихотворений:

Кожа ключьями облезает со стен
 Издает паркет стон
 С потолка на голову сыплется перхоти мел
 Я прошу раскрыть надо мной зонт
 Нет
 Говорит старший сын
 Квартире нужен ремонт
 Ремонт это «Заря»
 Белых стен свет
 Раздается звонок в дверь
 На пороге стоит Смерть

Соломой не зря сделал сноску: «Заря» — фирма бытовых услуг, производящая ремонт квартир». Это указание свидетельствовало о том, что Соломой все-таки заботился о читателе в далеком будущем, который может и не знать, что такое «Заря» в кавычках. Он не ожидал, что музей...

Вслед за Кыной уволилась Странный Нольдик. Она обиделась на Хома за то, что, меняя экспозицию, он с ней сначала посоветовался, а затем все расставил и развесил не так, как она сказала, а как якобы предлагал Фотий Второй.

— Что же вы людей не цените! — огорчившись, сказала Соломония.

— Дело не в нас, — возразила Чернушечка. — По-моему, с ней что-то происходит. Согласитесь, что она странный человек.

— А мы все странные, — сказала Соломония. — Не странен кто?

— Ничего этого не было! — возмутился Хом. — Это просто предлог. Я посмотрел ее трудовую книжку. Она нигде еще не работала более двух лет.

— Я никогда не забуду, как мы с ней вкалывали над памятником! — сказала Соломония.

— Я ее не увольнял! — воскликнул Хом. — Она все путала! Вместо библиотеки иностранной литературы поехала в Историческую. И всех там убедила, почти добилась оплаты за нашу печатную продукцию, которой они и в глаза не видели! Когда летели после выставки из Новотундровска, в самолете всех напугала. «Смотрите, смотрите, ракетки летят, ракетки летят!» Я ей ни одного слова не сказал! И будто бы я послушал фотографа, а не ее — это чистой воды предлог! Я и не думал никого слушать!

— Причина не в этом, — сказала Чернушечка. — Ее сестра Алита и Хасан переезжают на новую квартиру. Она из-за этого очень переживает. Она часто их ругает, а сама жить без них не может и боится остаться одна.

— Ты бы поговорил с ней! — сказала Соломония.

— Я и поговорил, — сказал Хом. — Я ей сказал, что о таких вещах, как увольнение, надо предупреждать заранее.

— Как у нас чудно! — с досадой сказала Соломония. — С одной стороны, надвигается безработица, а с другой — работать некому!

— Ничего, — сказал Хом, — даст Бог, утвердят бюджет. Добьюсь у отдела культуры покупки компьютера. Сами управимся! И серьезно займемся с Чернушечкой архивами. Не как сейчас, а по-настоящему.

В музее у утра царил некоторый беспорядок. Вчера прошел вечер поэта Бани Фаса, того самого, который баллотировался в мэры столицы. Он привел с собой сотню молодых поклонников. Публика оказалась специфическая, вся из созданного ими недавно «клуба гуманистов». Баня Фас никак не кончал читать свои стихи, а гуманисты никак не хотели уходить. Они принесли с собой еду и питье и намеревались после стихов выпивать и закусывать во всех музейных углах. Хом и Чернушечка только и делали, что отовсюду их вежливо прогоняли. Два последних гения пришли поздно, когда вечер уже закончился. И очень пьяные! Чернушечка стояла в дверях и твердо убеждала их прийти в другой раз. Они слезливо пожаловались ей, что великих туковских поэтов никто не знает и знать не хочет. Но постепенно Чернушечка их уговорила. Меньше пьяный гений, подерживая более пьяного, удалился со своим товарищем без особого скандала.

Из-за революции почта работала скверно, но письмо от бабы Конь все-таки дошло: «Здравствуйте дорогие поздравляем вас с новым годом жилаим вам

крепкого здоровья счастья и долголетия я очинь давно не получала от тибя письма правда приижал ваш незнакомец писатель и привес мне от вас посилочку на сарафан и портфель для правнучка но я приняла подарок поблагодарила и при нем непосмотрела в портфель сразу когда он поехал я посмотрела в портфель были 2 шикол. и письмо от тибя Очинь благодарни ти пишиш что етот писатель общал нам помогать но когда он вехал больше ничиво от ниво нислишна гаварил приедет сфотографируйм и сразу пропустим через телевизор но ничиво пока етого нет прислал нам Вл. П. письмо пишить что вже е 3 серий кино вже пропускали будить по Токри но пока мы ничиво нивидили внас правда 2 програма неработайт и газет неполучайм будим получать после нового года радио тоже молчить все лето и до цих пор гаварять линию спров. общим радио молчить тиливизор только включають в 6 часов вечера и днем нет ничиво Но ничиво одно плохо что скаждым днем все дорожайт что будить бог знаить хлеб внас серий 1хб. 2 ти 200 а бела бух 2 тис 300 общим все дорого всего не описать для тех хто спикуюе то канеш хорошо но нам плохо но ничиво ни поделаеш нади пережить всиво нам ищо горе я вам писала что дед упал и поломал ногу уже пошел 3 мц. стала нимнога лучше всю дорогу лижачий только 3 дня стал на костили проходить по хати нимного жилатильно знать как ви там проживайте божимой зачем нас разделили магазины пустие було но ищо такова небило но ничего всиво ниапишу но прошу напиши мне весточку унас почта очинь плоха ходить из города ишла письмо до нас 1 мц. а приходила письмо 4–5 дней но пока дорогие досвидание будеш на клабище ниско поклонитесь зимля йму пухом дай бог йму рай христов но досвидание обнимаю обоима руками цилую сослизями моя голубка звини что откритки нет неде купить все дефицит».

Наконец начальники спустились под землю. Они бродили по подвалу с разинутыми ртами. Больше года они сопротивлялись. Сколько служащая-искусствовед по фамилии Угль ни футболила Хома и Соломонию к другим чиновникам, все неизбежно возвращалось к ней. Она упиралась изо всех сил! Но свежий ветер переманял и задувал во все щели и совсем отвертеться ей не удалось.

Вмешалась нотариус! Та самая хорошая женщина, которая когда-то сказала Соломою: «Сами понимаете, мы не знаем, как будет...» И Соломой сказал: «Конечно, понимаю». Теперь нотариус требовала, чтобы все совершалось по закону.

— Вы почему тянете? — сурово сказала нотариус Углю. — Дело тянется полтора года! Наследник — иностранец, уже посольство вмешалось! Мы обязаны соблюдать международные договоры!

— А я не знаю, как оценивать такое! — огрызнулась Угль. — Для меня это не искусство!

Нотариус нисколько не посочувствовала Углю.

— Разбирайтесь, — сказала она, — что у вас искусство, а что нет! Но дело надо завершать!

Комиссия состояла из пяти человек. Первой, еще стоя у двери, оправилась от потрясения одна пожилая заведующая из министерства культуры. Она с энтузиазмом приветствовала Хома:

— Здравствуй, мой милый, помню тебя совсем малюсеньким!

Это было неплохое начало. Хорошо, что она начала врать именно в таком конфликтном направлении.

Пропитого вида министерский скульптор тоже громогласно обратился к Хому:

— Я твоего отца знал!

Хом тогда еще не был директором музея, но уже много общался с Артой и с другой районной номенклатурой. Он постоянно с ними виделся по работе и многому научился. У него была другая реакция, нежели у Соломонии, и другое выражение лица, поэтому они обращались к нему, а не к ней.

Скульптор-пьяница говорил правду. Он был знаком с Соломоем через Союз художников. Скульптор специализировался на производстве портретов сначала одного вождя, потом другого, потом третьего, потом четвертого... Скульптор, наверно, бывал в подвале лет тридцать назад, не раньше. Соломо-

ния вспомнила его и удивилась хорошему здоровью. Как мало он изменился! Такой же пропитой!

Хом в отличие от Соломонии немедленно и с удовольствием включился в игру, ибо понимал, что в этом залог успеха. Он всем улыбался. Соломонию, напротив, переполняли горечь и неприязнь. После смерти Соломоя прошло слишком мало времени. Ее не умиляло всеобщее лицемерие. Она слышала, как Угль в маленькой комнате выговаривала скульптору сниженным злым голосом:

— Для вас это искусство, вам это нравится? А для меня это металлолом!

— Ну так нельзя,— протрубил скульптор.

— Вот сами и оценивайте!

В ответ скульптор пробубнил что-то непонятное, Соломония не расслышала.

Комиссия уже оправилась от подвального шока, она чувствовала себя все более уверенно.

— Говорят, у вас сейчас выставка открылась? — вполне любезно спросила заведующая.

— Да,— сказал Хом,— в Туковском комитете защиты мира.

— Без вот этих вот гробов?..

— Без «Гроб-Арта»,— подтвердил Хом.— Там выставлено только двадцать четыре скульптуры из тех, что отец сделал в шестидесятые годы.

— Мы сейчас туда съездим.

— Съездите, съездите,— одобрил Хом.— Там открыто до семи.

Заведующая, пропитой скульптор и кто-то третий, непонятный и незаметный, поехали на выставку в ТКЗМ. Остались только Угль и ее уродливый заместитель Пыхтень. В отличие от противного Пыхтеня Угль была вполне приятного вида, не старая еще дама.

— Мы все с вами по телефону беседовали,— доброжелательно сказал Хом,— а вот сейчас наконец увиделись.

Угль сложила губы в улыбку, но в глазах ее почему-то промелькнул испуг. Они с Пыхтением разглядывали странное скульптурное сооружение.

Посреди подвала возвышалось упершееся в потолок строение-крест. Оно заканчивалось гипсовым рельефом — Ликом в проволочном венце с шипами. Лик укрывался за металлической решеткой, завершающейся надписью на большой таблице — «УБЕЖИЩЕ!». Крест, походивший на строительные леса, сверху донизу был увешан разнообразными предметами и надписями. На обоих концах крестовины висело по одной бобине из-под киноплетки. Бобины выглядели, как два черных колеса. На левом боку торчала лезвием вверх короткая штыковая лопата. Возле нее располагалась огромная пухлая резиновая рукавица, высывающаяся, как из рукава, из цинкового обрезка водосточной трубы. Рядом свисал расплющенный до полной плоскости эмалированный чайничек синего цвета. В основе своей композиция состояла из двух крестообразно скрепленных железных лестниц. Вертикально стоящая лестница опиралась на размещившийся на полу деревянно-чугунный агрегат с хаотически торчащими во все стороны кусками проволоки и обрывками разной толщины кабеля. У подножия креста на полу стоял небольшой бюст грустного «Пророка». Его голова, прочеканенная в смятом алюминиевом ведре с пробитыми щелями глаз, заканчивалась бородой из множества длинных гвоздей и насаживалась на тело пророка — конечную часть промышленной трубы треугольной формы. У пророка на голове находилось целых два нимба: один — из бывшего тазика без дна, другой — из круглой ребристой поверхности непонятной детали. К «Пророку» прислонялась таблица с надписью «СТРОЕНИЕ № 1».

Все сооружение целиком покрывалось надписями с разнообразными запретами и предупреждениями об опасности. Слева от Лика на короткой палке висел оранжевый круг с белой полосой, знак-кирпич, которым пользуются рабочие-дорожники для остановки движения во время ремонта. Справа желтела табличка с черным черепом, пронзенным молнией, и написанным всем известным грозным заклинанием: «Не влезай — убьет!» Около колеса-бобины верхом на перекладине сидела спасенная из мусорника безглазая тряпичная кукла, вся лысая, кроме всклокоченного куска пакли в центре целлулоидной головы. Некоторые надписи носили функционально-бытовой характер: «Выход», «Туалет», «Агитпункт», «Пост № 2», «Уборные», «Для детей и инвалидов», «Лифт

остановлен на профилактический ремонт», «Прием и выдача посылок, ценных писем и бандеролей», «Троллейбус следует по 31 маршруту».

Другие надписи угрожали и предостерегали: «Опасная зона!», «Кабели высокого напряжения!», «Без присутствия Воднадзора раскопок не производить!», «Стой! Опасно для жизни!», «По газонам не ходить, собак не водить!», «Стой! Идет монтаж работ!», «Запрещается складирование сгораемых материалов!», «Посторонним лицам в котельную вход воспрещен!», «Помни! Кожух рубильника должен был зачехлен!», «Находиться в зоне работ запрещено!». В самой середине скульптуры просматривалась узкая, как у таксистов, табличка с прорезью для имени. Табличка гласила: «Водитель: Соломой».

Угль и Пыхтень рассматривали скульптуру бесконечно долго. Пыхтень потрогал гвоздь в бороде у «Пророка».

Соломонии донельзя надоели эти чужие, враждебные люди в Соломоевом подвале.

— Так что мы дальше будем делать? — спросила она, обратившись к Углю.

— Я не знаю! — скандальным голосом произнесла Угль. — Я как искусствовед не могу это оценивать! Для меня это никакой художественной ценности не представляет!

— Замечательно! — обрадовалась Соломония. — Так прямо, как искусствовед, и напишите: «Никакой художественной ценности не имеет!»

Угль немного опешила. Она произнесла наконец:

— Ну как это называется, вот эта вот... — Угль долго искала слово. — Вот эта вот... постройка?

— Это называется «Современное Распятие». О нем вообще речи нет. Оно никуда не уедет и навсегда останется в этом подвале. Его невозможно стронуть с места.

— Хорошо! — страдальчески воскликнула Угль. — Ну а что означает вот этот треножник и на нем велосипедная железка?

— Ах это!.. — мечтательно протянула Соломония, в голосе ее послышалось плохо скрываемое пристрастие. — Это не железка, это подвальный житель. Его так и зовут: «Существо из Подвала».

— И мы должны выпускать это за границу?

— Обязательно! Вы же сами говорите, что художественной ценности не представляет. А для них представляет. И главное все-таки не наши с вами художественные предпочтения. Есть посмертная воля художника, положено ее выполнять. По закону!

Снова наступило молчание.

Угль и Пыхтень устремили свои взгляды на канализационный трайник, на котором сверху был нахлобучен ночной горшок.

— А это как называется? — спросила Угль.

— Это называется «Мальчик-сирота», или «Портрет режиссера Ногая».

— А вот этот кирзовый сапог и женская туфля рядом?

— Это «Влюбленные» из цикла «После войны».

Угль и Пыхтень молча переглядывались.

— Мы пойдем, — сказала наконец Угль.

— Ну а как...

— Будем решать! — начальственным голосом произнесла Угль.

Как только они покинули подвал, Соломония сказала со злостью:

— Гады! Все продолжается: те же люди, те же рожи!

— Ну что ты! — не согласился Хом. — Мы их обязательно добьем! Только жалко за границу отправлять.

— Не жалко! Не жалко! — воскликнула Соломония. — Мы не должны рисковать, власть в любой момент может перемениться, и они все уничтожат!

В этот момент в подвал позвонили.

— Кто это? — испугалась Соломония.

Хом пошел открывать. Он появился в дверях вместе с вернувшимися Углем и Пыхтением.

— Забыли что-нибудь? — спросила Соломония.

Угль и Пыхтень старательно улыбались.

— Мы забыли кое-что записать,— сказала Угль.— Мы хотим списать надписи с вот этого, как вы его называете, «Распятия».

— Пожалуйста!

Оба с серьезными лицами стали списывать надписи в свои блокноты. Соломоне стало смешно. Ищут клевету на общественный и государственный строй в надписи: «Не влезай — убьет!»

Сделав наконец необходимое дело, Угль неожиданно обратилась к Соломонии:

— Ну скажите, как вы сами все это понимаете?

— Я не искусствовед,— сказала Соломония,— я подмогонец! Но кое-что мне стало понятно за тридцать лет совместной жизни, кое-чему он меня научил. Соломой говорил, что каждый человек на земле через жизнь и страдания, не желая того, движется только в одном направлении — на Голгофу. Он тащит свой крест. И сколько бы он ни пытался удлинить этот путь, он все равно туда придет. Чаша сия никого не минет. Художник тоже тащит, как все, но, поскольку он обладает Даром, его изнутри распирает. Он переполнен, он отягощен талантом и разнообразными идеями. Ему необходимо поделиться с современниками своими открытиями. Он часть своего народа, поэтому его жизнь — это до какой-то степени жизнь всех. Он тоже, как и большинство тех, кто рядом, с юных лет во все верил. Он голодал, холодал, воевал. Он ошибался, грешил, запоздало каялся. На своем пути он впадал в ересь и отвергал Бога. Он когда-то всей душой уверовал в земного Идола, поклонялся ему и страстно желал отдать за него свою жизнь. Затем он прозревал через чудовищные физические и нравственные муки, вновь обретал Бога и благодарил Создателя, что тот за грехи не лишил его Дара. Художник всегда бежит немного впереди общества от излишнего внутреннего беспокойства. Этим он стремительно приближает свою кончину. Он знает об этом, но все равно спешит изо всех сил. Ему кажется, что он вот-вот упадет замертво. И тогда никто не узнает то самое важное, что он хотел,— показать и рассказать. Показать самое главное, что происходит с каждым по дороге к смерти. Единственный язык, которым обладает художник,— это его искусство. Он всю жизнь мучительно ищет, пока не найдет собственный язык и собственную современную форму для того, чтобы наиболее сильно выразить...

— Как вы понимаете именно это «Современное Распятие»? — прервала ее Угль.

— Это наша жизнь. Здесь все есть: опасная зона и туалет, маршрут троллейбуса и убежище. А все вместе — крест!

Наступила долгая пауза.

— До свидания,— сказала Угль, идя к выходу.

За ней засеменил Пыхтень.

Когда они ушли, Соломония сказала Хому:

— Жаль, что я не успела ей прочитать то, что написал ее коллега туковский искусствовед. Там в основном про Бура, но и про Соломою написано, когда он сравнивает обоих.

Соломония вытащила из деревянного ящика толстую книгу, раскрыла ее на предпоследней странице и прочла с чувством:

— «Соломой при всем его искреннем пафосе пацифизма и обличения как художник не документирует, не морализирует, а скорее свидетельствует и предостерегает своими иносказаниями, выводя потаенное в нескрокрытость темным языком оракулов и пророков как весть о фатальной катастрофичности Бытия, о судьбе всего смертного в этом мире. Неразумная стихия судьбы воспринимается как космический закон, который может быть выражен словами поэзии и языком пластики. Даже Хаос обнаруживает потаенные структуры гармонии, подобно тому как бесконечная вражда всего со всем лежит в основе Бытия. Подобное восприятие порой оживает в современной культуре. У Соломою его «взгляд в Хаос» — это своего рода натурфилософия, но его обращение к природе лишено всякой сентиментальности. Действительность увидена как агрессивный тотальный произвол, который, отливаясь в образы, читается как своего рода грозный эпос. Отсюда двойственность позиции художника: этически он противостоит войне и смерти, эстетически он делает их основной своей темой. Он закликает ужас через магию формы, таким образом превращает силы раз-

рушения в подспоре созидания-творчества. Негативизм на уровне тем и сюжетов дополняется конструктивной, ваяющей ролью «негативного объема», который ведет к открытости скульптуры для внешних пространств. Стихия и мрачная экспрессия устрашающих образов совмещены у Соломою с проявлениями силы Эроса, полускрытое или явное присутствие которого ощутимо в ряде программных работ художника, порою сублимируясь до чувственной биопластики абстрагированных форм, порою разряжаясь со всей откровенностью и размахом в некоторых сериях графики, тесно связанных с миром скульптурной фантазии мастера. В этом контексте можно вспомнить о значимости сублимированной чувственности и комплексом Бессознательного». Вот видишь, как умно и заковыристо человек пишет! Мы с тобой так не умеем!

— Да я же читал это, — сказал Хом. — По-моему, это чересчур мудрено, можно и попроще все написать. Мне нравится, как Чернушечка экскурсии проводит. Она тоже закончила искусствоведческие курсы, и у нее сказано то же самое, но понятным туковским языком.

— Я по товарища Угль говорю! Она совсем ничего не понимает!

Ларк Айм с ручкой и блокнотом в руках бродил по подвалу, постепенно освобождаящемуся от громоздких железных скульптур. Очки висели у него на кончике носа. Он уже сфотографировал все отправляемые объекты и теперь руководил их погрузкой и упаковкой. Перед тем как рабочий упаковывал очередную деталь, Ларк снимал очки, внимательно эту деталь разглядывал, затем вновь нацеплял очки и зарисовывал ее в блокноте, одновременно что-то записывая.

— Все они будут стоять в Музее современного искусства у нас в Мухе в отдельном зале, — сказал Ларк.

Они с Соломонией уже договорились, что половина завещанных объектов остается в подвале. Жизнь стремительно менялась, появилась надежда, что и в Туке можно будет все показывать.

Хому было жалко отправлять скульптуры, а Соломонии — нет.

— Всегда стоит подстраховаться, — говорила Соломония. — Ты же знаешь, какое у нас непредсказуемое государство!

Хом согласился. Именно он собрал все документы и добил товарища Угль. Новое мышление и ее подпирало! Она неожиданно перестала сопротивляться и не возражала, чтобы любой профессиональный искусствовед поставил свою оценку. Хом нашел одну такую дружелюбную дипломированную специалистку. В присутствии сотрудницы из нотариальной конторы Хом с Соломонией сами продиктовали ей нужные минимальные цены, чтобы Ларк был в состоянии оплатить все пошлины и транспортные расходы. Служащая из нотариальной конторы помалкивала. Она несколько прибалдела, глядя на грязные металлические отбросы. Она иронически демонстрировала недоуменными взглядами и гримасами, что грех за такое деньги платить. Ибо не было еще прецедента! А когда появился, власти совсем сдурели. На других художниках впали в другую крайность и ужасающе хапали!

— Я составлю на тебя дарственную, — пообещал Ларк Соломонии. — Это будут твои скульптуры, но храниться будут в нашем Муховском музее.

Упаковку производил молодой человек из экспедиторской наргемской фирмы. Он был одет в бледно-фиолетовую клетчатую рубашку и чистый серебристого цвета комбинезон. Он выглядел, как рекламная картинка из западного каталога по продаже рабочей одежды. На левом нагрудном кармане его комбинезона была прикреплена изящная бирка с именем: «Грет Цульш». Он бережно завертывал каждую железку вместе с подвальной грязью, пылью и даже кое-где сохранившейся смазкой в голубоватую пупырчатую хлорвиниловую пленку и перевязывал ее широкой бежевой клейкой лентой. Он выглядел так же красиво, как и фирменные упаковочные материалы, с которыми он работал. Снаружи перед подвалом дежурил нарядный перевозочный фургон. Только что подвал покинул хозяин фирмы. Он сказал Цульшу, что пришлет ему в помощь грузчика для упаковки и выноса трех крупногабаритных скульптур: сидящей на гинекологическом кресле «Железной леди», огромной «Саломеи», одетой в мантию из проволоочной сетки, и семейства из трех неподъемных гробов.

Любуясь неторопливыми и толковыми действиями Грета Цульша, Соломония вспомнила Липкину бригаду. Бесформенно одетые туковские дорожные рабочие по своему профессиональному подходу очень напоминали господина Цульша. Их действия были такие же размеренные, экономные и несуетливые. Ничего, думала Соломония-оптимистка, придет время, наши тоже будут нормально работать. Не хуже этого! Во всяком случае, Соломонии этого ужасно хотелось. В душе она была неисправимая туковская патриотка, только глубоко это скрывала. Особенно после того, как погромщики присвоили себе патриотическую профессию...

Все уехавшие скульптуры получили постоянную прописку в отдельном зале городского музея современного искусства в наргемском городе Мухе. Это произошло не сразу, а через несколько лет, после того как Ларк Айм вместе с муховским музейным рабочим скрепил все произведения. Гораздо раньше то же самое сделал Подвалыч с объектами, оставшимися дома.

Открылась первая большая Соломоява выставка на родине, в здании будущего музея на окраине. На втором этаже гробы, лики, пророки и многие другие скульптуры тесно уместились на полу и на стенах той самой маленькой комнатки, которую когда-то, единственную во всем доме, Ногай хотел выделить под Соломояв музей. В большинстве своем публика приняла произведения благосклонно: кто смеялся, кто ужасался. Были и недовольные. То есть все было нормально! Через короткое время эти экспонаты не шокировали больше ни одного человека и воспринимались по названию, как «Искусство эпохи равноесия страха».

— Новость-то какая! — сказал Хом. — Ты очень удивишься!

— Какая еще новость? — встревожилась Соломония. В последнее время она не любила новостей, потому что все они были плохие.

— Представляешь, товарищ Угль умерла.

— О, Господи! — воскликнула пораженная Соломония. — Чего же ей, бедной, не жилось?

— Рак! — коротко сказал Хом.

Соломонии стало жалко товарища Угль.

— Боже мой! Молодая еще женщина! Но ведь мы с тобой, Хом, мы ей это-го ни в коем случае не желали!

— Разумеется, нет, — подтвердил Хом.

— А этот убогий Пыхтень, с ним все в порядке?

— Жив и здоров. Теперь он вместо нее начальник!

— Ну и слава Богу! — сказала Соломония. — Хоть не оба сразу!

Жизнь, конечно, пастораль, но иногда так страшно, так тяжело...

А что если сбежать! Покинуть мусорный город. Как это там у Соломоя: «Скрылись... Кинули в воду... Выбрали свободу...» Спрятаться в деревне. Запереться в доме. И общаться только с Последней. С ней можно бесконечно говорить и слушать в ответ сочувственное мурлыканье. Если закрыть железную дверь и железные ставни, наступит вечная ночь. Устроить себе ночную пастораль. Запаситься едой и большим количеством воды. Никого не пускать. Не откликаться. В туалет бегать, только когда стемнеет. Договориться с Последней, чтобы, подходя к порогу, произносила пароль. И приоткрывать ей на секунду щель, чтобы проскакивала. Пусть это будет тюремная пастораль! Пусть так! Пусть вместо луны горит большая электрическая лампа. Но лучше без лампы. Полная темнота! И отдыхать, отдыхать! Словить кайф, когда наконец отпустит, изнутри. И перед закрытыми глазами пронесутся чудесные картины безвозвратного прошлого: увядший сад с перезрелыми яблоками и сливами, приторный запах гниющих на земле фруктов, пыльная улица с непросыхающими лужами, ветхий колодец со старым ведром на цепи, задумчивая лошадь, бредущая рядом с неторопливым человеком, деловитый пес, спешащий по важным делам, улетающая золотая полоса летучих муравьев, бесшумно падающие листья...

— Это вы, господин Дуль? — испуганно спросила Соломония. — Что вам угодно?

— Я зову, зову, а вы погружены в какой-то выдуманный вами несуществующий мир! Вставайте! Пора возвращаться к реальности! Сейчас будем смотреть кино.

— Я не хочу смотреть кино.

— Вот вы напрасно снова начинаете! — сказал НЛО укоризненно. — Вставайте и пойдем в большую комнату!

— Не пойду!

Дуль прыгнул Соломонии на голову и завертелся.

— Ой! — вскрикнула Соломония, хватаясь за голову. — Все-таки вы ужасны!

— Не надо мне читать мораль! Делайте, как я говорю!

— Ни за что! — сказала Соломония.

Она сидела в Соломоевой полосатой пижаме и его черной кроличьей шапке-ушанке перед телевизором. НЛО, устроившийся на шапке, пробуравливал ей голову.

— Заставляете нас прибегать к методам... Мы вам специально шапочку надели, чтобы полегче вам было. Я у вас на головке работаю!

— Я не буду смотреть кино! — истерически крикнула Соломония, вскакивая со стула.

— Тихо, тихо, — умиротворяюще произнес НЛО, — садитесь! Посмотрите, кто к нам пришел! Какая замечательная компания!

Кошка Последняя прыгнула ей на колени и неистово замурлыкала. Она тыкалась холодным мокрым носом ей в руки. На левом плече у Соломонии удобно пристроилась воробиха. Внизу, возле ее ног, улегся большой поросенок. Он глянул на Соломонию и, подмигнув ей, дружески хрюкнул.

Соломонии стало немного полегче. Она спросила у Дуля:

— Эта свинья — то самое жертвоприношение Великого Тукуя?

НЛО свесился с шапки и похвалил:

— Очень, очень догадливы!

— А птичка? Которая погибла у нас в подвале?

— Ну! — сказал НЛО довольный. — По-вашему, погибла. Только здесь у нас нет погибших. Здесь все живет всех живых. Сейчас все вместе будем смотреть кино! Домашний экран, семейный просмотр!

Экран уютно засветился. Поля, луга, леса, горы, деревья, стада, опять поля, опять деревья, опять горы, опять луга, опять стада, города, города, города, моря, моря, моря, мосты, дома, дома, люди, люди, поля, луга, дома, мосты, вода, дубы, березки, опять города... В одном безразмерном, бесконечном и бесстильном городе по воздуху летал мусор.

— Как вам нравится государство, на которое вы сейчас смотрите? — спросил НЛО.

— А что в нем такого особенного? Почему оно должно мне нравиться?

— Оно называется Раша.

— Ну и что?

— В нем живут рашены и тьма тьмущая других народностей.

Соломония пожала плечами и промолчала. Она замерзла и решила сходить в другую комнату за кофтой.

— Сидите на месте! — приказал НЛО.

На Соломонии оказалась ее зимняя дутая куртка.

На экране мелькали очередные скучные деревья вперемежку с полями, лугами и многолюдными городами.

— А кто в Раше правит? — спросил любознательный Тачок.

— Один рашен мужик, — ответила Последняя.

— А какое там государственное устройство? Тирания, монархия или какая-нибудь религиозная деспотия?

— Да нет! Считается, что демократия. Потому что мужика избрали всенародно. Но все равно строй у них жлобский.

— Почему вы так считаете? — продолжал вежливо спрашивать Тачок.

— Потому что переходный период, — сказала Последняя. — Они от вождей-палачей ушли, а к буржуйскому потребительскому обществу никак не придут. Все им что-то мешает. Им далеко еще до нормальной жизни. В обществе процветают грубость, глупость, старое мышление и поведение. А главное, воровство! Хотя раньше, до мужика, еще хуже было.

— Почему хуже?

— Потому что была тюрюга! — Последняя вдруг заговорила с бандитскими интонациями.— Внутри большой зоны малая зона! — Последняя сначала сплонула, потом свистнула.— Паханы всех фраеров по очередям расставили! Очереди безумные повсюду. И все блага начальство распределяло через своих паханов. Без них оно бы не справилось! Почти все к той жизни приспособились и привыкли. Это теперь у них свобода, но все равно все недовольны.

— А раньше были довольны?

— Нет, конечно. Но помалкивали.— Последняя снова начала говорить ровным голосом: — По кухням водку пили и трепались. Анекдоты рассказывали. В открытую болтать боялись. За слово власть уничтожала. А теперь все говорят, не могут остановиться. Только свободу эту мало кто ценит. Наоборот, злоупотребляют. Раньше все были бедные. Богатые скрывались, боялись свое богатство показывать. А теперь и богатые, и бедные у всех на виду, только бедных намного больше. Но более всего злых и несчастных!

— Какое мне дело до этой Раши? — раздраженно сказала Соломония.— Раша-каша! У себя дай Бог разобраться! Отпустите вы меня. Я устала невыносимо.

Воробыха дернулась и мелодично прочиркала ей в ухо короткую песню без слов.

— Еще рано,— строго сказал НЛЮ.— У нас большая культурная программа!

На экране появились военные хроники. Черно-белые. Взрывались снаряды, горела земля, рушились здания. Плыл бесконечный черный дым. Падали убитые люди. Повсюду валялись неубранные трупы. Человеческие лица то и дело появлялись крупным планом. Почти каждое лицо было искажено горем или ненавистью.

Вдруг кино снова сделалось цветным. Камера показала обшарпанный домик. Сначала появился коридор, потом комната, где за низенькими столиками сидели маленькие лысенькие дети и кушали. К стене примыкал стол побольше. За столом ели две женщины в белых халатах. И дети, и взрослые сосредоточенно выскребывали миски. Дети быстро все съели, но еще шарили по столу в поисках крошек. Женщины в халатах продолжали есть. Камера во весь экран выхватила лицо одного ребенка. Ребенок оказался девочкой с белой, похожей на яйцо головой. Девочка была одета в байковое желтое платье с передником и карманом на нем. На кармане была вышита большая цапля. Девочка, широко открыв глаза, смотрела на жующих женщин. Неожиданно она разинула рот и громко заплакала басом. Женщины в белых халатах переглянулись. Они раздумывали, что делать. Девочка, замолчавшая ненадолго, снова заревела. Одна женщина подошла к девочке и сунула ей в руку кусок хлеба. Девочка тут же начала его есть и успокоилась.

На экране застыло изображение крупным планом: ребенок сует в рот хлеб.

Последняя давала пояснения:

— Этот ребенок из яслей-пятидневки думает, что женщины в халатах кушают ее булочку. Девочка решила, что сегодня утром, когда мать пришла навестить ее перед работой, то принесла ей эту булочку. Но будто бы она съела булочку не до конца. И будто бы мать оставила для нее этим тетям кусочек булочки на потом. И вот теперь вместо того, чтобы отдать ей булочку, они кушают ее сами. Поэтому она стала плакать.

— А чья была булочка на самом деле? — спросил Тачок.

— Казенная! И это вовсе никакая не булочка, а обыкновенный кусок хлеба. Когда девочка выросла и рассказала матери про то, как взрослые отняли у нее булочку, мать сказала, что такого быть не могло. Девочке все это показало. Была война. Все, что мать приносила, девочка съедала немедленно и мгновенно. Девочка никогда не смотрела на мать, когда та навещала ее в яслях. Она смотрела только ей в руки, на то, что мать приносила поесть.

Кино продолжалось. В комнате, где была спальня и стояли кровати, дети готовились ко сну. Они аккуратно вешали на спинки стульев платья и рубашки, на сиденья клали штанишки и трусики. Потом ложились в одних маечках, но не укрывались. Им было велено ждать, пока подойдет тетя в белом халате и укроет каждого одеялом. На экране девочка, которая за обедом требовала булочку, перед тем как раздеться, залезла рукой в карман с цаплей. Она вытаци-

ла из кармана недоодеженный липкий леденец. Она очистила его от крошек и грязи, внимательно рассмотрела на свет. Поллюбовалась его красотой. Огорчилась, что красная конфетка сильно уменьшилась со вчерашнего дня, стала узкой и прозрачной. Она с серьезным видом засунула леденец в рот и закрыла от наслаждения глаза. Немного пососав, она осторожно выплюнула его обратно в руку и снова засунула в карман с цаплей. После этого девочка легла на кровать, повернулась на правый бок, сложила ладони вместе, подложила их под щеку и застыла. Так было положено. Наконец тетя в халате к ней подошла, укрыла одеялом и громко похвалила:

— Молодец! Будешь смотреть за порядком. Я сейчас уйду. А ты следи за тем, чтобы никто не разговаривал. Чтобы все соблюдали полную тишину! Когда я приду, ты мне расскажешь, кто плохо себя вел.

Девочка испугалась и растерялась от такой ответственности.

Когда тетя ушла, наступила совсем необыкновенная тишина, потому что и до этого было тихо. Но надо было выполнять задание. И девочка сказала:

— Не разговаривайте! Если кто будет разговаривать, я скажу!

Никто ей не ответил. Тогда она снова сказала:

— Если кто-нибудь будет разговаривать, я про него скажу!

Один мальчик сказал:

— Никто не разговаривает. Ты сама разговариваешь.

— Я не разговариваю. Я говорю, что если кто будет говорить, то я скажу!

— Никто не говорит,— сказал мальчик.

Дверь открылась, и влетела тетя.

— Кто тут болтает? — крикнула тетя.

Девочка чуть не умерла от ужаса. Она закричала:

— Это Саша, Саша! Это он разговаривает!

Саша громко завопил:

— Я не разговаривал! Она сама разговаривала! Она сама!

Тетя подлетела к Сашиной кровати, выдернула оттуда дико кричащего Сашу и вылетела вместе с ним в коридор.

Тишина была бы совсем мертвая, если бы не сдавленный плач какого-то ребенка. Девочка лежала, оцепенев...

На экране зависла детская спальня.

— Вы что-то хотите сказать, госпожа Последняя? — спросил НЛЮ.

Последняя перестала мурлыкать и объяснила учительским голосом:

— Девочка, конечно, сейчас в очень большом горе. Несмотря на младенческий возраст, она понимает, что Сашу утащили из-за нее. Но у ребенка тоже есть инстинкт самосохранения. Она уже научилась думать о ближайшей радостной перспективе. Она мечтает об оставшемся на завтра тоненьком леденце в кармане передника.

Экран оживился. Электрический свет из коридора осветил лицо девочки, ее испуганные, наполненные отчаянием глаза. Она потихоньку села на кровати и потянулась рукой к одежде. Нащупав в кармане передника прилипший леденец, она глубоко вздохнула и снова легла.

Наступает утро. Дети начинают одеваться. Девочка видит, что Саша на месте. Он, как и другие дети, неумело одевается. Девочка уже все на себя надела. Она отлепляет в кармане леденец и с сожалением его разглядывает. Красный леденец сделался еще тоньше и прозрачнее. Девочка сует его в рот, зажимается от удовольствия и вдруг... Ее глаза широко раскрываются. На лице огромное разочарование...

Зрители безудержно захохотали. НЛЮ, Последняя, Тачок и даже воробьяха — все тряслись и подпрыгивали от хохота.

— Проглотила, бедняжка! — сочувственно сказал Тачок, не переставая смеяться.

— Сlopала конфетку глупая девочка! — закатываясь от смеха, прокричала Последняя. — Какое хорошее веселое кино! Как я люблю комедии!

Воробьяхе тоже было смешно. Она возбужденно чесала клювом у Соломонии за ухом и чирикала как сумасшедшая.

НЛЮ прыгал так неистово, что казалось, сейчас голова у Соломонии оторвется.

— Вы не могли бы потише прыгать,— еле слышно попросила его Соломония.

— Извините,— сказал НЛЮ, утихомириваясь.— А почему такой скорбный голос? Всем весело, а вы опять оригинальничаете. Неужели вам не смешно?

— Нет,— коротко сказала Соломония.

— Трудно с вами работать! — посетовал НЛЮ.— Я уже понял, что двуногие самые неспособные! Ладно, продолжим: пятидневные ясли номер сто сорок четыре, эпизод восьмой: «Алюминиевые крышки».

На экране толстая тетя в белом халате с трудом помещалась на стуле. Справа от нее на столе, покрытом застиранной белой скатертью, стоял столбик вставленных одна в другую алюминиевых крышек от молочных бидонов. Тетя сидела на стуле откинувшись, расставив ноги в плотных коричневых чулках в рубчик. Под юбкой видны были круглые резинки, удерживающие чулки.

На полу в нескольких метрах от тети на четвереньках ползали лысые дети. Они изредка поглядывали на нее и ждали. Тетя правой рукой сняла со столбика верхнюю крышку, внимательно посмотрела на застывших от ожидания детей, затем неожиданно швырнула крышку на пол с криком:

— Витя!

Крышка загромыхала по полу. Ребенок Витя на четвереньках шустро к ней устремился.

— Нина! — снова крикнула тетя, швыряя крышки.— Толя! Люба! Слава!

Алюминиевые крышки летели одна за другой. Дети ползком спешили к ним, жадно хватали и уползали с добычей. Крышек почти не осталось. Девочка с цаплей на переднике смотрела на тетю, открыв рот. Девочка боялась, что ей не достанется крышки.

— Юля! — крикнула тетя.

Девочка вскочила, сделала несколько неуклюжих шагов, потом плюхнулась на колени и наконец благополучно доползла до своей крышки...

Последняя начала растолковывать, как директор школы:

— Это не просто крышки, это игрушки военного времени, война отняла у ребенка детство, она лишила их...

— Стоп! — прервал ее НЛЮ.— На сегодня хватит.

Несмотря на подвальный мрак, наружный дневной свет пробивался через верхние решетки подземного приямка. В маленькой комнате он был настолько силен, что стали проступать очертания находящихся на полках бронзовых скульптур. На подоконнике стоял огромный деревянный радиоприемник послевоенного времени. Массивный ящик, обитый железом, занимал весь угол. На нем тоже посверкивали металлические отливки. В ящике хранилась завернутая в газету картонная коробочка из-под ручных часов. На коробочке было написано черным фломастером: «Ордена и медали». В другой газетке, перевязанной грязным бинтом, лежали погоны младшего лейтенанта. После войны хозяин использовал эти предметы только один раз в жизни, когда снимался в своем собственном кино.

За пределами маленькой комнаты располагался необъятный подвальный мир. Мир был населен не только произведениями искусства, но и живыми существами. Существа шуршали и скреблись.

Женщина сидела в темноте на старом, продавленном диване перед объемистым, занимающим почти всю комнату овальным столом. Она разговаривала с большой фотографией бородатого мужчины, которая висела в углу слева от старинного приемника. Голос женщины постоянно дрожал и срывался, и она ничего не могла с этим поделать. Она пыталась взять себя в руки, но у нее это никак не получалось. Тогда она прекращала говорить, выдерживала паузу, но, как только открывала рот, снова начинала плакать. Она опять умолкала и вновь говорила:

— Он требует показания! Он специально крутил мне по ТВ какую-то страшу Рашу! Он хочет сказать, что я виновата. Виновата в том, что, будучи младенцем, донесла на безвинного ребенка! А до этого он намекал, что свинью зарезали тоже из-за меня и птичка погибла... Он специально привел их всех ко мне! Ты бы слышал, как они хохотали, как они издевались, когда девочка проглотила конфету!

Соломой вышел из портрета, легко прошел сквозь громадный стол прямо к Соломонии. Он обнял ее и сел рядом. Он потерся щекой об ее глаз и сказал хитро:

— А ведь я не знал этой истории. Все я про тебя знал, всю твою жизнь, а этого не знал.

— Ты про детскую спальню? — прошептала Соломония.

— Не рассказывала ты мне этого.— Соломой улыбался.

— Мне стыдно было! Мне всю жизнь этого было стыдно! — сказала она.— До такой степени стыдно, что даже тебе я этого не рассказала!

На столе перед ними мерно жужжал игрушечный разноцветный волчок.

— Появился,— неприязненно произнесла Соломония.— Я его ненавижу! Он хочет доказать, что я ненормальная и именно в этом моя норма!

Соломой ответил шепотом:

— Бог с ним. Не обращай на него внимания. Пока он тут, я могу побыть с тобой. Обними меня покрепче. Холодно что-то в моем любимом подвале.

— Да,— согласилась Соломония,— ты все здесь согревал своим присутствием, а теперь некому.

Соломония прижала его к себе изо всех сил.

— Хватит тебе переживать из-за того мальчика,— сказал Соломой, целуя ее в глаза.— Солёные глазки! Не может младенец сопротивляться взрослым растлителям. Ты не виновата!

— Я виновата. Виновата, потому что, несмотря на возраст, поняла, что совершила что-то ужасное. Но потом никогда больше, никогда в жизни, не было со мной ничего подобного!

— Я знаю,— сказал Соломой.— Все остальное я про тебя знаю.

Оба замолчали.

Существа заскреблись и зашуршали громче.

— Не уходи! — сказала Соломония.— Не покидай меня!

Луч света, пробивавшийся через приямок, стал постепенно темнеть. Немигающие глаза женщины перестали блестеть в темноте. Она молча кивала головой, поставив локти на стол и опершись губами на сплетенные вместе пальцы.

— Ну вот,— сказала Соломония,— ночь на дворе, надо вам ехать.

Вместе с Последней они пошли провожать Хома и Чернушечку до калитки. Хом уже выгнал свою красную машину с участка, и теперь она ждала на улице около голубого колодца. Но в темноте все было черным.

— Хорошая кошка,— сказал Хом. Он наклонился и попытался погладить животное.

Та увернулась. Последняя не хотела, чтобы на воле ее кто-то гладил. На улице она вела себя иначе, чем в доме. Снаружи она всегда делала вид, что сама по себе и ни от кого не зависит, никому ничем не обязана.

Окна и открытая дверь дома освещали сад электрическим светом.

Соломония посоветовала, открыв калитку:

— Вы осторожнее езжайте в темноте. И вообще мне кажется, всем нам стоит поменять режим дня — не превращать ночь в день.

— Подумаем,— пообещал Хом, закуривая.— Это очень правильная мысль. А кто это тут шуршит?

— Это ежиха с ежатами, она каждую ночь приходит. У них там своя миска. Я тихонько подхожу с фонариком и любуюсь.

— Ой! — испугалась Чернушечка.— А кто это возле двери там стоит, такой здоровый?

— Это собака Грязныш. Меня ждет.

Кто-то невидимый проскочил в темноте и исчез за домом.

— У тебя здесь очень бурная жизнь,— сказал Хом.

— У меня много друзей,— согласилась Соломония,— мне никогда не скучно.

Уезжая, Хом помигал фарами. Соломония долго махала рукой в темноту, пока автомобильные огни окончательно не скрылись из видимости.

— Ну пошли в дом,— сказала Соломония Последней,— спать пора.

Из записных книжек

Инна Анатольевна Гофф (1928—1991) — известный прозаик, автор многих книг: «Северный сон», «Не верь зеркалам», «Телефон звонит по ночам», «Поющие за столом», «Юноша с перчаткой», «Знакомые деревья», «Советы ближних», «Превращения», «На белом фоне»...— оставила после себя множество густо заполненных ею записных книжек. Густо — не в смысле почерка, а в смысле насыщенности материала и самого письма. За ними — срез жизни, работы, времени. В них запечатлено также немало известных, ярких людей.

Вообще-то записные книжки — это как бы подсобный жанр. В них писатель заносит свои наблюдения, размышления, афоризмы, диалоги, детали пейзажа и проч., используемые потом в текущей работе. Часто с этим соседствуют сугубо дневниковые записи.

Но порою, как известно, записные книжки представляют собой и прямой интерес, становятся самостоятельным художественным произведением (Ж. Ренар, И. Ильф и пр.).

Думаю, что записные книжки Инны Гофф, писательницы, которой присущи пристальная наблюдательность, глубокая психологическая достоверность, представляют немалый интерес, особенно для почитателей ее таланта. Любима Инна Гофф многими. Ее песни «Русское поле», «Август», «Я улыбаюсь тебе», «И меня пожалей», без преувеличения, знают миллионы.

Я выбрал для этой публикации наиболее живые, непосредственные, остроумные записи — разумеется, из тех, что не были использованы писательницей в ее книгах,— но имеющие, как мне кажется, безусловную познавательную и очевидную художественную ценность.

Константин ВАНШЕНКИН

1958

Что такое жизненный опыт? В сущности, это выводы из ошибок, сделанных нами в течение жизни. Опыт старших — это более длинная цепь ошибок в сравнении с опытом молодых.

Я не изучаю жизнь. Жизнь изучает меня.

«Меня можно продать, но нельзя купить».

Краснодар. Парк городской с лебедями, павлинами, утками, лошадю Пржевальского. Черный лебедь. Каменные львы с улыбающимися мордами сфинксов, «водопады». Цветет урюк, доцветает, осыпаясь, черемуха. Грачи, ласточки.

Лебединая шея — радость Модильяни.

Черный лебедь, вытянув из воды перепончатую лапу, отвел ее в сторону, как-то по-балетному — изображая Уланову.

Провинция южная — это лень, нега, ожидание больших страстей и больших новостей — откуда-то оттуда.

Лоток, где продают сувениры. Гипс и моржовая кость. Рог. Статуэтка — бюст Шопена. Слово Шопен почему-то в кавычках.

О девушке: «Зато она очень умная...»

Я давно уж не знаю, где вы.
Пощадила ли вас молва?
Две подруги — старая дева
И молодая вдова.

Сотри случайные черты
И ты увидишь — мир прекрасен.

Сотри нанесенные временем черты, свойственные старости, и ты увидишь ребенка. Себя! И — удивительная вещь! — в этом ребенке уже многое чуждо тебе, и ты понимаешь, что если бы ваши детства совпали и вы бы жили в одном доме или учились в одном классе, дружбы не получилось бы.

Все изначально заложено в нас! В нас можно что-то развить, куда труднее — привить. И привитое будет экзотикой, как диковинные плоды Мичурина. Но неприятного ребенка нам, взрослым, легче найти в его уже старческом облике, чем угадать в облике детском. Все же мы, взрослые, редко думаем: «Какой неприятный ребенок!»

«Все гипотезы сходятся на том, что каждая капля воды, которая была на земле или вокруг нее миллиарды лет назад, никуда не исчезла... Каждая капля воды сохранилась».

(Э. Манн-Боргезе*. Драма океана.)

Каждая капля воды сохранилась. И, значит, сохранилась каждая человеческая слеза.

Съезд писателей кончился. Там меняли временные удостоверения на мандаты. Теперь опять состоялся обмен — но уже мандатов на истинное место и значение в литературе каждого из нас.

7. III.86. Внуково

Семь градусов тепла.

Лужи. Капель. Но снег еще бел, его много. Жора Семенов вывел Тома, щенка, во второй раз. Ирландец Том прыгал, залезал на сугробы. У него еще «детская» собачья походка. Ластится ко всем. Жора ревнует, кричит Фролову: «Дай ему по морде! Том! Ко мне!» Хочет, чтобы собака признавала только его, хозяина. Но кто же даст по морде такому псу?!

Песню «Сирень цветет, не плачь, придет» (?) пели мы в дни войны в Сибири по-своему:

Метель метет,
Война пройдет,
Твой милый, подружка, вернется...

«Простите, родные, что пишу вам длинно. Времени нет (потому пишу все подряд). А было бы время, я написал бы короче». (Из солдатского письма с фронта отца М. Беловой.)

Это он, подозреваю, где-то вычитал. Написать, как Маша девочкой не могла понять этой фразы, ее смысла.

Слесарное дело в школе у Галки**. Учитель: «Все, девочки, делается по правилам. Сейчас — одни правила, когда станете юношами — другие правила».

* Элизабет Манн-Боргезе — профессор, председатель Международного океанического института на Мальте, автор многих научных книг по проблемам Мирового океана. Младшая дочь Т. Манна. Автор также рассказов и пьес.

** Галя — дочь Инны Гофф.

У нее набралось много его писем. Она решила их сжечь. Получился довольно большой костер. Он то притухал, то вдруг снова ярко вспыхивал, красно просвечивал уже под обуглившейся горячей золой.

Она подумала, что в этой золе можно было испечь картошку.

Разговор двух художников:

— В какой технике выполнено?

— Дерьмом на заборе!

Художники говорят: «Картина без рамы, как генерал в бане».

Писатель, не обладающий юмором, пытается оживить свою прозу вставными анекдотами не первой свежести. Это напоминает старую даму, нарумянившую щеки.

«Мы не от старости умрем — от зависти умрем». (Галя.)

Подальше от царей — голова целей. (Дуся*.)

Катя** смотрит на градусник за окном. Температура — минус 7. Катя: «Ой, сколько надо вычитать!»

Галя: «На диване у бабушки
Все лежал «Огонек».

Держал микрофон, как эскимо.
Вставная челядь... (Галя.)

(По хозяйству помогли три женщины, приходившие в разные дни.)

— Очки длиннозоркие. (Дуся.)

Когда шел дождь, она говорила:
— Опять окна с той стороны моют...

То не дождь, а чьи-то слезы
Льются с неба на березы.
Омывают каждый лист.
Вечер холоден и мглист.
Потому он так тревожит,
Этих слез невнятный шум,
Что причин понять не может
Человека бедный ум.

Думаю о Харькове уже спокойно, без той боли, что была вначале и там — как будто у меня что-то отняли или сама потеряла.

Воспоминания олитературиваются, мертвеют, приобретая твердые очертания литого тела. Это опасно для творчества, т. к. хранит в себе убивающий все элемент спокойствия. Но спокойствие для **работы** необходимо. Надо отвлечься от себя, от своего эгоистического, от влюбленности в себя и в детство.

Если бы написать вещь «Неведение» — о наивном на фоне грозного, о том, как нас берегли от знания жизни и правды.

Ощущение, когда тебя несут на плече, — в детстве. Толчки сквозь сон.

Некрасивая женщина с красивым военным мужем в магазине. Народ обратил на них внимание. А она: «Вы меня извините. Но как красоту делили — я спала, а как счастье делили — я проснулась!»

И люди умолкли, оторопели.

Родители маленькие (рост), а сын высокий. Повесил все зеркала так, что виден в них лишь он один.

* Дуся — приходящая домработница.

** Катя — внучка Инны Гофф.

1965

На балете «Дон Кихот». Рядом молодая рабочая пара. Содержание прочли перед началом. В картине «В лесу» она говорит мужу (она вообще более сообразительна):

— Это ему (Дон Кихоту) бредится. А Санька спит (о Санчо).

Ветряные мельницы, их крылья, как винты гигантских самолетов.

«Дон Кихот». Галерка кричала: «Молодцы!» Как на матче.

— С вас не песок... с вас цикорий будет сыпаться. (Соседка Филиппа*.)

— Разве это мужик? Его, извините, в кровати не найдешь!..

Купила гиацинты, голубые и лиловые, и пармские фиалки, которые боятся пахнуть вблизи гиацинтов.

У поэтов стихи, как и дети, рождаются от женщин.

«Литва» уходила из Ялты в Одессу молча, озаренная солнцем. «Молдавия» вошла в порт, как ярмарка,— с джазовой музыкой, огласившей берега.

А где мои выдумка и романтика? Неужели они могут питаться только реальностью? Когда-то я работала на воображении. А теперь мне хочется поймать что-то в жизни.

Все мои вещи последнего периода — «Северный сон», рассказы, «Не верь зеркала».

Где-то прошла грань, отделявшая их от первых, «воображенных» вещей,— «Я — тайга», «Биение сердца», «Точка кипения», «Поэтом...».

Ансамбль песни и пляски под упр. Александрова. Юбилей Пушкина.(1949.)

Тихо запер я двери
И один, без гостей,
Пью за здоровье Мэри,
Милой Мэри моей.

Хор (негромко): «Милой Мэри моей».

По-гусарски лихо.

А потом солист пел: «Я вас любил: любовь еще, быть может».

И оттого, что певец был военный и держал руку на португее, романс звучал как-то по-иному, с новым смыслом.

В запахе ландыша есть острая, щекочущая примесь перца.

Все застопорилось. Такие вещи можно писать только в старости, когда все отошло, или в молодости, когда ничего не боишься.

И только не на машинке. Она отвлекает меня от мыслей.

Это работа для лета, потому что похожа на стихи.

Дожди, как поезда, шли один за другим в этот день, с короткими правильными интервалами.

Страшный рассказ. Гречанка любила девочку, соседку, лет семи. У самой детей не было. Евреев угоняли, она девочку оставила у себя (спрятала), а мать послала по адресу (чтобы та спряталась там) и выдала. Так она стала матерью. Девочка выжила. За ней приехала бабка-еврейка. Девочке было 12 лет. Она сказала: «К жидам не пойду!»

* Ф. И. Гопп (1906—1978) — дядя Инны Гофф, литератор.

17.IV.5. ДВК — Дом ветеранов кино.

Парикмахер-садовник работает через день: один день стрижет, моет и укладывает волосы, другой — подстригает кусты, деревья, домашние растения, которых здесь в изобилии.

В общем, его профессия — стричь. И эта очередность как-то роднит человека с окружающей природой.

Академик обсуждал с врачом здешним — где лучше: здесь, в Доме ветеранов кино, или в подобном Доме у академиков. Он сказал:

— Здесь лучше. Там старухи, а здесь старые дамы.

Самоварная комната, украшенная букетом из сухих цветов и листьев, декоративной гжелью, правилами чаепития. Два самовара, включают обычно маленький — мы ходим туда наполнять термос. На огромном, тоже электрическом, надписи на крышке: «Товарищам по искусству от Тамары Макаровой и Сергея Герасимова» (цитирую по памяти).

Старики. Их устремленные навстречу взгляды, ожидание вопроса, надежда на разговор. Их сейчас тридцать восемь, живущих здесь постоянно. Уход, комфорт, тоска и жалость.

Напротив, вернее, рядом — родильный дом, и мимо окон то и дело мчатся к нему такси, а иногда проносят младенца в одеяле или пузо.

Голые деревья, морозящий дождь. Но уже высыпала мать-и-мачеха.

Вчера зашел Петя Тодоровский с гитарой. Играл из «8½», песню Шпаликова из своего фильма «Военно-полевой роман» — «Рио-рита, рио-рита»... По моей просьбе — «Отвори потихоньку калитку», и старинные вальсы, и еще что-то... Потом они с Костей вспоминали войны.

Мы подарили ему свои книжки.

Когда-то к нам его привез Гарагуля, и он у нас играл на гитаре (Борька сбежал за ней к нему домой)*. Играл и теперь играет потрясающе (на семиструнной).

Сейчас тут, в Доме, он делал режиссерский сценарий нового фильма (видимо, «По главной улице с оркестром»).

Нет, я рада, что мои старики не жили в этом Доме!.. Все же это — зал ожидания.

11.V.85

Рио-рита, рио-рита,
Вертится фокстрот.
На площадке танцевальной
Сорок первый год.

Кусочек с этой песенкой нам показали по телевизору 9 Мая, и я опять вспомнила рассказы Тодоровского про Андрейченко, которая сильно пьет и, кажется, выходит замуж за американского актера Максимилиана Шелла (ей — 28, ему — 70).

Девятое Мая! Сорок лет Победы! Сорок лет жизни после Победы, с Победой!

Победы и поражения в мирной жизни — свои у каждого. Преодоления будничного, трудного. И вот отсюда люди с планками и орденами — и без планок и орденов — бросаются друг к другу, прижимаясь к 9 Мая, к своей общей Победе!

Дочитала Бобореко, книгу о Бунине. Несколько дней была под впечатлением.

Есть два рода писателей. Одни пишут себя, другие — своих персонажей.

Бунин всю жизнь писал себя, как Лермонтов.

Оба выразили себя, свое. Они были полны обостренным чувством жизни до конца, и в каждом из них мы оплакиваем душу мальчика, хотя один — старик, другой — юноша. Но сколько общего! Чувство природы, воспринятой остро, почти болезненно от невозможности сохранить, удержать уходящий миг. Краски, свет, волшебство. И горечь, горечь! И разве мало желчи? Ого!

* А. Г. Гарагуля — тогдашний капитан теплохода «Грузия». Борька — его сын.

Чехов — другого рода. Он сумел в силу скрытности отделить себя от героя, стать в стороне, сказав: «Смотрите!..»

Его герои — это не он сам. Это Душечка, Ионыч, «Ванька Жуков, девятилетний мальчик», Каштанка... Гуров ближе других, но весь не он! Да еще доктор в «Скучной истории». Вообще доктора. Но ведь не муж «Попрыгуньи».

Это герои книг. И у Толстого — герои книг, хотя он много взял из окружающей, близкой жизни и много вложил своего. Но все же это герои книг — персонажи. И Анна Каренина, и Вронский, и Катюша Маслова, и Наташа Ростова, и князь Болконский, и Левин, которому автор передал множество своего — от идей до сцены объяснения в любви.

И все же Толстой стоит в стороне, говоря: «Смотрите!»

Он не просвечивает, как просвечивают — светятся жизни М. Лермонтова и И. Бунина сквозь их прозу.

Можно сказать, что Толстой и Чехов создали жизни действующих лиц, Бунин же (и Лермонтов тоже), как соловей, всю жизнь пел на утренней ли, на вечерней заре — одну свою...

— Потому что Бунин и Лермонтов оба были поэты,— сказал Костя, когда я ему это прочла.

Мне хочется написать роман, состоящий из размышлений о любви, т. е. размышлений в нем должно быть больше, чем действия. Ведь жизнь меньше наполнена внешним действием, чем внутренним. Внешне люди большую часть времени почти неподвижны.

Мне довелось как-то видеть людей в открытом окне напротив моего открытого окна. Это было, как экран, но люди, их было человек шесть (через узкую улицу), были со стороны почти неподвижны. Иногда кто-нибудь не спеша пересаживался с одного стула на другой, подходил к окну, закуривал. А ведь там, судя по накрытому к ужину столу, происходило какое-то действие, были гости, друзья. Шла жизнь куда более быстрая, чем та, что была видна снаружи.

Могли быть обида, любовь, ненависть, страсть, воспоминания, скорбь, идеи.

И все это внутри — быстрое, острое, жалящее, радующее, ускоряющее сердцебиение — в почти неподвижности, отсутствии внешних действий, движений.

Издали поражало, что можно так медленно жить.

Читаю Фицджеральда Скотта. Дневники, заметки. Много упоминаний о Эрнесте (Хемингуэе), параллелей с собой. Думая о них двоих, скажу, что Скотт тоньше «Хема», но и слабее его. И как личность тоже. Он подмят судьбой, Зельдой. Эрнест же — сам подминал судьбу. Даже свой конец он решил по-своему.

«Все остальное — чернила и проза». Поль Верлен. «Искусство поэзии», перевод И. Тхоржевского.

У кого половник, тот и полковник (мое).

Он был небольшого, скорее маленького роста. Но большая, красивая голова, очень гордо сидевшая на довольно широких плечах, придавала и его росту некое другое значение. Этому помогали и большие темные, но искрящиеся внутренним светом глаза, которые он навел на собеседника, словно чего-то необычайного ожидая от него. Глаза юноши... Самое молодое, что было в нем.

Он был однолюб. Это как разновидность растения, цветка. Он был как цветок, который цветет раз в сто лет. Но женщина, которую он любил, была из тех растений, что расцветают каждой весной.

Он это знал. И страдал, как страдает растение, которое унесли из светлой комнаты в темный чулан. Так он чувствовал себя, когда она ушла от него к его другу. И стала женой его друга.

«Воровка мужей», — сказал о ней кто-то.

Потому, что те, кого выбирала она, были женаты. Надо отдать ей должное — она выбирала людей достойных. Иногда ему казалось: было бы легче, если б она полюбила ничтожество. Но это был самообман.

Кабинет зубного протезирования похож на кузницу. Вставные челюсти — как подковы. Блеск металла, надетых коронок. По ним стучат молотками — пригоняют, подгоняют по размеру. Потом велят кусать деревянную рукоятку молотка, чтобы коронка плотнее села. Что-то первобытное во всем этом. Люди сидят покорно, обреченно, открыв рот. Внимают окрику протезиста: «Не мне носить! Вам носить!»

Я заметила: когда я работаю, мне люди нужней, чем тогда, когда я отдыхаю. Верней, потребность в людях больше, когда передышки в работе, а не отдых вообще.

1958

Коктебель. 16 июня — 2 июля.

Цветет желтый урюк, растопыренный ежом кустарник, тамариск — деревца с лиловыми цветами-соцветьями, сложенными из мельчайших лиловых колокольчиков в лиловые веточки цветов. Мальвы — желтые и розовые, неломкие. Поспевают вишни, шелковица — белая. Акации здесь мельче, чем на Кавказе, но все же это деревья. Странно висят почерневшие стручки, а кое-какие ветки еще цветут розовыми цветами. Горы блекнут, выгорают на солнце. Розы осыпаются. Были кусты роз и деревца роз, протянутые к солнцу, как букет. Чайные, бледно-розовые, алые, пунцовые, багряные, белые.

Ежики ночью перебегают вразвалку темные аллеи, улитки выползают после дождя. Ласточки воют с воробьями.

Женщина, сильно и глубоко чувствующая и много думающая, редко сохраняет долгую молодость лица.

20.VII.59

К вечеру подул сильный теплый ветер. Здесь его зовут астрахан, т. к. он восточный, из астраханских степей, или суховой. Или — сирокко.

Такой ветер не приносит свежести, а только будоражит нервы, томит. Порывистый. Облака, тучи, марево пыли, пыль на зубах. Садовник сказал: «Три дня подует — все высушит». Море волнуется. Свет ночью гас, провода искрились — делалось замыкание. Тревожный ветер.

Купание солдат у памятника 25 погибшим морякам. Во время шторма.

Все стало соленым — руки, губы. Кожу стянуло на лице от морской воды.

Женщины делают на пляже зарядку у стенки. И когда они, тощие и унылые, нагибаются на согнутое колено, то похожи на галерных рабов.

Юг притупляет мысль, но обостряет чувства.

Я в детстве мечтала научиться плавать саженками и вралась мальчишкам, что плаваю.

И вот в 30 лет я научилась плавать саженками. Где вы, мальчишки моего детства, которым я хотела казаться смелой?

Встреча с американцами. Они провинциальны. Первый признак провинциальности — самодовольство.

Спросила у Стеллы*:

— Какой роман ты бы хотела прочесть?

Она сказала:

— О безыдейном герое и грешной женщине.

В любимом человеке ничего не раздражает, и любимый человек поэтому всегда бывает таким, как надо для тебя в ту или другую минуту.

Это ужасно, какие изменения претерпевают взгляды, душа человека. Какими идеалами и убеждениями приходится поступаться! В конце концов каждое новое убеждение — это повергнутый идеал. Да и слово само — убеждение!

Убеждение себя самого в чем-то, с чем соглашаешься не сразу, а поразмыслив, т. е. **убедив себя**.

* Стелла — подруга Инны Гофф.

Смогу ли, описывая войну, госпиталь и вообще те годы, избежать сентиментальности?

Сантименты раздражают. Чувство должно быть, но нужно спрятать его за внешнюю суровость, чтобы оно сочилось, а не лилось потоком.

Не забывать о юмористической интонации в самых серьезных местах.

Песенка (свое)

Безразлично мне, конечно,
Что там — золото иль медь.
Лишь бы только мне колечко
От любимого иметь.

Мне не важно, что за камень —
Сердолик иль бирюза.
Лишь была бы только память
Про любимые глаза.

Еще.

Мне рассказал об этом
Бывалый капитан.
Как вражескую мину
Припрятал океан.

Как якорь ее поднял
Однажды из воды
И как в порту спокойном
Чуть не было беды.

Любовь моя, как мина,
Лежит на самом дне.
Она не угрожает
Уж ни тебе, ни мне.

Не трогай эту мину
С проклятой глубины,
Чтоб не было нам горя,
Печали и вины.

Читаю Бальзака. «Тридцатилетняя женщина» и «Беатриса». Самое главное у Бальзака — не интрига, а цепь рассуждений, вызванных ею.

Как бесстрастно рассказывает он о гибели маленького Шарля, которого сестра Елена, девочка восьми лет, столкнула в реку, и как страстно описывает преимущества женщины перед девочкой. Бальзак — скорее ученый в области психологии, человеческой души. А рассуждения! Как они спорны! Но разве можно писать бесспорные вещи? Кому это интересно? Бесспорная истина — не удел литературы.

Девушки в наше время мечтали стать летчицами. А теперь мечтают стать стюардессами.

Моя молодость сидит на галерке, ездит в общих вагонах. Есть в Москве улицы, где она прописана постоянно.

А я езжу в СВ, сижу в партере — поэтому мы не встречаемся.

И вернусь я домой
С деревянной ногой...—

пели в госпитале.

Бывают книги, зачатые случайно, как дети. Вдруг родится строчка — и пошло.

Иногда она, бывшая балерина, вдруг в задумчивости, сидя где-нибудь в саду или в доме у друзей, забывшись, выгибала ногу в подьеме и твердо ставила ее на носок, на пуанты. В этом подсознательном движении была вся ее прошлая жизнь, музыка, блеск рамы, ритм и легкость.

В эту минуту она походила на старую цирковую лошадь, встрепенувшуюся при звуках музыки. Только музыку ее души никто не слышал, кроме нее.

Человек всю жизнь покупал только небьющиеся подарки и любил говорить о вещах: «Она нас переживет».

1959

Она любила его не за то, что понимала в нем,— за то, чего не знала, не понимала.

Я не знала — что он ел. В юности стыдятся говорить об этом.

Комочки замерзших птиц, как серые камешки, лежали на белой дороге.

Зинка чистила шинель подполковнику, хвалилась: «Я тоже с солдата на-чинала».

Нельзя объяснять чувства — надо их показывать.

Признания тебе в любви, если не испытываешь взаимности, возбуждают чувство брезгливости.

Так же и воспоминания о любви — когда умиляется один, а другой холоден.

Возле магазина «Мужская обувь», за углом, всегда валялись грязные, истоптанные ботинки и порванные носки. Мужчины переобувались тут же, во дворе дома, где помещался магазин. Это было забавное зрелище мужской неприсмотренной неопрятности.

Рассказ Филиппа (со слов М. Кольцова), как сняли фильм в Голливуде «Прощай, оружие». Там была площадь в Милане, на которой герой и героиня кормят голубей. Хемингуэя пригласили посмотреть. Он сидел молча, сказал: «А вот и голуби!» — поднялся и вышел.

Знаешь, мне кажется, что я становлюсь слишком неинтересным собеседником. Я слишком много думаю о своей работе.

— Как ты похудела! Ты делаешь гимнастику? Или не ешь хлеба? Посоветуй, мне тоже нужно похудеть.

— Худеют, когда еда становится не самой главной радостью в жизни.

От легкой, неглубокой любви, вернее, от увлечения — хорошеют, от глубокой любви, любви-страсти, страдания — дурнеют.

От плохих мужей женщины не уходят. Уходят от хороших.

Вариант. Плохие мужья бросают женщин. А от хороших они сами уходят.

Мы пишем, словно идем по жердочке, проложенной через лужу. Аккуратно ставим ногу в ногу, боимся оступиться, промочить ноги, запачкаться.

Вся наша литература — это хождение по узкой жердочке.

Он так смело признается в любви, что сразу видно — у него есть опыт.

Она слушала его с милой улыбкой, обращенной не столько к его словам, сколько к себе самой, к этому весеннему солнцу, мокрому асфальту, своей новой шляпке и своим девятнадцати годам.

Я не люблю хранить сувениры, письма. Я современный человек, чуждый сентиментальности.

В памяти все острее, только в ней все хранится. Главного — не забудешь. И оттого, что оно только в памяти,— немного жутковато. Иной раз покажется, что ничего не было...

Девушки двух видов — одни рано хотят быть барышнями, другие заплетают косички и вплетают бантики — чтобы подольше умилять всех своей детскостью.

Первые — серьезные и рассудительны, вторые — наивны и смешливы.

По словам А., Туполев сказал, что «АН-10» — Царь-самолет и летать он не будет, как Царь-пушка не стреляет.

Думала о разнице между Хемингуэем и Ремарком. У первого всегда подтекст, а у второго только текст. У Хемингуэя интересные личности иногда произносят ничтожные речи, а у Ремарка заурядные личности порой произносят интересные речи.

Арбузы и дыни выбирают. Все стараются взять «мальчика». Их по хвостику и по форме определяют.

— Дайте мне холостячка!..

Люди живут одновременно, но в разных веках. Он жил в атомном, она — в каменном или в лучшем случае в веке пара и электричества.

Очередь за обручальными кольцами...

Дочка девяти лет писала новогодние пожелания своим друзьям по классу и всем желала «счастья в личной жизни».

Капля дождя довольно бойко ползла вверх по ветровому стеклу, и он наблюдал за ней с отчужденным любопытством.

Картины Шагала — это предчувствие гетто, Бабьего Яра, Тракторного, Майданека и Бухенвальда.

Паук был разочарован: в паутину залетали только зонтики облетевшего одуванчика.

На мой пейзаж большое влияние оказали импрессионисты. Интересно, оказали ли они вообще влияние на мою работу? Думаю, что да.

Интересно, что никогда не говорят: в творчестве такого-то (прозаика) чувствуется влияние Ван Гога или Шопена.

Дом Толстого в Хамовниках. Огромная плетеная корзина для черновиков под его письменным столом. Хмурые «катакомбы» — нижние комнаты, кабинет — все как кельи монахов. Скамейка в глубине сада. Солнце сквозь листву лип и вязов. Внезапный воробей... Этот запустевший сад как бы в глубине веков, вдали от жизни.

Грибы нам говорят: «Зайдите завтра...»

Галка вчера работала с несуществующими предметами. Показывала, как жарит яичницу. А потом взяла настоящий утюг и гладила. Я сказала, что с несуществующими предметами она работает лучше.

Беременный арбузами город — в августе.

Жареную камсу в магазине «Рыба» называли «Хор Пятницкого».

— ... И хора Пятницкого двести грамм...
Вполне привычно.

Когда-то снег возле школы был в чернильных кляксах.

1963

Прекрасный рассказ Сартра «Мадридская марка». В нем весь Париж, его улицы, и люди, и освещение, и живость, и темперамент, и лирика. И — всего полторы страницы.

22 ноября 1963 г. в Далласе (штат Техас) убили президента Кеннеди, выстрелом из окна шестого этажа, из снайперской винтовки.

Америка в трауре и смятении.

Жалость у всех чисто человеческая — молодой, красивый убит, остались жена, дети: Каролина — шести лет и Джон — трех.

Три года исполнилось ему в день похорон отца. Мне навсегда запомнилось, как Жаклин Кеннеди шла за гробом мужа, которого везла на лафете шестерка белых лошадей. Первыми за гробом шли два брата президента — Роберт и Эдвард, а в середине — она, шла твердой, какой-то трагически-гордой поступью. В светлых туфлях на удобном каблуке. Ее волосы развевались по плечам.

Вели коня президента, он волновался, гарцевал, рвался из рук, нервничал. А белые лошади везли покрытый национальным флагом гроб покорно и тупо.

А над кладбищем в военном параде пролетел одиноко самолет президента...

Когда умирали фараоны, в их гробницу клали жену, коня и все, чем они лично владели.

Теперь бы пришлось положить и самолет.

Городок в Сибири — как елочная игрушка, закутанная в вату, поблескивающий из снежной ваты хрупкими льдинками.

Фасон мужской рубашки — «кормящий папа».

Дворничиха очень переживала за Жаклин Кеннеди — она тоже осталась вдовой с двумя детьми. «Как она будет?»

В детстве «навсегда» и «никогда» звучат легко, почти весело.

Они не понимают, что оставляют позади часть себя, своей жизни — детства — неповторимое.

Когда мужик храпит, на Кубани говорят, что он сено продает. Как захрапел — значит, все, сторговался и доволен.

1964

Молодежное кафе «Алые паруса», которое молодежь зовет «Рваные паруса». Такая романтика им ближе.

— Вы повисите, а я постою (в троллейбусе. Одесса).

Дождь шумел в листве, дальние молнии посверкивали из темноты в комнату, как будто кто-то на миг приоткрывал дверцу топки.

— Смотрите, она уже выходит походкой! Так еще же рано!..

— Гофф — это фамилия? (На почте, при отправке т-ммы.) Может быть, учреждение?

Две девочки с бантами на плечах у беседующих отцов.

Люди говорят мне: «Я вас видел четырехлетней», «Я помню вас в два года». Так же мы сможем сказать Маринке*, которая нас не вспомнит, как я не вспоминаю этих людей. Почему же я так отчетливо помню, как стоял диван, где была дверь на балкон, стол и мальчика в красной рубашке, когда я кричала с балкона: «Дети, идите все сюда!» Блеск натертых полов и скуку среди взрослых.

Голые стволы платанов, сбросивших кору. Молодая кора зеркально светла.

Ветрено. Лебедки в порту истерично повизгивают, как девицы, когда их тискают в подворотне.

Львы Воронцовского дворца отданы детям на растерзание. Дети на них сидят по двое, по четыре. У одного льва отбит хвост. Ручные львы или отважные дети?

* Маленькая девочка — родственница Инны Гофф.

Филармония в здании бывшей Биржи. Когда Утесова спрашивают, почему он не приезжает, он говорит: «А где я буду петь? В Бирже? Но она строилась так, чтобы, когда один купец сообщал что-то другому, третий не слышал...»

Девочка с тонкими ножками в носках спала у него на руках. Они свисали, как вареные макароны с ложки.

Раньше в Одессе говорили: «дама». Теперь: «женщина».
— Женщина, вход в музей платный...

Пушкинская улица — бывш. Итальянская. Вымощена булыжником — голубой итальянской лавой, как и двор дома Пушкина. Лаву загружали корабли (в качестве балласта), когда шли из Италии за зерном.

Возле театра часть Пушкинской вымощена брусчаткой желтоватого цвета. Ее положили на пробу, на 10 лет — проверить качество, чтобы затем мостить этим камнем одесские улицы. Это было в 1910 г. 54 года тому назад!

А море в белых гребешках и белых теплоходах — прекрасно.

Одесские официанты.

— Попросите метрдотеля.
— Я должна звать метрдотеля? Смешно!
— Вам смешно?
— Да, мне очень смешно.
И поплыла, величавая, со своим подносом.

— Вы даже не дали мне меню.
— Натяните вам меню!
— Я уже выбрал! (Он боится отпустить ее навеки.)
— Так что же вы меня мучаете? (Встряхнув спинку пустого стула.)
— А вы не кричите.
— Это вы не кричите! Дома будете капризничать!
Весь диалог происходит свистящим ненавидящим шепотом.

— Простите, вы у нас?
Официант (невозмутимо):
— Это вы у меня.
(Молодой, здоровенный парень, его бы в колхоз.)

Дедушка играл на пианино, как ученик, которому должны поставить отметку. Внук пел, и мать боялась, что дед его заглушает.
И внучек, и дед хотели показать себя.

Продавец на уличном лотке выбрал мне лимон. Я взяла, сказав:
— Как будто ничего...
— Понравился? — крикнул он. — Да или нет?!

Старые продавцы хотят, чтобы мы их запомнили, а молодые нас не замечают.

Дом, где родился Багрицкий, — угол Базарной и Ремесленной (старые названия).

Пушкин назвал Воронцова: «Придворный хам и мелкий эгоист». Он хотел, чтобы Воронцов вел себя, как Брик.

Знаменитый летчик Уточкин съехал на мотоцикле по Потемкинской лестнице.

Эйнштейн говорил, что «тот, кто читает газеты и современную литературу, похож на человека, который близорук, но упорно не хочет носить очки». Те, кто достоин, чтобы их читали, отстаивались столетиями по одному-два на столетие. Надо читать гениев, отобранных веками и тысячелетиями.

Я все больше люблю и чувствую музыку. Странно, что музыка — серьезная — нужна сравнительно немногим.

Храни вас Бог от женственных мужчин,
От их капризов, взглядов их надменных,

Угроз самоубийства неперенных
И долгого молчанья без причин.

Звонок по телефону, спрашивают хозяйку. «Это был голос человека, который хочет одолжить деньги», — сказала мама.

Сосна «Пять братьев». Просека с березкой — «Просека первой любви». Если бы не только улицам давали названия.

Просеки — это лесные улицы.

Белую лошадь пасли на полянке, откармливали. Татары купили ее в колхозе, чтобы сделать колбасу.

Когда смотришь на это умное, покорное, красивое создание, хочется стать конкрадом. Первое время лошадь была весела, пощипывала траву да помахивала хвостом, видимо, не понимая, за что ей такое привалило безделье и раздолье. Но потом ее охватило предчувствие чего-то мрачного, тоска. И она недоверчиво вглядывалась в каждого, кто проходил мимо, и завидовала запряженным в телегу лошадям — ей была видна сквозь деревья дорога.

Слепни нападали на нее, жалили в лоб, глаза. Она их вяло отгоняла, поводя головой, и они слетали снова и снова жалили, но она не замечала. Ей было все равно.

У нее были основания для тревоги и предчувствий. Она была рабочей лошадью и знала, что за мешок сенца надо бежать километров тридцать... А колхоз покупал трактора.

Если бы Он и Она могли любить друг друга, не таясь, и быть вместе столько, как им хотелось, — не было бы на земле ни музыки, ни стихов, ни архитектуры, ни физики, ни подвига.

Вся цивилизация создана человечеством на трудном и бесконечном пути двух сердец — одного к другому.

Жюльен Сорель держал портрет Наполеона под подушкой, а Петя Ростов шел умирать в войне с Бонапартом. Но одно общее похожее чувство было у них обоих — чувство обостренной любви к родине. То же чувство вело меня к стенам Кремля. То же чувство, что вело Герцена и Огарева на Воробьевы горы.

Сталина любила по слухам и разлюбила с чужих слов. Он прошел невидимкой среди своего народа, остался чужаком, легендой; при жизни — героической, посмертно — страшной.

В счастье, как и в горе, человек одинок.

«Обувь для пеших прогулок». Рассказ.

Мы позабыли или позабудем,
Что было явью или же мечтой.
И только книги остаются людям —
Как бледный отсвет жизни прожитой.

1966

Новый год, как поезд, приходит минута в минуту. И общее волнение, похожее на предотъездное, как будто люди боятся остаться в старом году, не вскочить хотя бы на подножку последнего вагона.

Почему так трудно писать? Какие-то другие цели и другое представление сейчас у меня о том, что есть литература.

Раньше мне казалось высшей удачей, если написанное будет «похоже на жизнь», убедительно, и все будет, «как в жизни».

Видимо, это и есть требование беллетристики, от которой я отошла. Просто невозможно, невыносимо в живые одесские куски и сценки вталкивать клейковину фабулы, сюжета, всю эту соединительную ткань. Я становлюсь все эгоцентричней в работе и уже вполне близка к стандалевскому «эгогисту». Впрочем, меня не так уж интересует именно мой опыт, а просто все увиденное мной в жизни, а не вымышленное из обобщенного впечатления.

«Тогда я был молод и был с миром на «вы». Этот мир, окружавший меня, был старше. Теперь, с годами, мир вокруг меня помолодел — шоферы, продавщицы, почтальоны — все, кто окружает меня, годятся мне в дети... И я теперь обращаюсь к миру на «ты», как все старики».

Он стоял у края мостовой. Тень автобуса переехала его, накрыла. Он как будто удивился, что не чувствует боли. Он чувствовал не боль, а только тень боли.

Город, где все за углом и рядом (Галя о Таллине).

Микеланджело сделал статую Юлия II для Болоньи. Она простояла четыре года. Потом восставший народ разбил ее камнями, а наместник папы отлил из нее пушку и назвал «Джулия» в честь Юлия II. Такова судьба великого произведения, может быть, шедевра.

Искусству опасны связи с властью.

«Загорела, как солдат». То есть местами.

Солдат был насыпан полный грузовик, как арбузов,— над задним бортом даже набили планку, чтобы они не высыпались.

— Ты думай, когда говоришь. Я же тебя слушаю!

Машинка организует труд писателя, зато обыкновенное перо раскрепощает мысли. Они — текут!..

Как писать о Париже? Самая большая ошибка — писать о нем как бы для тех, кто не видел Парижа.

Париж видели все, и исходить надо из этого.

Главное, что трусость не помешала нам это написать. Пусть потом трусы это не напечатают. Но все же оно существует.

— Я заметила, что мужчины ищут мужской дружбы тогда, когда не находят себя в женщине, в любви к женщине.

Все эти мужские братства, компании сродни монашеским орденам. Человек может иметь семью, жену, детей и все равно быть одиноким, искать духовного родства, братства. Но мужчина, нашедший в женщине свое отечество, часто не имеет друзей среди мужчин.

Косте приснилось, что он купил колбасу, а мне — что я прячу ее в холодильник. «Даже сны они смотрели вместе».

Твардовский (со слов Трифонова) говорит, что молодые писатели научились хорошо слушать народ, его речь, но что из прозы их исчез рассказчик, автор, его дума о жизни.

Чтобы показать, что снегу выпало много, достаточно заметить, что заборы сделались очень низкими.

1968

В Волгограде борется желание забыть о войне с желанием вечно о ней помнить.

На Кургане все, кроме круглого пантеона, помпезно и весьма бездарно. Все отвлекает от главных мыслей.

Даже звучание записанных на пленку песен. Их четыре, и «Темную ночь» поет не Бернес.

Дом Павлова желтенький, все надписи закрашены. Осталась одна, свежая — «фантомас».

Одуванчик — цветок, не охраняемый законом.

Девушки-подруги в одинаковых платьях — как в униформе. Их спрашивали: «Девочки, вы из какого магазина?»

Читаю «Кубик» в «Н. мире». Когда оригинальность становится стилем — она перестает быть оригинальной. «Св. колодец»* был откровением и радостью. «Кубик» уже забавляет, и я предчувствую, что это литературное гурманство может в будущем и раздражать. Не утомляет и не приедается только естественное. Всякий прием — как острота, теряет от повторения. Или как повторение на «бис», которое всегда охлаждает зал.

Ялта. Конец апреля — май 69

За нашим столом Булат Окуджава, Вас. Аксенов, Анат. Рыбаков и... жена артиста Филиппова, старуха из Л-да, автор «Мальчика из Уржума» с темным прошлым.

9 Мая с утра до ночи ликованье — утром встречали «Грузию» и пили на борту до трех, а вечером в столовой кутеж — день рождения Булата. С утра до вечера он пел под гитару — и на корабле, и в столовой. Вечером много тостов, потом Белла читала стихи.

...Читали в рукописи роман Рыбакова, — я сказала, что можно издавать такую серию, как «Б-ка приключений», — «Дети Арбата».

Булат читает о Павле I, хочет писать о декабристах. Аксенов пишет для отрочества по договору с «Костром» какую-то фантастику про советского мальчика — «супермена», дельфина (он сказал: «Мальчик даже способен улавливать ультразвук ухом»). Он сказал, что хотел бы написать такую фантастику, где Крым будет не полуостров, а остров, вроде революционной Кубы, и как будто Врангеля выбить не удалось. («Изменить одну географическую подробность — и все», — добавил он.)

Рассказ про пижона, который врал, что пьет всегда с Окуджавой, что Окуджава живет в его доме и Евтух тоже, а затем узнал, что это Аксенов, и вдруг тихо и быстро спросил: «Над чем работаешь, Вася?»

Рассказ Булата о том, как он голодал, переехав с семьей в Москву, и написал письмо в Секретариат. Симонов вызвал его в «Н. мир», велел дать ему на пробу в отделе критики книгу для рецензии и сказал, что через три месяца вернется из Индии и, возможно, тогда его возьмет на работу!!!

Булат, говоря о первой жене, говорит — жена, а о второй — Оля.

Его: «Господа, господа!» и шутливо-ворчливое: «А-а, перестань!..»

Его рассказ о том, как мальчиком он проснулся ночью и увидел не то слесаря, не то водопроводчика, который стоял спиной к нему и водил палкой по батарее отопления. Булат спросил:

— Саша, ты чего ночью?..

Тот обернулся — это был совсем не Саша. Шел обыск. Потом увели мать.

Переписал для Галки от руки свою новую песню — о Моцарте — по ее просьбе. Песенка очень хорошая («Моцарт на старенькой скрипке играет»).

Булат рассказывал, как они с женой приехали в молодости в Сочи. На пляже — негде ступить, и они, по очереди держа одежду друг друга, выкупались в море: «Скорэй, скорэй!.. Хор-рошо! Да-а...» Как в молодости мало надо (для счастья).

Все время рассказывает о жене — не об Оле.

Когда плыли (авг. 1969) на т/х «Лесков» по Оке и Волге («Малая кругосветка»), Галка придумала: «Только через мой трап!»

1971

Любовь требует понимания, иначе говоря, любить можно, если понимаешь человека, знаешь его душу.

Что совсем необязательно для страсти. Страсть — явление кратковременное, стихийное. Страсть — это шторм, а любовь — климат, включающий в себя и шторм, и штиль.

* «Кубик», «Святой колодец» — повести В. Катаева.

Один человек имеет тысячу лиц — взаимодействуя с другими людьми, он как бы поворачивается разными своими сторонами. Тень, свет, полумрак, тьма, заря — он сам, как планета, и озаряется то одна, то другая его сторона — сторона характера, души.

Когда играешь злого — ищи, где он добр, — сказал кто-то вроде Станиславского. Верней сказать: когда пишешь злого, ищи, с кем он добр.

Однокрасочность — удел фельетона, сатиры. Но многокрасочность в неопытных руках ведет к распадению образа, к вялости.

А что такое «Душечка»? Фельетон? Чехов писал с юмором, даже злым. Толстой над рассказом плакал. А ведь эта душечка, я уверена, говорила нищему: «Бог подаст!» и, любя объект любви, не любила всех остальных.

Журнализм в человеческих отношениях. Это мое выражение очень одобрил Ю. Трифонов.

Как я это понимаю? Человек нужен тебе сегодня, до зарезу, как воздух, как информация в номер, который уже верстается.

Информация получена, номер вышел — человек отброшен, не нужен... Тот, кто только что был тебе почти братом, и для тебя было так важно, с какого возраста он начал ходить и когда впервые сказал «мама»...

— Я тебя породила, я тебя и перебью!..

Костя что-то расшумелся. Я сказала, что он, как Дон-Кихот, воюет с мельницами, подразумевая себя и Галку.

Костя оценил и добавил: «С ветренными мельницами»...

Должно быть, мы что-то мололи.

На пенсию вышел,
А пенсии нет...
(Дать кому-нибудь в зубы эту песенку.)

— А это внучка Петра Борисовича, — сказала старушка, дежурившая в зале. Так запросто звала она графа Шереметева, владельца особняка, в котором служила лет двести спустя после его смерти.

Грусть старых, полузаброшенных русских кладбищ, где многие могилы сползли в глинистый ров или сровнялись с землей, едва удерживая жестяную или деревянную дощечку или крест.

Языческое отношение русских к смерти больше всего проявилось там. И все же и они лучше и веселей — если кладбище может быть веселым — пышных официальных мраморов, выстроившихся в ряд, громоздких и холодных, — пышность не идет смерти.

Воробей с маргариткой в клюве на перилах балкона.

«Техническая сметана» (Галя) — сметана наилучшего качества, в маленьких баночках, которую мы купили, чтобы жарить кур.

«Мадонна с младенцем», мать с младенцем, на выставке, картина современного художника. Кормит ребенка грудью, держа сосок между двух пальцев, как сигарету.

Филипп сказал: «Вы все любите это слово, вся ваша семья любит слово г...!»
Галя ему ответила: «Это слово у нас настольное...»

Груша мягкая, переспелая, от пальцев на ней оставались вмятины.
— Отечная, — сказала Галя.

1974

Холендро рассказал, как жена Ливанова спрятала коньяк, а Ливанов позвал собаку, дохнул на нее и скомандовал: «Ищи!»

Анекдот о японце, которому показывали наши новостройки, а он, желая сказать «очень приятно», повторял: «Осень песяльно, осень песяльно», — и грустно улыбался.

Чешский Луна-парк. «Комната ужасов» (в Дубултах). У входа на этот аттракцион висят правила — как сказала Галя, «правила пользования ужасами».

Г. Б. доит корову, которой у него нет, — такое сейчас впечатление от его прозы.

Мэтраж. «Каков мэтраж вашей вещи?» — спрашивают у мэтра.

1976

Для начала я уберу машинку со стола, чтобы она не мешала думать.

Жеманные харьковские старушки. З. сказала, что ее мать, говоря со мной по телефону, смотрит в зеркало.

Простонародный артист и просто народный артист.

В старости человек прирастает к месту, теряет подвижность и от этого приобретает еще большее сходство с деревом: его можно увидеть, лишь приехав или придя к нему издалека.

Оно укроет тебя от бури, приласкает в тени, спрячет от дождя, оно живое и дышит, но оно способно лишь ожидать тебя и встречи с тобой.

Мое глубокое внутреннее сочувствие провинциалам, не знакомое коренным москвичам.

1977

Разговор с Костей о том, что люди стали хуже. Обозлены, заняты собой, замкнуты на себе. Мало радуются успехам друга. М. б., потому, что мало успели сами. Те, кто чего-то добился, радуются больше, нет задетости от того, что другой — достиг...

Вообще страшное это устремление большинства — не вовне, а внутрь себя, своего — узкого — круга — дома, семьи. Круг этот очень сузился в последние годы.

Говорили с Галей (она меня писала маслом) о том, что сопричастность, даже малая, дает иное восприятие искусства, да и вообще любого действия. Костя в детстве играл в футбол и пишет о спорте сопричастно. Я училась музыке, занималась в балетной студии, танцевала, плясала. И когда слушаю музыку — даже Рихтера! — то сопричастно, так же, как смотрю балет, а еще больше — пляски.

Когда же, например, слушаю скрипача, то со стороны, внешне, т. е. не вникая в действие, лишь постигая его результат — глазами и слухом.

Разговор этот начался с искусствоведов, пишущих о живописи. О знатоках ее — внешних и тех, что сами брали хоть однажды в руки кисть или перо.

Если хочешь прослыть знатоком, надо, став перед картиной, желательно крупного мастера, вытянув руку перед собой, закрыть ладонью — ладонь ставьте поперек, внутренней стороной — часть картины и, сощутив глаз, говорить что-нибудь вроде:

— Планы смещены, как всегда... Но ритмика, ритмика! В цвете тут наврал... Говоря так или в таком роде, скоро замечаешь, что за тобой уже следует кучка непросвещенных, почтительно вслушивающихся в твою несвязную речь...

Люди, носящие маски, в конце концов теряют свое лицо, если оно под маской было. А может, его и не было?.. Отшучиванье, несколько стандартных ответов-отрот — дальше вход закрыт.

Это не людоедка Эллочка со своим «Хо-хо!» — у нее этим исчерпывается весь арсенал. У этих масок за их «хо-хо» скрывается якобы нечто свое, и ты выглядишь этаким простаком, раскрывая душу, говоря всерьез о серьезном и важном для тебя.

— Вернете в двойном размере!..

— Я положительный, я описан в литературе...

— Я давно созрел, чтобы стать бабушкой...

Каковы они без масок? Наедине с собой? Маска слипается с кожей, становится лицом или безликостью...

Разговор о том, что в нашей стране вместе с «человек звучит гордо» чрезвычайно возросло чванство.

Не достигнув духовного равенства, все чувствуют себя равноправными, в «низких» организмах это породило вместе с самодовольством неуважение к другим людям.

Только человек, уважающий себя, может уважать другого.

Комар ущипнул!

В определенном возрасте люди как бы стесняются уже воспринимать жизнь серьезно, оставляя это детям и старикам. Они воспринимают жизнь как некий средней руки фильм, поставленный на провинциальной студии посредственным режиссером. Фильм, в котором сами они играют весьма бесцветные роли.

Светскость ничего общего не имеет с истинной воспитанностью, вежливостью и интеллигентностью.

Светский хам — вот что заменяет в наши дни понятие «интеллигентный».

Иной раз кто-нибудь удивит внезапным рывком к тебе — с откровенностью или подарком, и тем, и другим тобой не заслуженным. Озадачит, но не тронет. И ничего из этого не получится...

Мне посчастливилось, я родилась еврейкой.

А то бы стала небось антисемиткой. Как знать? Дразнилась бы в детстве: «Жив, жив!..»

Во всяком случае, не понимала бы многого...

Что-то есть в этой древней нации одновременно притягивающее и отталкивающее. Среди ее представителей соседствуют так близко талант и бездарность, ум и глупость, щедрость и скупость.

И ни одно великое дело не обходится без этих из глубины веков бредущих племен, сохранивших, несмотря на чуждое окружение, войны, погромы — свое национальное лицо, которое в моей стране именуют жидовской мордой.

1979

Галя придумала новое слово: «антиметис».

Русскому писателю жить среди иностранцев, как среди неграмотных, или музыканту — среди глухих. Горько: его никогда не прочтут и не услышат.

Пишу «Превращения» — лоскутное повествование о своей жизни, вокруг темы «Как из девочки стала бабушка».

Трудно.

О правде и лжи, о том, как мама меня отучала врать. О вранье и фантазии. О трусости — не есть ли она результат развитого воображения. И о преодолении страха, которое выше обычного «не бояться»...

Внуково. 1983

Гуляя с Ричи Достян*, вспоминали Литинститут. Я сказала, что сначала там был лицейский дух, а потом стал — полицейский. Самой понравилось.

Мягкий февральский вечер, когда кутили с Семеновыми — Леной и Жорой, — они у нас, потом мы у них. Как Жора злился на Джоя, который боялся его, пьяного хозяина. Не узнавал, вернее, чувствовал, что хозяин не в себе, и не хотел к нему идти.

— Джой! Иди ко мне. Ну что за дурак такой!..

Джой — английский сеттер — виновато посматривал, пятился, отбегал. Стоял, потупясь, как бы стесняясь Жору, что он в таком виде. Так стесняются жены, волоча из гостей по улице своих упившихся мужей. Я не знала, что собаки сторонятся пьяных, даже если это их хозяин.

Хороший собеседник — не тот, кто хорошо рассказывает, и не тот, кто хорошо слушает. Это тот, при ком можно сказать что-то неожиданное для себя самого. Такой собеседник — для пишущего сушая находка. И этим, наверное, можно объяснить некоторые дружбы между людьми неравноценными. Просто один, слушающий, — как бы камертон для беседы. И это бывает важнее, чем равная одаренность.

Ноябрь. 1983

Письма на «Превращения» все идут, замечательные есть письма. И вот подумалось: мы говорим, что у нас читатель массовый, а он вовсе и не тем интересен, а важно, что есть свой читатель, избирательный, который ищет тебя, твое слово.

Вот когда есть такой читатель, тогда и чувствуешь обязательство не только для себя, но и для него что-то сказать. А я уже давно молчу, если не считать вступительной статьи к однотомнику Авиловой в «Сов. России». Я написала ее в феврале 83-го, это было нелегко после всего, что я уже написала об Авиловой. Надо было эту тему повернуть и повторить, не повторяясь. И опять — убедить кого-то, говоря ненавязчиво, в ее значении для Чехова, в ее роли в жизни Чехова, его творчестве.

Потом в «Октябре» (№№ 6, 7) напечатаны «Превращения», а в 7-й «Юности» — «Сага о старом корабле».

Впечатление работающего человека, тем более что моя «Переполненная чаша» (1981) наделала шума и еще не забылась — кажется недавностью. Но я-то знаю, когда это все написано!

«Сага» — позапрошлой зимой. «Превращения» — поза-поза... И писались они долго, эпизодически, «с одна тысяча девятьсот», как говорится.

Вот это и есть главное — что я это знаю!

В 1982-м вышла книжка, переиздание «Запаха смородины». Тоже производит впечатление работы. Впечатление... Импрессион.

Но ведь надо же наконец работать!

Писать... Но о чем же?.. Это как

Любить? Но кого же?
На время не стоит труда,
А вечно любить невозможно.
В себя ли заглянешь...

Так вот, заглянув в себя, чувствую какое-то отвращение к сюжету, к беллетристическому построению. Сюжет может быть лишь поводом к размышлению. Или вся ткань повествования должна состоять из переплетения сюжетов. Как ковер какой-нибудь персидский — из узоров, которые вместе, переплетаясь, образуют общий орнамент.

Что-то вроде еще одних «Превращений». Мне кажется, в них я нашла себя. Жанр ли это? Если жанр, то не для всех читателей, но мой читатель его принял близко, признал. Это мой с ним разговор, а ведь разговор — это для близких, не для всех. Разговор — это не речь! Для произнесения речи годятся сцена, кафедра, зал, площадь. Даже броневик — в качестве постамента, возвышения.

Речь — это воззвание. Разговор — это рассказ, размышления, случайный эпизод, воспоминание, боль или радость души.

* Ричи Достян — писательница.

Можно, конечно, писать короткие вещи, из которых сложится новая книга. Писать, писать и писать, и по бревнышку сложится нечто цельное.

Написать о Париже (о двух моих Парижах), о Дубултах весной, о Ялте осенью (и то и другое — с людьми). О Шкловском, о Катаеве, об Олеше в Малеевке, о Чуриковой, о Зыкиной — можно назвать их Актриса и Певица. О Трифонове (в плане взаимоотношений с отдельными штрихами характера), об Окуджаве (как о прошлом), о Высоцком (у Абдуловых и на Матвеевской), об амулете Вознесенского («плавки Бога»), о Евтушенко, когда он был с Беллой, и о самой Белле. О том, как Смеляков читал у нас свои стихи «Приснилось мне, как я чугунным стал», а наш «Днепр-3» их не записал. О том, как нам Утесов после смерти жены рассказал, как она его спасла, не пустив на самолет...

Можно книжку назвать «Застолье». А м. б., как-нибудь серьезней, но не слишком...*

П. Антокольский в Переделкине. Его рассказ об одесском парикмахере. Парикмахер. Вы москви-и-и-ич?
Антокольский. Да. А как вы это узнали?
Парикмахер. По акценту.

Вообще надо писать каждый день. Костя как-то сказал, что если писать даже по одной странице в день, то можно за год выдавать 200 страниц, да еще 165 дней отдыхать.

Но мы — не немцы, нет пунктуальности. Их Бог — орднунг (ordnung) — с das или der — не помню! Порядок, в общем. Это не наш российский Бог.

Паустовский завидовал Бунину, который в жизни много путешествовал. Есть люди, которым необходимы путешествия, как приток кислорода. Они обновляют душу, промывают глаза «живой водой».

Я отношу себя к числу этих людей. Между тем так сложилось, что в последние годы мы очень мало ездим, и это гнетет, гасит что-то во мне. Косте как-то не так это необходимо. Он легко обходится Внуковым, как обходился Переделкином до Внукова. Он, правда, ездил много больше моего, побывал в Греции, Югославии, ФРГ, Чехословакии, Венгрии, ГДР, Польше... Я провожала его поздними вечерами, когда он уезжал с Белорусского или Киевского вокзалов, и встречала утрами там же. А когда улетал, звонила узнавать, прибыл ли рейс. В Болгарии еще он был! И нас туда всё зовут в гости. Но почему-то часто предпочитаю Одессу, Евпаторию или еще что-нибудь. Не знаю почему. Просто скучно. Как было скучно на приеме в болгарском посольстве в честь приезда Митьки Методиева.

Почему скучно? Ведь страна, говорят, красивая, столица маленькая, уютная. К тому же будем там свободны в выборе места пребывания, не скованы в деньгах. И нас там знают, любят, просят — приезжайте.

Скучно, видимо, потому, что за понятием «Болгария» не стоит нечто вымечтанное, как стоит это за иным понятием, например: Италия, Франция, даже Голландия.

Как пишет Вернон Ли (я несколько лет уже как открыла ее для себя, и Галочка мне подарила томик ее очерков в день рождения, выискала у букинистов), так вот Вернон Ли пишет об этом очень точно: «... прежде, чем посещать страны и города телом, мы должны посетить их духом; иначе, смею сказать, мы можем столь же прекрасно сидеть и дома» («О современном путешествии». «Италия»).

Вот именно — я не побывала в Болгарии духом. Наверное, поэтому и не тянет, хотя там и «Алеша» Костин песенный стоит над Пловдивом, и в университете Софийском изучают по хрестоматии мои «Цветы девицы Флоры», и песни наши с Яном выходят на пластинках и поются. Но скучно...

А вот съездим, м. б., и что-то свое завяжется, расскажется. И будет не Болгария вообще, а моя Болгария.

Мне кажется еще, что после поездки в некий город или страну человек должен приезжать другим. Не вовсе другим, а дополненным чем-то, как пишут в переизданиях «Издание второе (третье), дополненное». А если ты приезжаешь таким же, как был, то вроде бы и не съездил.

* Почти обо всем этом было ею написано, напечатано, собрано в книгу «На белом фоне». вышедшую посмертно.— К. В.

Были в Харькове с Костей с 24/IX по 1/X. Так что же там? Встречи — с некоторыми после семи лет разлуки...

Мои одноклассники Митя и Юрка, врачи, работают на износ. Даже за накрытым ресторанным столом говорят об общих больных, перебрасываются репликами вроде:

— Он еще жив?

— А (такого-то) оперировали?

Даже под вопли рижского (или литовского) оркестра — о том же. И еще Юрка рецепты тут же в ресторане кому-то выписывал.

«Она долго искала своего счастья, много еще шарахалась от одного к другому. Была статная и могла бы быть красивой, если бы не злое лицо ее, даже личико. Злого какого-то, миловидного хищника. Все ее шали, серьги, коса, змеей свернувшаяся на голове».

«Для меня он в то время был уже отдаленным от моей жизни. Прошлым, не как отрезанный ломоть, а как остриженный ноготь».

Она была заочницей в Литературном институте и как бы осталась ею. Писатель-заочница из студентки-заочницы.

Думаю о работе. В институте острили: «Спи скорей, твоя подушка нужна другому!» Под таким лозунгом ни спать, ни писать нельзя.

Любопытно: мне свойственна какая-то навязчивая идея замысла (а возможно, не только мне). Однажды возникнув совсем позабытый, он возникает вновь и, как вновь, впервые найденный, хочет претворить себя в дело.

Странно, что Коктебель нашел у меня отражение лишь в рассказе «Братец». Такие декорации!.. Надо написать сейчас о Коктебеле — моем*.

1982

Никтожество.

Листатель (в отличие от читателя).

Любила ходить к врачам, особенно когда была здорова.

Соблюдала строгую диету и знала наизусть из классики описания блюд и пиршеств.

О маленькой, тесной кухне хозяйка говорила, что она ей узка в бедрах.

Публика в тургостинице серая, мы смешались с ней, и нам, временно серым, легко и спокойно: мимикрия — великое дело!

Интервью для «Молодежи Украины». Вопросы о песнях... Последний: «Как вы понимаете, что такое счастье?»

Ответила примерно: «Сознание, что ты делал то, что нужно, и сделал все, что мог».

Потом стала думать об этом вообще. О пушкинском «На свете счастья нет, но есть покой и воля...».

Покой и воля и есть счастье в понимании позднего Пушкина.

Вспомнилось и письмо Чехова Авиловой. Цитирую по памяти: «А что такое счастье? Наиболее счастлив я был тогда, когда казалось мне, что я несчастлив. В молодости я был весел, но это другое...»

Да, счастье разное в разные годы. В юности это — острое чувство радости бытия, да еще если к этому любовь, даже скорей влюбленность (она ближе к счастью, т. к. легче ее пути)!..

* Написано: «У потухшего вулкана». — К. В.

На детских танцах в тургостинице. Соревнование девочек и мальчиков. Культурник:

— Танцуют девочки. Если подключится мама, она считается за пять девочек, а если бабушка — за десять девочек...

Последний танец (взрослых) он называет «вальс последней надежды».

1985

Дни стояли сине-ярки,
С снегом бело-голубым.
Дни стояли, как подарки
Для того, кто так любим.

Как когда-то в день рождения,
Пробудившись в ранний час,
Он их брал и в нетерпенье
Разворачивал тотчас.

Внуково, март 1985-го

Думаю о Бунине. Если спросить, какой самый сильный рассказ у него, многие назовут: «Господин из Сан-Франциско», «Солнечный удар», «Чистый понедельник», «Генрих»...

Но есть еще один. Не рассказ, собственно. Его воспоминание о том, как он, известный писатель, барин, приезжает повидать своих — мать и сестру Машу, вышедшую замуж за помощника машиниста, — на станцию Грязи. Как он заходит в станционный ресторан, накупает всяческой вкусной снеди — икру, балык, сардины. И как все вокруг знают, к кому он приехал, и смотрят на него. А там — беднота, затхлость, песни Маши под гитару, ночной плач ее детей и шепот бабушки, их успокаивающей...

И такая тоска, такая тоска и любовь к ним, щемящая душу...

Это воспоминание — рассказ, записанный с его слов, один из самых сильных у Бунина. Какие разные жизни! Но иногда я думаю, что в чем-то они были счастливее его.

(Об этом у Боборекко. Бунин рассказывал Галине Кузнецовой.)

«Сестра поэта» — рассказ. (Не написан. — **К. В.**)

«Я в мае родился и всю жизнь буду маяться...», «Зажегши свечу, под колпак не ставят...».

Лев Павлищев обиделся за мать: о няне говорят больше, чем о сестре поэта. Кстати, заметил, что в семье няню не звали Ариной, а только Ириной Родионовной и что Пушкин не любил, когда имена усекали, как, к примеру, Антон вместо Антония. И потому назвал своих первых детей Александром и Марией, что эти имена в России меньше других переименовывают.

В старости человек забывает то, что слышал уже, и ему без конца можно рассказывать одно и то же. Жизнь его таким образом полна новостей. «Впервые слышу», — не раз говорила мне мама.

Когда мне было лет двенадцать, она повела меня в свой институт иностранных языков (иноземных мов — как назывался он в Харькове). Там выступал Илья Эренбург, и мама считала, что должна мне его показать. Чтобы я его запомнила.

Эренбург читал главы из романа «Падение Парижа». Видимо, тогда он был очень знаменит: меня нечасто водили куда-нибудь, а тут сочли нужным. Во всяком случае, это было обставлено как событие.

Мамины студенты с любопытством меня разглядывали, что-то говорили мне, как взрослые — ребенку. Вышел Эренбург, сел к столу и стал читать. Лица его я тогда не запомнила. Читал он неторопливо и веско. А я сидела, глядя в пол, и краснела от слов, которые он невозмутимо произносил: «Через дорогу перебежали две раскрашенные проститутки».

Откуда-то мне были известны уже значение и непристойность этого слова. И еще то и дело попадалось: «Пахло конской мочой...»

Сколько потом я видела его и читала, а первое впечатление от того слушания не забылось.

Однажды, когда мы жили в Загорске, мама, уехавшая утром по делам в Москву, вдруг вернулась и велела мне быстро собраться и ехать с ней в Москву на поэтический вечер — она увидела афишу возле Дома союзов, и ей удалось достать билеты.

И мы поехали. Места были наверху, но близко к сцене. Тогда в первый раз я увидела Ахматову, Пастернака, Мартынова... Были другие, но запомнились эти.

Я не только увидела, но и услышала, как они читают свои стихи. Еще шла война, но Колонный зал был полон. Это был не то конец 44-го, не то начало 45-го.

Шаль Ахматовой, гордая посадка головы. Стихи были о блокадном Ленинграде:

Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.

Носовой, подвывающий голос Пастернака — стихов не помню. Мартынов, читающий «Лукоморье», еще молодой, рыжеватый. И такой простой и широкодоступный рядом с ними Щипачев в военной форме («Любовью дорожить умеете»).

Почему-то мы входили не с Пушкинской улицы, а с Охотного ряда, кажется, это значит как подъезд № 1. С нами вместе протискивался какой-то тип в шинели нараспашку, без шапки. Выглядел он не то пьяным, не то безумным. И мама меня от него оттеснила, отгородила, насколько это было можно в толпе, подозрительно и с опаской на него поглядывая.

Как же я удивилась, увидев его в первый день занятий среди студентов моего курса! Это был Эмка Мандель (Наум Коржавин).

Но мама!.. Ей было нетрудно ради того, чтобы я попала на этот вечер, проехать трижды в тот день в Загорск и из Загорска, что составило шесть часов. Ночевали мы в Москве.

И еще в том же роде. «Северный сон»...

Если бы не мама, я бы не написала эту вещь, не совершила путешествия, столь много давшего мне — в литературном и просто человеческом смысле.

Мы давно собирались отправиться в это плавание, приняв участие в экспедиции по перегону речных судов северным путем. Взяли командировки в редакциях. И наконец решились.

Родители мои только что отбыли в Воскресенск, туда ходил еще паровик — больше двух часов езды, — собирались там пожить. И Костя в тот же день выбрался в экспедицию по спецморпроводкам — узнать, когда нам надо выезжать, чтобы попасть на корабль. (Экспедиция находилась в Москве, корабли же отплывали из Ленинграда.)

Вернулся он очень скоро, возбужденный, сказал, что надо выезжать сегодня же в ночь, «Стрелой», что завтра вечером отплытие. А мы с девятилетней Галей. На кого ее оставить? Старики-то еще небось и не доехали до места! Костя сказал:

— Что же делать? Видишь, как получилось? Я поеду один, а в другой раз съездим вместе...

— Нет, — сказала я. — Нет. Я поеду с тобой. Галя переночует у Бедных, а завтра мама с папой вернутся...

Вскоре зазвонил телефон. Родители сообщали, что добрались благополучно.

Я им все изложила.

— Конечно, — сказала мама, — конечно, поезжайте!

Они вернулись в Москву в тот же день.

1986

Небритый Олеша, выбритый ретушером. Несоразмерность головы (как у Герцена).

1987

Он хвалил свою жену, как будто давал ей рекомендацию в партию:

— Она хороший товарищ...

Некоторые жены говорят о своих мужьях так, словно держат в доме крупное капризное животное.

— Он этого есть не будет...

Или:

— Его туда не выгацишь. Я звала, а он уперся — и ни в какую...

Катя (получила журнал «Юный натуралист», посвященный птицам):

— Надо бы сделать кормушки для птиц...

Я:

— Это делают к зиме. А летом пусть сами кормятся, пусть уничтожают вредителей...

Катя:

— Это сталинское выражение (9 лет).

Я поэтичной прозы не люблю,
Тут нужен не Олимп, скорее — бурса.
Секстан верней поможет кораблю
Не потерять намеченного курса.

— Сыр пешеходский (т. е. пошехонский. — Дуся).

Говорю:

— Вчера...

Дуся:

— Вчера были кучера,

А теперь бояре...

Я сказала, что моя пенсия вся уходит на Дусю.

Костя: «На дусю населения...»

Дезизобилие (по типу «дезинформация») — (я).

Танцы-выметанцы (я).

Март

Внуково. Синицы. Ольха проклюнулась. Солнце. С сосулек капает, мерно, как из пипетки.

— Вам накапать весны? Сколько капель?

— Вечером гости приходят, смотрят телевизор — видимо (вместо «видео»). Касенты заграничные. Я заглянула раз, а там женщины на экране голыми задницами машину моют... И не стыдно: молодежь, а такое смотрит! Тьфу!.. (Таня Фадеева о внучке, ее муже и их компании.)

Он был похож на своего отца, как актер, добившийся поразительного сходства с известной личностью, роль которой ему поручена. И как доверчивая публика часто переносит на актера свои чувства, обращенные к герою, им сыгранному, так и люди, знавшие и любившие его отца, тянулись к сыну, обманутые внешним их сходством. И отшатывались.

— Какой я врач? Только и могу — отличить живого от мертвого...

Я люблю людей, родившихся под Знаком Вопроса. Те, кто родился под Знаком Ответа, все знают и на все готовы дать исчерпывающий и безоговорочный ответ. С ними тяжко общаться и совсем невозможно спорить.

Обычно это глупые, ограниченные люди и занимавшие некогда высокие служебные посты.

Каверин сказал, что литература XX века ближе к XVIII веку, чем к XIX, так как она несет более просветительский характер.

— Запишите, — сказал он мне, — это только сейчас мне пришло в голову.

— Вы и запишите, — ответила я. — Ведь мысль ваша...

Гранин о Каверине: «Он так радуется, что живет на свете!»

Мастер односторонней дружбы.

Журнал «Барышня-крестьянка».

«Как летом лист в толпе листвы...» Давно когда-то придумалось. Дальше этого не пошло. Песни не получилось. О чем это было? О горожанах. О затерянности

в толпе. О слитном городском шуме, переменчивом, постоянном шелесте тополиной листвы.

Среда обитания — город. Путем долгой селекции и естественного отбора выведен этот нервный и одновременно выносливый отряд млекопитающих, привыкших выстаивать очереди за молоком в пакетах и выкармливать потомство молочными смесями.

Принято думать, что городской человек ущербен, чужд природе. Что это Дитя Асфальта не может отличить репу от редьки и сарай от амбара.

Когда о человеке говорят, что он горожанин, это звучит почти осуждающе. Почти как человек без корней. В самом деле, какие корни, когда кругом асфальт? Но асфальт иногда лопається, образуя трещины, из которых тут же выглядывает трава, а то и лопух, как из деревенской глухомани — на гулком проспекте.

Однажды я, споткнувшись, упала на улице. Рассадила колено до крови. Потом стояла на краю тротуара, у светофора, пережидая поток машин. А рядом был газон. И тут я увидела подорожник. Он торчал из земли у самых моих ног. Я сорвала его и прилепила к колену. Тут и дали зеленый свет... Боль скоро утихла, кровь остановилась.

Нет, не утеряна, горожане, связь наша с природой. Надо только любить ее, как она любит нас...

Он был интеллигент в первом и последнем поколении.

Березник, ельник, дубрава, осинник... А тополь — что? Аллея! И липа тоже привычно сочетается с понятием «аллея» и с понятием «усадыба». А если встретишь липу в лесу, то здесь она выглядит горожанкой, вырвавшейся «на природу».

«Не плакать, не смеяться, но понимать» (Б. Спиноза).

«Девки шьют и поют, мать порет и плачет».

1990

Не надо насаждать дружбу народов. Надо выполоть вражду народов, а дружба взойдет сама.

Эта дружба подобна любви — насильно мил не будешь.

«Русскоязычные писатели», — говорят они.

Но дело не в языке, а в культуре, которой принадлежит художник.

Именно она, культура, а не состав крови определяет его национальность. На еврейх это доказать легче всего, хотя относится и к другим народам.

Русский еврей не похож на еврея-француза, а грузинский — на еврея-латыша.

М. б., это не понравится кому-то, но русские евреи и в Америке ближе к русским, чем к евреям-американцам (я говорю об интеллигенции).

«Черта оседлости!» Можно было подумать, что евреи — кочевники!

12 мая звонила в Париж Натали Саррот*. Хорошо поговорили. Она обрадовалась. Собирается в Москву. Хочет встретиться. Я сказала ей об интервью с ней (Ф. Медведев) в «Книжном обозрении». Она была недовольна, что он ей не показал, — обещал.

15 мая. У нас в гостях Тремли (Вова с Эммой). Он — профессор. Крупный, бодродатый. Она — женственная, мягкая, ироничная, с одесским отливом, хотя с малолетства в Америке. Я спросила, откуда родом ее родители. Оказалось, из Ростова.

Восхищались Галиными работами и нашим фирменным запеченным мясом под майонезом. Э. взяла рецепт, сказала, что будет делать мясо «по-гофовски».

19-го в субботу угощали их обедом в ЦДЛ. Показали наши клубные апартаменты. Они (американцы) очень симпатичные, чувство родственное, м. б., потому,

* Натали Саррот — современная французская писательница.

что дружны были наши с Вовой матери (речь идет о Л. В. Тимофеевой (Даде) из «Долгого века». — **К. В.**). И когда расстались, чувство, что о многом не поговорили.

Подарили им книги, пластинки. Они сказали, что очень хотят купить у Гали графику. Эмма заезжала к ней два раза (мы с Костей были во Внукове) и приобрела четыре работы — три для себя и одну для подруги.

Как-то в начале семидесятых годов мы были в гостях. Среди гостей был и Генрих Бёльль.

Хозяин дома предложил посмотреть новые работы своего сына, молодого художника. Войдя в соседнюю комнату, мы увидели расставленный вдоль стен ряд графических листов небольшого формата.

— Ну, как вам? — обратился отец художника к Бёльлю. И скромно добавил: — Я в этом ничего не понимаю...

(Он высоко ценил способности сына, и тот позже оправдал его надежды — в другом жанре и в другой стране.)

Бёльль, крупный, сырой, с лицом, чем-то схожим с картофелиной, как ее рисуют в детской книжке, и в то же время по-западному элегантный, прошелся вдоль стены, вглядываясь сквозь очки в развернутую перед ним мини-выставку.

— Но этого так много, — сказал он, разводя руками.

Да, там этого было много. У нас авангардизм лишь возрождался. Он был гоним и, как всякий запретный плод, притягивал, влек к себе. Молодых особенно.

В том, что на картине изображено некое НИЧТО, художники, а за ними зрители искали свободу от надоевших канонов.

Я не люблю авангардизм в живописи, и не мне о нем писать. Ведь только любовь награждает нас пониманием. Пусть об авангардизме, о гонениях и муках, которые он претерпел, заново возрождаясь у нас в стране, пишет тот, кому близко это течение.

Для меня оно только символ поиска внутренней свободы. И как таковое уже заслуживает уважения.

Сентябрь

Говорила по телефону с Никитой Струве. Мне дали № посольства Франции, где он остановился. Н. А. Струве — владелец, издатель «ИМКА-пресс» в Париже.

В Москве была выставка его изданий, запрещенных у нас в былые годы — русских. Проходила в Библиотеке иностранной литературы.

Я позвонила ему, он взял трубку (вечером того дня, когда о-во «Радонеж» возило его в Загорск).

У меня был к нему один вопрос: в родстве ли он с другом моего дяди Яши Отто Струве, астрономом?

Он сказал:

— Это двоюродный брат моего отца...

С Отто он не был знаком, но братья переписывались.

Мягкий, чуть грассирующий голос.

Поблагодарил меня за мой звонок, а я его за то, что он сделал и делает для русской литературы.

Кстати, в газете «Известия» (1.10.90) написали, что он, выступая в о-ве «Радонеж», сказал, что весть об убийстве о. Александра Меня омрачила радость его встречи с Россией.

И на последовавший вопрос, как он относится к жидомасонам, «со сдержанной нордической иронией Струве ответил: «Отношение хорошее».

Люди без комплексов не стесняются восхищаться тем, что их восхищает.

В этом году очень много кукушек. Весь июнь раздается их голос то тут, то там. Шли с Жорой Семеновым по лесной дороге (Лена настаивает, чтобы мы называли его Юрой, как она). Где-то неподалеку куковала кукушка.

Юра сказал:

— Я боюсь к ним обращаться...

Так про врачей говорят...

*Вступление и публикация
Константина ВАНШЕНКИНА*

Публицистика и очерки

К 75-летию со дня рождения
А. Д. Сахарова

Л. М. БАТКИН

Время в России отстало от Сахарова

Мы об Андрее Дмитриевиче Сахарове забыли.
Начисто!

Имею в виду, конечно, не ту внешнюю память, которая выражается в частоте упоминаний, в музейно-архивных усилиях, в торжествах очередных годовщин и проч. С этим обстоит не так чтобы слишком хорошо, но более или менее обычно. Спустя шесть с половиной лет после кончины любого, даже наименее значительного, человека интенсивность поминовений затухает, это естественно.

Нет, речь пойдет о непреходящем нравственном и практическом смысле поступков Сахарова как гражданина России. И прежде всего в те два (точней, даже полтора) года, которые судьба отпустила ему — вслед за двадцатью годами диссидентского опыта и после возвращения из ссылки — для публичного действия на виду у страны. Задумаемся о *принципах и качестве политического поведения Сахарова*. О том, что можно бы назвать, не смущаясь некоторой приподнятостью, *духом Сахарова, сахаровским началом в конкретной политике*.

Вот что совсем глухо по нынешним временам.

Вот что «забыли» среди тех, кто раньше был совершенно чужд этому; чужд, натурально, и нынче. Кто? Прежде всего многие лица из числа бывшей советской «статусной» интеллигенции, пытающиеся — собственно, как и встарь, — когда дело доходит до отношений с властями, примирить демократические «взгляды» с откровенно беспринципными, конформистскими, мягко говоря, действиями. Замечательно, что подобные действия эти лица громогласно оправдывают как раз своими «*передовыми взглядами*»! Сие особенно отнесится к некоторым политикам и журналистам, считающим себя деятелями ужасно демократической ориентации.

Чтобы раскрыть заголовок настоящей статьи, понадобится не только кое-что сказать о том, как в ней акцентировано «сахаровское начало» политического поведения (подробней см.: «Конституционные идеи Андрея Сахарова», «Октябрь», 1990, № 5). Необходимо также связать «дух Сахарова» напрямую с положением накануне президентских выборов в России.

Не собираясь превращать раздумье к 75-летию со дня рождения Андрея Дмитриевича всего лишь в повод для предвыборной пропаганды, опущу сегодняшние имена и факты. Но с другой стороны, в середине марта, когда пишу эти строки, уже решительно никак невозможно рассуждать о человеческих и политических уроках Сахарова вне очередной исторической коллизии, перед которой жестко и драматически вновь поставлен каждый из нас. Всякая отвлеченность выглядела бы тут нехорошо, неуместно, не по-сахаровски. Подписчики возьмут в руки майскую книжку «Октябрь» за совсем считанные дни до выборов.

Итак, меня занимают очевидные параллели между «тогда» и «сейчас». Сходный *принципиальный* контур российской ситуации и в конце 1989-го, и в начале 1996 года.

Та история совсем недавняя, да уж больно быльем поросла. Все же не поленимся в память Сахарова вернуться к ней.

Тогда Сахаров призвал ко всеобщей двухчасовой политической забастовке. А затем в знаменитой последней речи на депутатском заседании в Кремле, за несколько часов до смерти, потребовал перехода Межрегиональной группы в *оппозицию!* (Еще незачем было уточнять, что в *демократическую*...)

Ему хором возражали люди, считавшие себя о-о-чень практичными, трезво-мыслящими, а значит, и наиболее полезными из демократов. Что-де такая забастов-

ка не имеет никаких реальных шансов состояться. И вместе с тем (несколько противореча себе), что выступление против Горбачева-реформатора, тем паче переход в безоговорочную оппозицию к нему, будет «подарком правым силам». (Под «правыми» еще принято было подразумевать силы партаппаратной реакции и полицейского насилия). Со всех сторон звучало: у демократов нет никакой альтернативы Горбачеву. Также и после первой крови, которая легла на генсека, несмотря и на явный застой «перестройки», вопреки очевидному прекращению верхушечных реформ... Даже те, кто разделял глубочайшее разочарование страны по поводу вялости, неэффективности, двусмысленности, загнивания курса Горбачева, все-таки полагали неизбежной поддержку *наименьшего зла*. (Впрочем, сам этот глубокомысленный словесный оборот, кажется, еще не был в ходу.) На роли наибольшего зла, разумеется, тогда видели исключительно Лигачева и т. п.

И что же Сахаров?

Сахаров, как известно, считал необходимой «условную поддержку» Горбачева лишь до поры: пока реформистские изменения режима могли исходить только сверху и пока аппаратная «перестройка» действительно худо-бедно продолжалась. Расшатывая здание режима, умножая и углубляя сразу же появившиеся трещины на нем, формула «условной поддержки» поначалу поневоле исчерпывала встречаемые возможности действия «снизу».

Но эта формула означала: демократ должен реагировать на происходящее сугубо избирательно, критически, *независимо*. Поддерживая шаги Горбачева к «гласности», к элементам гражданских свобод, к частично демократическим выборам и пр., одновременно приходилось противостоять официальному лицемерию, демагогии, попятным движениям того же Горбачева и его окружения. Формула означала: сохранять в самосознании (и в глазах общества) безусловную дистанцию.

Тут не должно было быть места двусмысленностям. Никакой поддержки партийной «перестройки» *вообще*. Нажим на чуждую (недемократическую) власть. Однако же не закулисный, не из интимных «групп давления», без дипломатичных умолчаний и пускания слюны, без низости верноподданного слияния с властью. Нажим максимально публичный и на условиях независимого достоинства, как бы от имени пусть пока не существующего гражданского общества, с тем, чтобы таким образом способствовать развитию его ростков, что и было высшей политической целью.

Заметим, что именно эта подоплека общественного поведения А. Д. Сахарова в 1988—1989 годах помогает понять, почему по-настоящему лишь он один из диссидентов стал в новую эпоху вполне ответственным реальным *политиком*. А не правозащитником по преимуществу (и одновременно политиком бесцветным). Однако нравственная закваска сахаровского диссидентства никуда не делась. Она вошла в органику его политического практического разума. Исторический практицизм Сахарова никогда не оттеснял на второй план необходимость действовать по совести, по личному убеждению. Для Андрея Дмитриевича и вообразить нельзя ложную дилемму: *или* принципы, *или*, мол, диктат обстоятельств, интересы ближайшего политического результата.

Это не значит, что компромисс отвергался Сахаровым от порога. Отнюдь! Сахаров умел в каждый конкретный политический момент вырабатывать для себя точную *меру* такого компромисса, который сообразовывал бы принципы с обстоятельствами, однако ничуть не жертвуя первыми ради последних, напротив, завоеывая для демократических и либеральных принципов новое социальное пространство. Сахаров помогало в этом то, что он политически мыслил категориями будущего. Он придерживался абсолютной независимости поведения от соображений политической конъюнктуры, т. е. не смешивал, как это столь часто случается, практическую гибкость с оппортунизмом. Он исходил из интересов русской демократии в широкой оптимистической перспективе.

Он был «странным», на особенный собственный лад, а потому крайне современным и нужным России политиком. Он был политиком, а не «вождем». И не «сообществом нации». Скорее уж одним из самых светлых ее демократических умов, готовым действовать. Андрей Дмитриевич смотрел на многие вещи по-своему и не боялся остаться в одиночестве. Но был, повторяю, готов действовать вместе с другими так, как считал был проницательным, честным, политически дальновидным и, следовательно, практичным.

Именно так повел себя Андрей Дмитриевич, когда я предложил создать клуб «Московская трибуна». А. Д. стал нравственным и рациональным общественным камертоном клуба, в те времена не оскверненного душком соглашательского удобства, «демократического» карьеризма. Клуб был тогда по условиям момента как

раз образцом эффективного компромисса на грани возможного. Мы, разумеется, сразу же оказались «под колпаком» КГБ. Участие А. Д. сильно помогло превратить «МТ» первого года ее существования в некий оселок будущей, более зрелой и открытой политической оппозиции. Сотрудничать с Андреем Дмитриевичем было чистосердечно и радостно.

Но вернемся к той последней речи 14 декабря 1989 года.

Участие Сахарова в Межрегиональной группе, с ее донельзя пестрым, отчасти и сомнительным составом (я прозвал МДГ «Ноевым ковчегом перестройки»), в этом промежуточном полуопозиционном «нечто», также было сознательной данью политическому компромиссу. Но сразу же Сахаров стал добиваться радикализации этой группы. Общество просыпалось. Движение пошло уже и снизу, самостоятельно. Сахаров остро почувствовал это и первым сделал очень важные практические шаги.

Сперва — призыв к двухчасовой забастовке. Помню, был взволнован, когда А. Д. позвонил вечером спросить, как я отнесся бы к идее о таком призыве. Я поддержал ее тут же без малейших колебаний. Позже, 14 декабря, «категорически не соглашаясь» с Голданским насчет «подарков правым силам», А. Д. наилучшим образом сформулировал, в чем состояли политический смысл и успех этой акции.

«То, что произошло за эту неделю при обсуждении нашего призыва, — это важнейшая политизация страны, это дискуссии, охватившие всю страну. Совершенно не важно, много ли было забастовок. Их было достаточно много. В том числе были забастовки в Донбассе, были они и в Воркуте, были во Львове, были во многих местах. Но не это даже принципиально важно. Важно, что народ нашел наконец форму выразить свою волю, и он готов оказать нам политическую поддержку. Это мы поняли за неделю. И мы этой поддержки не должны лишиться. *Единственным подарком правым силам будет наша критическая пассивность. Ничего другого им не нужно, как это*» (курсив мой. — Л. Б.).

При всех существеннейших и самоочевидных отличиях переживаемого сегодня исторического этапа не могут не поражать совпадения с теми кажущимися уже далекими и подзабытыми днями.

Вдумаемся не в событийные частности, а в логику того, что сказал Сахаров.

«Я хочу дать формулу оппозиции. Что такое оппозиция? Мы не можем принимать на себя всю ответственность за то, что делает сейчас руководство. Оно ведет страну к катастрофе, затягивает процесс перестройки на много лет. Оно оставляет страну на эти годы в таком состоянии, когда все будет разрушаться. Все планы перевода на интенсивную, рыночную экономику окажутся несбыточными, и разочарование в стране уже нарастает. И это разочарование делает невозможным эволюционный путь развития в нашей стране. Единственный путь, единственная возможность эволюционного пути — это радикализация перестройки.

Мы одновременно, объявляя себя оппозицией, принимаем на себя ответственность за предлагаемые нами решения, это вторая часть термина. И это тоже чрезвычайно важно.

Сейчас мы живем в состоянии глубокого кризиса доверия к <...> руководству, из которого можно выйти только решительными политическими шагами <...>

И последнее, что нам необходимо, — это восстановить веру в нашу Межрегиональную группу. Межрегиональная группа — с ней связывало население страны огромные надежды. За эти месяцы мы стали терять доверие».

Замените в этом сахаровском рассуждении «перестройку», ее прекращение, ее загнивание нынешними «реформами», их (под аккомпанемент пустых словес) прекращением и загниванием, растягиванием на долгие годы. «Несбыточностью» структурных перемен и социальных обещаний. Замените разочарование «перестройкой», к осени 1989 года выдохшейся и начавшей опаснейшее сползание к «чрезвычайщине», наконец, к августовскому «путчу» — разочарованием большинства населения в послеавгустовском «номенклатурном капитализме». Замените «радикализацию перестройки» как «единственную возможность эволюционного пути» необходимостью принципиально нового реформистского старта. Замените упоминание о политике руководства страны как о пути к «катастрофе» ужасом гражданской войны в Чечне и реальной опасностью прихода к власти коммунистов как следствия именно политики 1993—1996 годов. Замените потерю «огромных надежд» и «доверия» к МДГ несоизмеримо более исторически масштабной и грозной утратой доверия к демократии и демократам. И сквозь текст простой и убежденной речи вдруг проступит ее всеобщий смысл.

Никто, разумеется, не вправе сказать, будто он знает, как теперь повел бы себя Андрей Дмитриевич Сахаров. Но вот как думал и поступал он шесть лет тому на-

зад — это-то мы знаем. К сожалению, Сахаров со своими мыслями о демократической оппозиции опередил других политиков по крайней мере на четыре-пять лет. Время не удержало его духа, его весьма практического понимания того, что означает вести демократическую политику. Время в России отстало от Сахарова.

Припомним, что происходило дальше. Как уже в марте 1990 года закипели разговоры о том, что-де нужно всячески по-прежнему поддерживать Горбачева, пожалевшего, «в порядке исключения» из одновременно принятого закона, стать президентом СССР. «Придется!» — толковали лица, воображавшие себя о-о-чень практичными «демократическими прагматиками». Они вразумляли, что они не столько за Горбачева, сколько *против* Лигачева и прочего тогдашнего наибольшего зла. Между тем Горбачев, уже пустив кровь в Закавказье и Прибалтике, все тесней приближал к себе мрачный сонм будущих «путчистов».

Припомним, как после августа 1991 года столичные политики, терпевшие в кремлевских передних, вопреки воле II съезда «ДемРоссии» опять *предали завещанную Сахаровым идею независимого гражданского действия вплоть до демократической оппозиции*. С лета 1992 года, когда гайдаровско-чубайсовская реформа начала захлебываться, обнаружила половинчатость и неструктурность, такая оппозиция вновь стала необходимой. Теперь уже по отношению к младономенклатурному ельцинизму. Но демороссы старались стать партией, нет, не у власти, конечно — кто ж это им позволил бы? — но хоть *при* власти. И неминуемо обрекли некогда достаточно массовую и мощную организацию на самый жалкий упадок.

Припомним далее, как совсем недавно ту же двусмысленную роль сыграл «Демвыбор» (в который, кстати говоря, успели перебежать ловкие и циничные персоны из «оргбюро» «ДемРоссии»). Новая партия поддержки недемократической власти, став на ту же дорожку и поддержав авторитарную Конституцию, вступила на тот же, что и прежняя «ДемРоссия», путь компрометации, путь самоуничтожения. «Демвыбор» сначала попал в нокдаун после успеха Жириновского. Впрочем, зато было кому немедленно вручить переходящее звание «наибольшего зла». И оправдать оппортунизм в условиях «прекращения реформ» (запоздалая констатация Е. Гайдара осенью 1995 года). В итоге в декабре 1995-го гайдаровцы, потерпев второе за два года и теперь уже сокрушительное поражение, оказались в нокауте. А поскольку большинство из них не сочло необходимым сделать какие-либо выводы относительно собственных ошибок, напротив, в панической растерянности замечалось между оппозиционностью и поддержкой Кремля, значит, и эта партия вскоре окончательно перейдет в мир политических теней.

С диссидентских времен А. Д. руководствовался максимой, которую выразил приблизительно так: если положение безвыходное, нужно поступать в соответствии со своими убеждениями. Положим, когда-то это требовало от человека геройства. Требовало жертв больших, чем подавляющее большинство из нас было бы в состоянии выдержать. Грозилو потерей работы, минимального благополучия, творческого призвания, далее — свободы, наконец, самой жизни.

Но что мешает поступить в соответствии со своими убеждениями в 1996 году? Например, проголосовать на выборах за того, чьи позиции тебе наиболее близки и кого можно, во всяком случае, безоговорочно назвать демократическим кандидатом. Казалось бы, ныне-то, пока есть возможность безопасно выбрать по совести и трезвому расчету, почему бы так и не поступить? Странно.

Вот недавно прочел в «Литературке» примерно следующее потрясающее высказывание: «Голосовать за имярек и страшно, и стыдно, но приходится». Да голосуйте как вам угодно! По Сенке и шапка. Но ежели известные факты таковы, что вам «страшно», но ежели вам «стыдно»... короче, на деле-то вам *так* голосовать *не* *удобно?*.. Ну, что тут скажешь!

Почему бы не остаться у избирательной урны самим собой. Не прикидываться аналитиком, не верить «аналитикам», особенно тем из них, кто циничен и корыстен. И перечитайте Сахарова. Если дорожили когда-либо стилем его политического поведения.

Или мешает (многим искренне!) как раз то, что... положение отнюдь не безвыходное? Предпочитают по привычке десятилетий считать его *как бы* безвыходным. Забывают, что характер выхода — немедленного или по крайней мере на политическую перспективу — теперь зависит и от собственного гражданского поведения множества индивидов. Точней, хотя и знают об этом, однако инерционно, на советский лад, без ясного сознания, что *надежный выход неотделим от обновления страны*. Ограничиваются убогим: «Лишь бы не было хуже». Вот поделом и получают именно хуже. Притом что в лоб, что по лбу. Трусят сделать шаг принципиальный, соответствующий личным взглядам, но могущий ввиду исторической дальности

видности оказаться непосредственно, конъюнктурно «непрактичным». И вот политиканствуют. Но притом нет-нет а ежатся. Что (кто) именно станет «лучшим подарком» коммунистам во втором туре?

Подчас осеняет: вдруг окажется гораздо более опасным, приведет к прямому проигрышу (т. е. и в конъюнктурном плане тоже) именно бесстыжий выбор, недемократический.

«И страшно, и стыдно, но приходится». И некому руку подать.

Забыли о Сахарове.

Вряд ли это печальное наблюдение уместно соотносить с десятками миллионов так называемых простых людей. Весной 1989 года все впервые увидели на телеэкране бесстрашного человека, о котором дотоле ходили тайные легенды. Сахаров оказался далеко не «оратором» и вообще... странно не похожим на «политика». Большинство телезрителей, возможно, так и не успело задуматься, что же за деятель Сахаров, чем он, в частности, руководствовался при драматических перипетиях последнего года «перестройки» и своей жизни. Внезапная смерть его потрясла тысячи и тысячи, заставила на миг протереть глаза. А затем все тут же покатилося почти что так, как если бы Сахарова у нас никогда и не было.

Мнимопринудительный «выбор» (то есть на деле отказ от свободного выбора); выбор «против», а не «за»; выбор мимо исторической перспективы и личного убеждения; холопская идея наименьшего из двух зол, лозунг «безальтернативности» — все это, насколько я в состоянии понять, вполне антисахаровские позиции. Глубоко немудрые и непрактичные с точки зрения коренных интересов русской демократии.

Сейчас Андрею Дмитриевичу было бы лишь семьдесят пять.

И как печально, что голос его смолк. Не просто печально: крайне несвоевременно. Нынче мнение и поступок Сахарова столь же нужны, как во все его прижизненные времена. Может быть, даже более того: особенно сегодня нам недостает одинокого голоса *диссидента*.

19 марта 1996 г.



А. А. КАРА-МУРЗА, А. С. ПАНАРИН,
И. К. ПАНТИН

Духовный кризис в России: есть ли выход?

Время, прошедшее с начала крушения тоталитарной системы в России, со всей отчетливостью показало значение того, что называют внутренним миром человека, моралью и идеологией. Сегодня, как никогда, очевидно, что духовно-идеологическая ориентация, являясь проводником важнейших тенденций общественной жизни, обладает громадной направляющей, регулятивной силой. Более того, новая историческая реальность возникает вначале в головах людей как нравственное веление, как духовное обновление и только потом становится культурным движением, идеологией, убеждением, способным вызвать к жизни практическую деятельность и волю. В этой связи идентификация (или самоидентификация) понимается нами прежде всего как единство убеждений, определяющих и мировоззрение, и соответствующие ему нормы поведения, а кризис идентификации — как возникающее противоречие между сферой духа и реальной деятельностью людей. Прежде всего, но не только. К кризису идентификации мы относим и размывание образа России, неспособность ее элит четко сформулировать национально-государственные интересы и приоритеты (что и привело к целому ряду провалов во внутренней и внешней политике). В немалой мере это объясняется устаревшим технократическим подходом бывших «хозяйственников», формирующих сегодня правительственный курс.

И еще одно предварительное пояснение.

Слово «идеология» стало общим местом в газетных и журнальных публикациях, своего рода разменной монетой в публицистических баталиях. При этом чаще всего ограничиваются определением идеологии как системы идей, взглядов. Но сверх этого абстрактного и крайне бедного содержанием определения идеология как таковая обладает рядом важнейших функций, свойств, позволяющих ей объединять общество, группу, служить своеобразным обручем, скрепой совокупности отношений. Что же это за свойства? Прежде всего идеология придает определенный «смысл» изменениям, совершающимся в обществе, объясняет и оправдывает возникающие общественные реалии, не обязательно с помощью «науки», теории, а чаще через соотнесение с высшими и самодовлеющими ценностями. Далее, идеология — это определенная форма рациональности мира и жизни, которая позволяет индивиду найти «устойчивые» точки опоры для своей деятельности. Наконец, идеология вырабатывает совокупность целей и ценностей, к которым могут апеллировать индивиды, соответственно группы людей, обеспечивая тем самым возможность «взаимоузнавания» и общения. Другими словами, идеология привязывает человека к определенной социальной группе, влияет на его моральное поведение, на направление воли. И когда противоречия сознания достигают такой силы, что не допускают больше никакого морально оправданного действия, никакого выбора, кроме борьбы за выживание, индивид (общество) приходит в состояние моральной и политической пассивности. Это кризис самоидентификации.

Думается, сегодня российское общество проходит через этап, когда «средний человек» переживает тяжелейший духовно-идеологический кризис, колеблется между старым и новым, потерял веру в старое и еще не решил на новое, потому что оно развивается по иным, незнакомым ему законам. К старому, коммунистическому он склоняется вовсе не потому, что прошлое выше, человечнее, чем современный порядок вещей, — просто неизбежный хаос, вносимый изменениями в мо-

Карра-Мурза Алексей Алексеевич, доктор философских наук, зав. отделом социальной философии и философской антропологии; **Панарин Александр Сергеевич**, доктор философских наук, зав. лабораторией философской истории; **Пантин Игорь Константинович**, доктор философских наук, зав. лабораторией сравнительной политологии Института философии РАН.

раль и сознание, страшит его сильнее. Эти колебания — свойство большинства переходных эпох, когда, выражаясь словами Герцена, «все шатко, ничего не решено, не готово — и главное, что люди не готовы». У нас в России «неготовность людей» к современным переменам усиливается, помимо тех факторов, о которых речь пойдет дальше, двумя обстоятельствами. Первое — реформам в стране не предшествовал переворот в общественном сознании; второе — власть *упала* в августе 1991 года к ногам «демократов» (мы употребляем этот термин в качестве самоназвания определенного движения), а не была завоевана в результате длительной упорной борьбы.

Поясним сказанное. Политическим переворотам в Западной Европе, особенно Французской буржуазно-демократической революции, предшествовала революция в умах, связанная в первую очередь с Просвещением. Мы не хотим сказать, что протест во имя свободы и независимости человека, будь то в Северной Америке или во Франции, был легок: ему предшествовали тяжелые эпохи, испытания и несчастья. Но все-таки основные контуры предстоящей исторической работы были очерчены еще до начала революционных политических преобразований. Локк и Руссо стояли у истоков американской и французской революций. О российском реформаторстве сказать такого нельзя. Либерально-демократические идеи, жестоко преследуемые и не нашедшие понимания у россиян, достигли признания лишь в диссидентском движении, явившемся первым опытом самостоятельного движения интеллигенции. Однако в целом этап свободного изучения, этап Просвещения практически отсутствовал в России. А без него нельзя было преодолеть специфический тип мышления россиян с его бессознательным отношением к государственному вмешательству в жизнь граждан, с его культом «простого народа», каким бы тот ни был, с его уравнительным пониманием справедливости и т. п.

Можно сказать, что либерально-демократическая идеология была в общем-то явлением, привнесенным с Запада, а не выросла органически из противоречий российского развития. Идеи свободы, достоинства, прав личности предстояло осваивать в процессе рыночных реформ и модернизации государства, т. е. по «ходу дела», попутно. Однако после падения коммунизма началась дезинтеграция этой идеологии. С одной стороны, оказалось, что между рынком, демократическими свободами и становлением новой государственности не существует «естественной» нерушимой связи. Более того, проведение рыночных реформ вызвало усиление авторитарных тенденций в управлении страной. С другой — нельзя, как выяснилось, в одночасье, прыжком освободиться от себя. В реальной жизни народ, повторим слова М. Гейтнера, начинает *не с нуля, а с начала*; последнее определяется его прошлым, историей. Диалог же с историей в принципе исключался первым поколением демократов, воспитанным на антикоммунизме и отрицании тоталитаризма.

Второе обстоятельство связано со специфической природой необходимости преобразований. Горбачевская «перестройка», а затем ельцинские реформы стали *неустрашимыми* (и только в этом смысле исторически назревшими, необходимыми) в то время, когда социальные силы, средства и идеология демократических преобразований находились еще в процессе формирования. Причем дело не только в том, что большинству россиян не доставало чувства самостоятельности и ответственности, не в том, что понятие свободы как морального долга, осознание своих границ и границ других до сих пор находится в зачаточном состоянии. Главное в другом. После развала коммунистического режима и распада СССР российская демократия очутилась лицом к лицу с действительностью, учет которой требовал решительного пересмотра демократической доктрины и идеологии, введения в демократическое мировоззрение исторической составляющей.

Борьба с коммунизмом в России трудна прежде всего потому, что не может быть сведена к простой задаче свержения старого режима, старых институтов. Мы, россияне, имели бурную, богатую событиями историю, сформировавшую наш характер и отношение к свободе и закону, наши представления о народовластии, о значении государства и многом другом. И перепрыгнуть через историю еще никому не удавалось и не удастся — ни большевикам, ни рыночникам-реформаторам.

Другими словами, демократический сдвиг может лишь тогда быть закреплён и упрочен, когда идеи современной демократии обретут основание в духовно-идеологической жизни страны, укоренятся в психологии миллионов и миллионов людей. Для этого необходимо, конечно, время, но не только оно. Нужна еще напряженная работа по обновлению, переоткрытию демократической идеи. Ее обновляли и переоткрывали когда-то в США, Франции, Германии. Сегодня россиянам предстоит сделать то же самое. Как и когда это удастся им, сказать сейчас трудно. Одно лишь ясно: демократические формы правления нельзя просто заимствовать, их надо *создавать*, учитывая опыт как других стран, так и свой, пусть даже небольшой. Иного здесь поистине не дано.

Подытожим сказанное в плане предмета статьи. Главная задача авторов — более пристально приглядеться к духовно-идеологическому кризису в стране, связанному с утратой прежних форм культурной самоидентификации, наметить новые, более современные исследовательские подходы в сфере социального познания, наконец, попытаться сделать традиционную российскую антиномию «западничества» и «самобытничества» продуктивной. Разумеется, это — намерение авторов, как им удалось его осуществить, судить будет читатель.

Характеристика духовного кризиса в обществе: массовое сознание и общественные науки

Истинный смысл исторического, а тем более духовного сдвига редко бывает ясным для современников. И дело не только в том, что далеко не сразу удается отделить «объективное содержание» исторического периода от неизбежно сопровождающих его иллюзий. Главное в другом — само «*объективное содержание*» находится еще в стадии формирования и не обнаруживает себя в полной мере. «*Объективность*» — это *результат*, а не начало определенного исторического процесса. Она создается, а вернее, *прорастает* из деятельности людей, руководствующихся иллюзиями, страстями, из огромного множества реакций приспособления к разнородным и разнорядковым ситуациям, которые только постепенно сходятся в некоем общем для них итоге. Но это не обязательно позитивный итог. Изменения в сегодняшней России, смысл которых состоит, по нашему мнению, в разрешении дилеммы «модернизация или деградация?», — процесс вероятностный; его конечный результат пробивает себе дорогу не прямо, но зигзагами, через деятельность, предпринимаемую под влиянием ряда не согласующихся между собой побуждений.

Духовно-идеологический кризис, охвативший сегодня широкие пласты российского массового сознания, проявляется в двух основных формах:

— **в кризисе национальной идентичности, утрате чувства исторической перспективы и понижении уровня самооценки нации**, резко перешедшей от мессианской самоуверенности к историческому самоуничтожению;

— **в разрыве единого духовного пространства и утрате национального консенсуса** по поводу базовых ценностей, потерявших статус «абсолютных» ориентиров и ставших предметом общественной полемики.

Признаки современной духовной дезориентации населения, политико-идеологического разочарования и апатии связаны в первую очередь с неожиданно быстрым крушением очередного — на этот раз антикоммунистического, либерально-демократического — социального мифа. В самом деле, период перестройки ознаменовался переходом от «*коммунистического мифа*» к «*демократическому*» — новейшей версии «*коллективного прорыва в светлое будущее*». Эта способность к очередному оптимистическому мифотворчеству еще раз продемонстрировала живость религиозного архетипа в нашей культуре, сообщающего ей специфический тонус и готовность менять общественную жизнь, руководствуясь критериями прежде всего нравственности и справедливости. В период «крушения тоталитаризма» присутствие этого архетипа ощущалось с особой силой: события воспринимались не столько в контексте причинно-следственной логики, сколько в морально-религиозной перспективе «обетования» и «спасения». Россияне, поддержавшие идеи демократического обновления, поверили прежде всего в законы моральной справедливости, в то, что политические события осуществляются в эсхатологическом контексте «наказания» и «воздаяния», конечного торжества Добра над Злом: «*наглая номенклатурная олигархия будет унижена; всем угнетенным и потерпевшим воздана*».

Действительность, однако, опрокинула эти ожидания: «номенклатура» большей частью не ушла, а только сменила облик, сохранив и даже приумножив свои привилегии на фоне обнищания большинства. Крах демократических иллюзий закрепляет сегодня и очередная «культурная революция», осуществляемая «новыми русскими» и ориентирующимися на их вкусы средствами информации, которые действуют в режиме «массовой культуры». Пропаганда последними новых «героев нашего времени» способствует не столько усвоению массовой аудиторией ценностей демократии и личной свободы, сколько подрывает главный духовный принцип — торжества Добра над Злом. Более того, Добро в контексте примитивно-потребительской культуры зачастую клеймится знаками отсталости и неэффективности. Диагноз нынешней духовной ситуации можно описать как «*смерть Бога в культуре*» — утрату суверенности нравственного сознания, что и является основным источником массовой деморализации.

Современное российское общество переживает глубокий кризис ценностей, суть которого заключается в «невписанности» любой возможной нравственно-осознанной деятельности в какой-либо реально существующий или проектируемый строй исторического бытия, в обесмысливании всех и всяких усилий человека, если они не сводятся к элементарному выживанию. Конечно, кризис ценностей не ведет автоматически к политическому параличу, но его последствия тем не менее серьезно сказываются на функционировании общества: распад сферы представлений о высших целях, о социально *должном* грозит разложением самой социальной ткани, уничтожением поля смыслообразования, невозможностью для индивида руководствоваться в своей деятельности целями и ценностями общественной жизни.

Особо следует сказать об утрате чувства национальной перспективы. Реформаторы постоянно сетовали на «соборный архетип» нашей культуры, рассматривая его как препятствие для перехода от архаичной и традиционалистской модели «единой коллективной судьбы» к свободному индивидуальному самоопределению людей в рамках гражданского общества. Прежнюю доминанту, связанную с саморас-

творением лица в группе, с подчинением частного интереса общему, решено было во что бы то ни стало разрушить, утвердив другую доминанту — индивидуалистическую. В результате вместо общности, связанной единым каркасом пусть предельно мифологизированных норм, традиций и ожиданий, мы получили «одинокую индивиду» и конгломерат соперничающих группировок, не останавливающихся перед любыми средствами в целях самоутверждения и передела сфер влияния. Сложилась своего рода патовая ситуация. Управленческие «верхи» почувствовали себя свободными от всяких обязательств перед «низями» под предлогом устарелости принципов государственного патернализма и социального опекуства. «Низы», в свою очередь, чувствуют себя свободными от любого гражданского долга перед предлогом «безусловного торжества частных интересов», а также ссылаясь на «коррупционность и некомпетентность верхов» и т. д. Иначе говоря, «тоталитарное» сознание в самом деле разложилось, но на смену ему пришло не ответственное демократическое сознание, действующее в рамках взаимных социальных обязательств и памятуемое о праве и морали, об общенациональных интересах, а катастрофически безответственное сознание, готовящее нас к состоянию «войны всех против всех».

Отсутствие альтернативы, «внятной для действия и достаточно привлекательной для человека» (М. Гелфтер), было, как видим, заменено однозначными указаниями на причину неудачи («неразвитость народа» или «коррупционность правящего слоя»), непростое объяснение нынешних обстоятельств, уводящих в глубины отечественной истории, невозможное без обращения к контексту мирного процесса, оказалось недоступным современному российскому обществу и его науке. Случайность, казус? По-видимому, нет.

Одним из важнейших проявлений современного духовного кризиса в России является **методологический кризис в общественных науках**. В самом деле: творческое бессилие, неспособность общественной мысли разгадать хитрость «исторического разума» усугубляют общую дезориентацию духа, его растерянность перед лицом разнообразных форм «вызова». Нынешний этап социальной эволюции который раз в истории России поставил перед общественной мыслью принципиальный теоретический вопрос о критериях «прогресса» и «регресса», преодолении антиномии «цивилизации» и «варварства» в социальном развитии. Давно замечено, что наше отечественное общественное сознание, как, наверное, никакое другое, разрывается между полярными позициями относительно решения фундаментального философского вопроса о направленности истории и путей развития России, а также о том, что есть «норма существования», а что — «деградация» применительно к мировой и особенно собственной истории.

Сложность проблемы усугубляется еще одним парадоксом «русского взгляда» на историю, когда критерии ее оценки оказываются чрезвычайно подвижными и могут кардинально меняться иногда на протяжении жизни даже одного поколения. На эту «странную» сторону русского сознания обратил внимание еще в 1862 году Аполлон Григорьев: «Мы все маленькие Петры Великие на половину и обломовцы на другую. В известную эпоху мы готовы с озлоблением уничтожить следы всякого прошедшего, увлеченные чем-нибудь первым встречным, что нам понравилось, а потом чуть ли не плакать о том, чем мы пренебрегли и что мы разрушили».

Драма нынешнего состояния социальной теории, по нашему мнению, заключается еще и в том, что западнически ориентированное антикоммунистическое мышление периода «перестройки» и «радикальной реформы» фактически воспроизвело все основные характеристики линейно-стадиального взгляда на историю. Просто адепты рыночной экономики публично оспорили тезис о том, что «реальный социализм» находится выше «капитализма» как формации, и (в полном соответствии с линейно-стадиальной логикой) переместили данный строй как минимум на две ступени вниз — в «до-капитализм». Общая схема видения всемирно-исторического развития осталась, таким образом, прежней — было только «уточнено», пересмотрено место России в общем движении мира по пути прогресса. Но дело в том, что порочность старой теоретической методологии не сводится к приверженности третируемому ныне «научному коммунизму»; последний — лишь частный случай кризиса более общей картины мира, все более доказывающей свою несостоятельность и бесперспективность.

Общие изъяны методологической традиции, связанные с абсолютизацией монолинейного стадиально-формационного подхода, можно, на наш взгляд, свести к трем главным аспектам:

— **избыточному универсализму** — игнорированию многочисленных научных и практических свидетельств цивилизационного многообразия человечества (того, что на Западе получило название «плюрализма цивилизации»);

— **оптимистическому фатализму** — убежденности, что будущее человечества как будущего отдельных стран и народов гарантировано историческими законами «неуклонного поступательного развития»;

— **теоретическому редукционизму**, стремлению свести к экономике все и всяческие проявления общественной жизни.

Крайности философского видения мировой истории порождают специфический дальтонизм разных политических доктрин, последовательно отрицающих цивилизационную специфику собственной страны. Отсюда периодически возобновляю-

щиеся попытки механического переноса «передовых учреждений и порядков» (как правило, заимствованных на Западе; марксизм в этом смысле — характерный пример) на российскую почву. Все, что препятствует этому переносу, объявляется «*не-режимом*» или «*злонамеренным сопротивлением реакционных сил*». Здесь же лежат и методологические корни политического радикализма, готового «до основания» разрушить историческую традицию.

В этом смысле приобретает особое значение изучение самого феномена «российского западничества». Еще в 1992 году в Институте философии РАН была проведена международная научная конференция на эту тему. Было отмечено, что «российское западничество» в отечественной истории могло как **содействовать** социокультурной модернизации (будучи ориентированным на адаптацию к России цивилизационных моделей Просвещения, европейских образцов социальной науки, культуры, права, универсальных свобод человека и т. д.), так и, напротив, парадоксальным образом служить **дополнительным барьером** на пути модернизации (когда оно обнаруживало себя как умонастроение, не способное адаптироваться к появлению альтернативного восприятия мира внутри российской традиции, и пыталось обрести новую ортодоксальную и монолитную сакрализованную традицию).

Еще один порок монолинейного видения истории связан с верой в «*исторические гарантии общечеловеческого будущего*». Если реформатор мыслит как фаталистический оптимист, убежденный в том, что история знает одно только закономерно-поступательное развитие, он не останавливается перед употреблением самых крайних средств для прорыва ненавистного ему «отжившего» порядка. Прошлое ему как прогрессисту всегда кажется хуже любого будущего, качество которого, по его представлениям, гарантируется постулатами мировой истории.

Между тем опыт XX столетия в этом отношении больше свидетельствует о правоте подхода основателя кибернетики Винера, нежели Маркса. Реформатор обязан помнить, что хаос и распад — наиболее вероятные, точнее, «единственно гарантированные» состояния; порядок и стабильность, напротив, требуют специальных, целенаправленных усилий. Иначе говоря, новаторская деятельность ответственного преобразователя развращается не в горизонте «гарантированного прогресса», а перед лицом всегда подстерегающего общества хаоса. И если реформатор в своем «тираноборческом усердии» доводит государство и общество до той точки, в которой соскальзывание в хаос становится неизбежным, то мы вправе говорить о дефиците исторической ответственности, которая должна иметь свои ценностные (уважение к отечественной традиции) и методологические (понимание альтернативности истории) основания.

В свое время С. Л. Франк очень точно заметил, что «большевистский коммунизм» явился очередным на Руси по-русски безоглядным «тотальным отречением от истории» и «все его положительное содержание и упование ограничивается русским «авось» — наивной верой, что «трудовой народ», все разрушив, как-нибудь все самочинно наладит и с помощью сильного кулака принудит всех соучаствовать в неведомой, новой гармонии на опустошенной земле». Видимо, и сегодня мы имеем дело все с тем же «авось»: только на этот раз «*новую гармонию на опустошенной земле*» должен с неотвратимостью организовать не освобожденный «*трудовой народ*», а некие «*законы рынка*» и «*новые русские*».

Приходится также признать, что мышление значительной части сегодняшней российской элиты по-прежнему поражено застарелой болезнью одномерного техно- и экономоцентризма, связанного с некогда господствовавшим образом общества как «большой фабрики». Этот образ совершенно неадекватен тенденциям надвигающейся постиндустриальной эпохи, требующей существенного преобразования исходных методологических положений научного мышления (парадигмы) в духе **культуроцентризма и плюрализма**. Налицо, таким образом, общий изъян социального мышления, характерный равным образом и для «научных коммунистов», и для либералов-западников. Он состоит в фаталистической вере в детерминирующую роль экономической сферы — пусть и по-разному понимаемой, — которая чуть ли не автоматически гармонизирует сферы социальных отношений, политики и культуры. Однако мышление, сводящее оценку состояния и возможных альтернатив развития России лишь к технико-экономическим показателям, фиксирующим ее положение в одной-единственной системе координат — «материального прогресса», выглядит сегодня крайне одномерным. Глобальная оценка предполагает множество других измерений, касающихся:

— роли страны в мировой цивилизационной и геополитической системах;

— ее назначения как передатчика культурно-исторической эстафеты, содержащей уникальные по значимости послания совокупности региональных культур различных эпох;

— ее перспектив как носителя альтернативных моделей будущего, без которых горизонты человечества могут опасно сузиться, и т. д.

Итак, сегодня, как никогда, становится очевидным, что именно философско-методологическая установка определяет систему наших представлений, касающихся **сценарной проработки будущих состояний нашей страны и мира в целом** — нарастающе единого и — одновременно — нарастающе разнообразного. Возникает, в частности, принципиальный вопрос: ведет ли крушение биополярной системы, вы-

званное развалом одной из «сверхдержав», к **полицентричному** миру, что предвосхищается в рамках плюралистической парадигмы, или к **моноцентричному миру**, обновленному перспективами всеобщей «вестернизации», точнее, «американизации»?

Перспективы России совершенно по-разному смотрятся в каждой из этих методологических установок.

Монистическая установка тяготеет к прогнозам, связанным с имитационным характером нашего исторического развития, долговременным закреплением статуса России как адепта «западной модели», которая рассматривается в качестве общезначимого эталона для всего человечества.

Плюралистическая установка, напротив, образует систему координат, связанную с исторической многомерностью планетарного развития, с возможным самоопределением России как носителя специфической цивилизационной модели, во многом корректирующей «западный эталон».

В связи с этим, по-видимому, необходимо преодоление эмпирической приземленности и одномерности социального мышления путем нового обращения к традициям философии истории, причем не только западноевропейским.

Недавно столь влиятельная монистическая гегелевско-марксистская традиция утверждала воплощаемость «мирового исторического разума», «закономерностей поступательного развития» во всемирно-исторических гегемонах — «*исторических народов*» или «*передовых классах*». Главный вопрос теории прогресса касался исключительно того, куда смещается центр мирового развития и какой «всемирно-исторический субъект» его воплощает. В таком видении мировой истории находила проявление особая, авторитарно-иерархическая система исторического мышления, проецирующая на общественную эволюцию субъект-объектную схему. В рамках такой системы мышления основной проблемой сегодня опять является поиск нового «носителя мировой воли», нового «центра мировой истории», будь то Америка, Тихоокеанский регион или Западная Европа. Подобная методика напоминает «социальную инженерию», но применимую к самому историческому процессу: перед нами разум, жаждущий управлять самой историей и ожидающий ее полной предсказуемости на основе выявления закономерной смены фаз ее развития.

Плюралистическая парадигма, напротив, относится к истории с большим доверием, оставляя за ней право на опыты, не предусмотренные планами «мирового духа» или всемогущего, все заранее знающего «демона прогресса». Ее историософское сознание близко сознанию немецкой исторической школы, которая выдвигала тезис, что существует не «всеобщий субъект» или «воплотитель» прогресса, а только «исторические индивиды» (Гадамер). Исторический реализм, таким образом, состоит в признании того, что в истории народы и отдельные личности занимают **творчеством**, то есть созданием непредвиденного, вместо того чтобы воплощать заранее существующий план всемирной истории.

Утратив статус сверхдержавы — одного из центров биополярного мира, — Россия сегодня объективно заинтересована в последовательном преодолении монополярности, тогда как США, претендующие на звание «победителя в третьей мировой войне» (холодной), объективно больше тяготеют, как это ни парадоксально звучит, к архаичной концепции мира, организуемого из единого центра, управляемого и иерархизированного. В этом — один из парадоксов современного геополитического и историософского мышления.

Между тем абсолютизация российской специфики, романтическое стремление в одиночку предьявить альтернативу миру также несут в себе непреодолимые методологические пороки. Игнорируется тот факт, что не только сохранение национальной самобытности, но и необходимость социокультурной и экономической модернизации, перехода к информационному обществу, которое может быть только открытым, являются необходимыми условиями выживания России как державы и складывания ее как цивилизации.

Попытка демифологизации спора «западников» и «самобытников»

Важной характеристикой духовной ситуации в России является новый раунд спора «самобытников» и «западников», который полностью воспроизвел односторонне-обособленные парадигмы их мышления, когда одни мифологизируют «*особость*», а другие — «*оставание*». Этот спор принял агрессивную форму беспрецедентной «разборки» на тему «*кто виноват?*» — «*косная русская почва, регулярно воспроизводящая деспотизм и рабство*», или «*западные проекты, навязывающие России инокультурные, а потому убийственные для нее рецепты?*»

Если принять эту логику спора, то в конечном счете виноватыми должны оказаться либо те, кто «*мешает стабильно подтягивать Россию вверх, до западного уровня*» (в стадийно-формационной логике «западников»), либо те, кто «*сбивает ее с собственного исторического пути*» (в цивилизационной логике «самобытников»). В результате этого нового раунда противостояния равно деградировавших

«западничества» и «самобытничества» вновь мощно заработал хорошо описанный в свое время механизм «самоварваризации» русской культуры: «Одни хотят насильственно раскрыть дверь будущему, другие насильственно не выпускают прошедшего; у одних впереди пророчество, у других — воспоминания. Их работа состоит в том, чтоб мешать друг другу, и вот те и другие стоят в болоте». (Герцен)

Между тем решение этого кардинального для всей русской истории вопроса зависит, по всей видимости, от умелого аналитического совмещения «стадиального» и «цивилизационного» подходов. Иначе говоря, комплексная проблема состоит в следующем: каким образом провести успешную модернизацию в России (стадиальный ракурс проблемы), но модернизацию именно национального российского образца (цивилизационный ракурс)?

Методология такого анализа предполагает, что выстраивание оппозиций «традиционность — современность» (в стадиальной логике) или, предположим, «Восток — Запад» (в логике цивилизационной) в философском смысле оказывается архаичным, ибо предполагает выбор из реальных состояний общественного бытия и, таким образом, как бы подразумевает, что **историческое бытие нам в любом случае гарантировано**. Между тем более глубокий пласт проблематики (собственно, «философия истории») состоит как раз в понимании того, что История вовсе не гарантирует социального бытия как такового; более того, многие ее проявления, имеющие место во взаимозависимом мире и сопряженные поэтому с межцивилизационными синтезами (например, те же проблемы «модернизации»), ставят это социальное бытие под вопрос. Поэтому философия истории в отличие от «просто истории» должна исходить из презумпции: в глубинном смысле «традиция», например, вовсе не противостоит «новации», так же, как одна цивилизация не противостоит другой цивилизации — **каждая социальность противостоит в первую очередь своему собственному «небытию**», тенденции к своей деградации и социальной энтропии.

В этом смысле важнейшая специфика российского социума — его «зажатость» между двумя формами социальности, опознаваемыми их радикальными критиками как «варварство» — «азиатское варварство позади» (на чем настаивают «западники») и «вестернизированное варварство впереди» (о чем не устают предупреждать «почвенники»). Результатом этой ситуации является идентификационный кризис, тем более что «русское западничество» и «русское самобытничество», по сути дела, инспирированы одной и той же экзистенциальной проблемой «социальной деградации»:

— для «западников» эта идея трансформируется так: «Россия есть загнивающий Восток, царство тьмы и войдет в цивилизацию, только став Европой»;

— для отечественных «самобытников» понятие «деградация» прямо противоположно содержанию: «Россия погрузится в новое варварство, если поддастся искушению стать Западом».

Русская драма идентификационного выбора между европеизмом и самобытностью трансформируется, таким образом, в ее более драматичный выбор между двумя возможными формами деградации — риском «*загнивания культуры на корню*» и риском «*пустить культуру по ветру*». Проблема усугубляется еще и тем, что даже пребывание на зыбком пограничье «двух варварств» не способно уберечь цивилизацию, ибо «варварство охранителей» и «варварство просветителей», взаимодействуя, **перемножаются**, плодя особенно отвратительные формы квазичивилизации, которые П. Н. Милюков, оппонируя в 20-х годах нашего века понятию «Евразия», назвал термином «**Азиопя**». Думается, что и нынешняя политическая ситуация в России несет на себе черты «Азиопы» как своего рода «**дурного синтеза цивилизаций**»: «западный» принцип плюрализма политических партий сочетается у нас с «восточным» принципом их структурирования как противостоящих кланов, выстраиваемых не снизу (на основе трансляции наверх определенных социальных интересов и ожиданий), а «сверху» — под конкретного лидера, подбирающего свою «клиентуру».

Апелляция к понятиям «цивилизация» и «варварство» присутствует сегодня в рассуждениях представителей прямо противоположных общественно-политических лагерей. Основным пунктом аргументации в пользу нынешних реформ стала у либералов идея «*перехода от тоталитаризма к демократии*», которая конкретизируется как выход из тупика «Советского варварства» («черной дыры истории») к свету универсальной Цивилизации. Противники реформ, напротив, интерпретируют как социальную варваризацию результаты самих общественных трансформаций. По их мнению, социализм был формой «цивилизации» (не лишенной теневых сторон, но достаточно органичной для России); разрушение же этой своеобразной цивилизации ведет ко всеобъемлющей деградации: технологическое первенство по ряду направлений сменяется превращением страны в сырьевой придаток Запада; интернационалистская общность («советский народ») — межэтническими войнами; высокий уровень культуры («самая читающая нация в мире») и нравственности (следование «моральным кодексам») — «ценностным вакуумом» и «вседозволенностью».

Очевидно, что традиционная для России ситуация «*между двумя варварствами*», равно как и императив «*варварской борьбы против варварства*» (причем с обеих сторон), ныне воспроизводятся в полном объеме в следующей модификации:

«варварская приватизация» и «дикий рынок» против «варварского тоталитаризма». Общество снова, по меньшей мере в третий раз в своей истории (как в «петровский» и «большевистский» периоды, оказалось «зажатым» между перспективами двух видов деградации: на этот раз между «обрушением в третий мир» и «реставрацией тоталитаризма».

В этом, собственно, и заключается, на наш взгляд, всеобъемлющий **кризис идентичности**. Он состоит не в том, что из нескольких вариантов развития цивилизации (т. е. «социального бытия») требуется выбрать один (по принципу «кем быть?»): традиционным или модернизированным, «западным», «восточным» или евразийским» и т. д.). Подобного рода кризис возникает на грани «социального небытия» и предполагает иной, экзистенциальный выбор **«быть или не быть?»**.

В этой ситуации в обществе возникают идентификационные противоречия принципиально иного свойства. Они состоят не в конкуренции бытийных альтернатив (спор по вопросу «кем быть?» — нормальный спор в любом обществе), а в том, какая перспектива «небытия» (социальной деградации) страшнее: «*риск застоя*» или «*риск неудачной псевдомодернизации*»?

Сегодняшний идентификационный кризис в России, таким образом, состоит в том, что самоидентификация осуществляется не свободно, а вынужденно: по принципу «от противного», в лучшем случае — выбора «меньшего из двух зол»:

— консервативно-реставраторская идентификация происходит главным образом из-за неприятия перспективы «*обрушения в третий мир*»;

— радикально-реформаторская идентификация, в свою очередь, происходит из-за противодействия перспективе «*реставрации тоталитаризма*».

Особенность такого рода кризисов заключается в том, что они требуют как повышенного уровня мифотворчества (нагнетание с обеих краев «образа врага»), так и обоюдостороннего политического радикализма. Практическим же результатом такого рода идентификационного кризиса парадоксальным образом, как правило, становится то, **чего не хотел никто** — ни «западники», ни «самобытники». Здесь возникает та самая «**Азиопия**» как своего рода дурной синтез противоположных тенденций. Такой негативный культурный синкретизм рискует привести к жесткому авторитарному и антидемократическому режиму при **одновременном** скатывании в третий мир.

Можно ли сделать антиномия «западничества» и «самобытничества» продуктивной?

В свете драматического опыта развития России в XX столетии представляются несостоятельными предпринимаемые сегодня новейшие попытки утвердить некую особую степень «*культурности*» России, представить дело таким образом, что Россия и после крушения коммунизма оказалась в некотором преимущественном положении по отношению к уже окончательно выпавшему из «высокой культуры» в «массовую цивилизацию» Западу. Дело не только в историческом сомнении. Опасное заблуждение здесь, на наш взгляд, состоит в том, что тоталитаризм опять рассматривается как «*меньшее из зол*» по отношению к бездушной западной цивилизации, как всего лишь псевдоморфоза русского соборного традиционализма, якобы сохранившая внутри себя основные смыслы «органической культуры».

По нашему мнению, надежда на реанимацию архаичных пластов русской культуры после столетий крепостничества и полукрепостничества, десятилетий тоталитарного произвола иллюзорна, а потому и апелляция к «японскому феномену» органического синтеза архаики и модерна не является вполне корректной. Очевидно, что и главный методологический порок тезиса о «возврате в Россию» (столь популярного несколько лет назад) заключался в том, что «под глыбами тоталитаризма» предполагался здоровый субстрат — общество, подобное «*граду Китежу*», который лишь временно ушел под воду. Но ведь именно Россия выносила большевизм как патогенную мутацию **своего же собственного организма**.

Большевизм — не случайность, а закономерность русской истории. Это, однако, вовсе не означает, что тоталитаризм порожден именно русской традицией. **Тоталитаризм порождает не традиция, а особый тип разрушения традиции.** Речь идет о предрасположенности к выбору именно тоталитарного варианта прохождения общецивилизационной развилки, когда решается вопрос: *каким способом проводить модернизацию?*

В связи с этим нужна трезвая, лишенная не только апологии, но и демонизации концепция большевистского тоталитаризма. Эта философская концепция должна ориентироваться не на простой отказ от большевизма, а на его *преодоление*. Проблема современно мыслящих людей заключается вопреки мнению многих не в сокрушении «советского коммунизма» (это часть истории народа, страны), а в *освобождении* от него. Сделать это можно, только взяв на себя (на каждого из нас) моральную ответственность за тоталитаризм и начав диалог с прошлым. Пора понять, что поиск альтернативных капитализму вариантов развития (и мифологизация этих

альтернатив) является реакцией **не на возможность собственной вестернизации и капитализации, а на то, что они «не получаются» в наших культурных условиях.**

В этом смысле даже третируемая ныне «идеология застоя» имела достаточно глубокий (если угодно, экзистенциальный) смысл. В ее основе лежало не официально декларируемое освобождение от атавизмов капитализма в ходе поступательного движения вперед (к коммунизму), а, наоборот, подспудная идея **торможения** на рискованном для России пути к универсалиям «открытого общества». Причиной этого «торможения» была, таким образом, не боязнь *«того берега»* (капитализма), а такого к нему мостика, который имел слишком много шансов обвалиться в хаос. В «идеологии застоя», значит, воспроизвелась классическая в России ситуация *«между двумя варварствами»*, когда «варварство застоя» мыслилось меньшим злом и риском, нежели риск «новой варваризации» под воздействием спонтанной псевдовестернизации. Консерватизм идеологов и практиков «застоя» был в этом смысле проявлением интуиции, предчувствием (вряд ли это можно назвать промысливанием) того, что очередная западническая инновация опять, как неоднократно бывало в России, приведет к хаосу, а не к модернизации.

На основе проделанного в настоящей статье анализа может быть подвержено серьезной коррекции и распространенное мнение, согласно которому социокультурный ценностный раскол российского общества (условно говоря, на «традиционалистов» и «либералов») либо вообще лишает Россию цивилизационной перспективы (в лучшем случае порождая псевдомемократические стилизации), либо требует от реформаторов беспрецедентной степени модернизационного насилия. В разрабатываемой нами концепции заложена возможность выхода из замкнутого «круга» противостояний хаоса и деспотического порядка.

Эта возможность связана:

— с пониманием того, что перспективы реформирования страны коренным образом изменились: ни «капитализм», ни «социализм» в конце XX века не могут «по отдельности» определить магистральный вектор становления будущего России. Скоропостижное равенство людей и народов недостижимо с помощью революционной социалистической катастрофы;

— с признанием феномена *«Азиопы»* как общего противника и реформатора-западниками, и теми неопочвенниками, которые озабочены сохранением и развитием русского цивилизационного генотипа; с демифологизацией на этой основе взаимных упреков в «варварстве»;

— с рациональным социологическим определением всей совокупности объективных форм «нового варварства» как «социальной паразитарности» и их последующим отторжением совместными усилиями активных элементов складывающегося гражданского общества на периферии социальной жизни.

Именно в совокупности этих шагов, требующих совместных усилий **Власти и Общества** (включая интеллектуальное сообщество ученых), видится залог **либерально-консервативного синтеза** в России, объединяющего потенциал как «осмысленных западников», так и тех российских «почвенников», кто выступает за последовательное сокращение — в перспективе до нуля — бюрократическо-распределительного патронажа над свободно самоопределяющимся обществом и за многообразие форм продуктивного культуротворчества при сильном государстве, занимающемся своими делами.

Проведенный анализ также подтверждает правоту русского философа и культуролога В. В. Вейдле, полагавшего порочным сам принцип построения оппозитивной идеологией «западники» против «самобытников», где те и другие в равной степени поражены одним болезненным ощущением — *«стремятся возвеличить «свое» путем умаления «чужого», не понимая относительности различия между своим и чужим»*, что неизбежно приводит в результате к *«сужению своего, которому начинает отовсюду угрожать их же собственными усилиями раздутое, разросшееся чужое»*.

Следует напомнить, что лучшие образцы национальной культуры имеют своим общим свойством противостояние «русскому варварству» и в этом смысле неделимы на «русскость» и «западность». Опираясь на идеи Ф. Достоевского и Л. Толстого (которые утверждали, например, что *«западность и русскость Пушкина — одно»*, и *«чем глубже он укоренен в своей стране, тем глубже прорастает он в Европу»*), С. Л. Франк сформулировал данное положение так: *«Народность в этом общем смысле совсем не предполагает замкнутости от чужих влияний, обособленности национальной культуры. Напротив, субстанция народного духа, как все живое, питается заимствованным извне материалом, который она перерабатывает и усваивает, не теряя от этого, а, напротив, развивая этим свое национальное своеобразие...»*

В связи с этим ни в коей мере не стоит отрицать и опасности *«денационализации России»*, потери ею накопленного позитивного опыта в ходе межцивилизационного взаимодействия при осмысленном сопротивлении активной культурной и экономической экспансии Запада. Именно **подчинение России чужим канонам как раз лишило бы страну перспектив успешной модернизации**. Более того, русские противники западнического эгигонства и «обезьянничания» были абсолютно правы в том смысле, что утратившая национальное своеобразие Россия как раз и не попадет

«в Европу», а, напротив, лишится своего законного места в европейской культуре, ибо станет для этой Европы неинтересной и ненужной.

Итак, традиционная модель российского кризиса идентичности — ситуация «между двумя варварствами» («русской азиатчиной позади» и «псевдоевропеизмом впереди») — не предполагает в качестве своего неизбежного следствия ни варварской борьбы против варварства», ни тем более какой-либо обреченности на мифическое «снятие» этого противоречия в виде эсхатологической утопии типа «русского социализма». Ситуация кризиса идентичности может быть и плодотворной, если социальная рефлексия приводит к согласию всех субъектов культуры, призванных устранять из социума паразитарные формы «социального варварства».

Подобная перспектива может найти опору в **русской философской традиции «конструктивного компромисса»**, активно изучаемой в Институте философии РАН и представленной в литературе мыслителями либерально-консервативного направления, сумевшими перевести самоварваризирующую логику русского спора «или западничество, или самобытность» в плодотворную логику «русская цивилизация против русского варварства». В этом ряду особенно выделяются Н. М. Карамзин, А. И. Герцен, Б. Н. Чичерин, П. Б. Струве, Г. В. Плеханов, Г. П. Федоров, Ф. А. Степун, В. В. Вейдле. Их глубокие цивилизационные интуиции (находящиеся «по ту сторону западничества и славянофильства») помогают снова припомнить старую либерально-консервативную истину, особо значимую для России: свобода, как и высший цивилизационный уровень, никогда никому не гарантирована. А опасность социальной деградации поджидает нас в том числе и в обличье особенно тонкого искателя — «бескомпромиссного борца с варварством».

Резюме, или Наше представление о путях выхода

Мы не хотели бы ограничиться по преимуществу констатацией духовно-идеологического кризиса и разбором его составляющих: в последнее время в нашей научной литературе слишком часто показывают, «что случилось», и довольно редко — «как из этой ситуации выйти», иными словами, практически забыть «программно-целевой метод». Подытожим результаты в виде нескольких выводов и рекомендаций, несколько не претендуя на их завершенность и тем более «истинность в конечной инстанции». Все-таки духовно-идеологическая ситуация в современной России, критически рассмотренная выше, на наш взгляд, побуждает не только к оценкам, но и к действиям.

Первое. Устойчивый строй новых российских ценностей может образоваться лишь на основе **исторической преемственности** и, в частности, как результат серьезного и плодотворного диалога либерально-демократической идеи «свободы» и социалистической идеи «равенства». Определенного рода «откат» после необходимой фазы «либерального забегания», по-видимому, возможен, антикоммунизм должен быть заменен «некоммунизмом» с преобладанием «государственной идеи» и «социальных ценностей». В этом смысле новой России как национально-государственному и исторически преемственному образованию еще предстоит сформулировать свою идентичность и создать условия, при которых модернизация, а значит, и духовное возрождение только и могут принять серьезный характер.

Именно **«либерально-государственническая»** (в сочетании с социал-либеральной) идея представляется наиболее перспективной в современной России. Содержательный смысл такой позиции мог бы быть сформулирован так: *«Сильное, профессиональное, эффективное государство, определяющее стабильные «правила игры», и охраняющее пространства самореализации (продуктивной свободы) многообразных «игроков», признающих приоритет национального российского консенсуса»*.

Либерально-государственническая идея, органично соединяющая в себе идеи демократического правового строя, социального консенсуса, патриотизма и имеющая, кстати, в России серьезную историческую традицию, позволяет, как представляется, **парализовать возможность опасной гипертрофии** каждого из необходимых элементов новой национально-государственной идеологии, а именно:

— **гипертрофии идеи государства** как тоталитарного Левиафана — тюрьмы народов (в том числе тюрьмы для русских);

— **гипертрофии идеи равенства** как тотальной уравнительности в духе основательно позабытого коммуно-космополитического лозунга: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»;

— **гипертрофии идеи свободы**, ведущей к пренебрежению социальными и национальными интересами под лозунгами «вхождения в мировую цивилизацию».

Второе. Необходима **существенная корректировка самой концепции общества**, соответствующая переходу от индустриальной стадии развития к постиндустриальной, информационной. Необходимо понимание общества как **культурного организма**, где ключевой, организующей, мотивирующей и объясняющей идеей является **«национальная идентичность»**. Не случайно, что в большинстве стран СНГ и

постсоциалистической Восточной Европы политический процесс развертывался прежде всего под знаком гуманитарных доминант — проблем национальной независимости и идентичности, сохранения родного языка и традиций, морально-религиозных ценностей.

Таким образом, для преодоления кризиса требуются, на наш взгляд, решительная **ротация элит**, включая научную, и **мобилизация механизмов культурной самозащиты общества**. Это тем более необходимо в условиях мощного информационно-ценностного давления извне, порою принимающего форму «американизации». В ряде стран Западной Европы правительствами принимаются специальные меры для ограждения национальной культуры от размывающего воздействия «американизации» (имеется в виду ее вульгарный, «масс-культурный» тип). Там осознают, что речь идет не о мелочах, интересующих только специалистов, а о способности нации сохранить себя как духовную целостность в быстро меняющемся мире.

По-видимому, назрела необходимость в формировании комплексной гуманитарной программы междисциплинарного типа, которая могла бы называться — **«Национальная идентичность в меняющемся мире»**. Современная нация и государство не выживут, если не будут реагировать на происходящие в мире изменения, адаптироваться к требованиям эпохи, сохраняя при этом свою идентичность. Без этого само понятие «национально-государственного интереса», столь важное в практической политике, утратило бы всякий смысл, растворившись в абстракции общечеловеческих, общемировых интересов.

Третье. Важным фактором преодоления духовно-идеологического кризиса должно стать восстановление суверенности нравственного сознания как специфической формы жизнеориентации. С оспариванием прерогатив нравственного сознания раньше нас столкнулся Запад. В 60—70-х годах вместе с активизацией различных «субкультур», экспериментирующих с моральными и культурными нормами, с одной стороны, технократическими установками на эффективность в ущерб традиционной нравственности — с другой, стали усиливаться признаки декаданса, что ставило под сомнение способность Запада сохранить свою цивилизационную идентичность и устоять перед натиском восточной «сверхдержавы». В ответ на эту опасность и возникло движение **неоконсервативной консолидации** Запада, в основу которого была положена моральная идея: защита нравственных и духовных традиций посредством опоры на консервативное *«моральное большинство»*. Резкое усиление позиций Запада в мире, происшедшее в 80—90-х годах, несомненно, связано с этим неоконсервативным движением, сумевшим отстоять «нетленные национальные ценности».

Думается, что сегодня, при массовой деморализации, проявляющейся не только на быденном уровне, но и даже на уровне государственной политики, необходим переход к стратегии, напоминающей стратегию западных неоконсерваторов. Воссоздание нового гуманитарного знания движением «морального большинства» — вот путь, способный, на наш взгляд, вывести из нынешнего тупика.

Четвертое. События, происходящие в духовной сфере, в мире ценностей, сегодня прямо влияют на геополитическое положение нашей страны, на стратегическую безопасность. В постсоветском пространстве в целом и в пространстве России в частности наметились тревожные тенденции противопоставления и противостояния тюрко-мусульманской и славяно-православной традиций. Некогда единое державное пространство нашей страны разрывается по национально-конфессиональному признаку, что грозит подтверждением справедливости известной версии о появлении *«дуги нестабильности»*.

По-видимому, прежние основания и механизмы идентичности, скреплявшие пространство нашей страны в единую историческую общность, в политическую нацию, уже в значительной мере подорваны и не работают, что проявляется во всплесках архаичного этноцентризма, сепаратизма и национально-религиозного экстремизма. Эта составляющая современного духовного кризиса напрямую воздействует на политическое пространство страны, на ее стратегическую безопасность и целостность. Перед лицом этой опасности, помимо курса на последовательную федерализацию российского государства, необходима мобилизация интеллигенции, в первую очередь гуманитарной, с целью открыть, по-новому интерпретировать и актуализировать в массовом сознании важнейшие универсалии нашей **общей культуры**, образующие единое духовное пространство страны, поддерживающие ее целостность на протяжении сотен лет. Эти универсалии носят надэтнический и надконфессиональный характер — не случайно они способствовали консолидации гигантского суперэтноса, называемого многонациональной Россией.

Мы отдаем себе отчет в том, как трудно будет обществу открывать заново русло отдельного и вместе с тем всеобщего развития страны. Но в преддверии XXI века рано или поздно придется сделать это — стать другими, не уходя от себя. Хотелось бы раньше.

Земля и воля

НИЖЕГОРОДСКИЕ ЗАМЕТКИ

Недавно ушел из жизни Борис Можжев — большой русский писатель.

Ровно двадцать лет назад в нашу жизнь тогда очерке «Запах мяты и хлеб насыщенный», давшем впоследствии свое название целой книге повестей, рассказов и полемических статей, Б. А. Можжев, споря с критиками, отстаивал свое понимание гражданской активности писателя: «Я хочу лишь раз напомнить, что термин «самодостаточности» искусства, принятый как простая истина в западном мире, в России не привился; у нас давненько выработалась антитеза ему — служение писателя обществу... Надо помнить, что мы ходим по своей родной земле, очень определенной, своеобразной, имеющей не только свои неповторимые черты, но и нужды современной жизни. И негоже писателю эти нужды считать чем-то мелким, ничтожным, не заслуживающим внимания высокого искусства».

Мне трудно назвать другого литератора, чьи декларации так соответствовали бы не просто качеству и содержанию его сочинений, но и образу жизни. И тогда, двадцать лет назад, и позже, и в самые последние месяцы Борис Андреевич надолго уезжал из Москвы в глубь России — поближе к крестьянским хозяйствам, деревенским жителям, земле. «Истинному литератору идеи искать не надо; он ими дышит, как воздухом, переживает их вместе с обществом», — однажды написал он. Идеей, которой дышал он сам, была земля — и в глубоком религиозно-философском смысле Земли-Матери, и в самом простом, обыденном, «сельскохозяйственном» значении.

Автор романа-хроники о «великом переломе» 1929 года, сломавшем хребет русской крестьянской общине и надругавшемся над землей-кормилицей, Можжев буквально был болен нынешними недугами российской деревни. Погружаясь в современный материал о русском крестьянине или фермере, он снова, как в «Мужиках и бабах», хотел разобраться в столбовом вопросе: кем был и кем является этот мифический сельский труженик — «тороватым, неумолимым работником, у которого следовало учиться «способам перехода к лучшему строю», или аморфным недоразвитым увальнем — живет, а для чего, сам не знает»? К этой магистральной для русской литературы проблеме Можжев подходил как бы с презумпцией добра, считая, что сельский уклад жизни искони воспитывал в русском человеке прекрасного работника, храброго воина, надежного гражданина.

Можжев-романист или Можжев-публицист — он действительно был одержим одной мыслью, одной страстью: земля ждет хозяина. Он возмущался, когда его всепоглощающий интерес к судьбе деревни легкомысленно или пренебрежительно называли производственным. И научился отвечать спесивым критикам с каким-то даже стойким смирением: вновь откладывал текущий роман или повесть, переносил литературный вечер, откладывал телезапись и брал билет куда-нибудь далеко от Москвы.

Так был написан и последний очерк, предназначенный для нового журнала «Россия». Борис Андреевич был его главным редактором и успел поддержать в руках первый номер своего детища. В обращении к читателям сформулирована основная цель издания:

«Запечатлеть новое лицо России — лицо новой России — таким, как оно выглядит сейчас и сегодня. Показать его без грима, пудры или румян, но одновременно и без нарочитого сгущения черной краски, как это, к сожалению, нередко делается».

Людмила САРАСКИНА

Водном из номеров «Литературной газеты» я прочел такую знакомую словесную канитель: будто бы на конференции по сельскому хозяйству один из высоких докладчиков, некий Ковальчук из комитета по аграрной политике Совета Федерации, заявил в Ставрополе, что он изучил «нижегородскую модель» приватизации земли и реорганизации производства и возвестил: все это не наше, не российское, а посе-

му нам не нужно. Вывод сделал такой: «Самое негативное в «нижегородской модели» то, что она разрушает социалистический и формирует капиталистический уклад жизни крестьян, заражает их рыночной идеологией, создает производственные формирования, главная цель которых — прибыль».

Ах, какой ужас! Они, видите ли, за прибылью гоняются... Нехорошо! Не пора ли этим высоким теоретикам уяснить такую малость: дело не в капиталистической и не в социалистической системе, а в том, что земля не работает, крестьяне живут трудно, мягко выражаясь, следственно, надо искать выход не только для крестьян, но и для всего общества, жизнь которого в первую очередь зависит от благосостояния крестьянства. Эту простую истину наши плутократы от политики и от науки никак не могут, а вернее, не хотят уяснить и считаться с ней.

Так что не без оснований настроился я послушать похоронный звон по колхозно-совхозному строю в Нижегородской области.

Но, увы! Не получилось... Пресс-секретарь губернатора Виктор Иванович Лысов, обходительный, приветливый и обаятельный человек, обескуражил меня в первую же минуту нашей встречи — он протянул мне сводную ведомость реформирования хозяйств всех районов области:

— Вот наша статистика на сегодняшний день.

Смотрю на внушительную ведомость — сорок девять районов в области. Недаром раньше называлась она краем...

А хозяйств в области насчитывается 733, из них реформировано всего лишь 53 хозяйства, подали заявки на желание реформироваться в конце нынешнего года еще 110. Остальное же подавляющее большинство хозяйств не торопится перейти в «высшую фазу развития», то бишь в «капитализм». Что это за «капитализм»? Скажу чуть ниже. Пока же замечу, что жиденькая колонка цифр реформированных хозяйств вызывает усмешку. Навертывается поневоле догадка — не шибко жмут высокие областные начальники на переход в «высшую фазу развития», то бишь в капитализм палками не загоняют, как раньше в колхозы. И слава тебе Господи! Пародия на тридцатый год — «сплошная реколлективизация» — не состоялась.

Выбираю для исследования два района: один из самых стойких — Воротынский, там ни одного колхоза не расформировали, и самый передовой по освоению «нового строя» — Бутурлинский: в нем из двадцати одного хозяйства четыре реформированы и шесть подали заявку на переход в «высшую фазу» осенью сего года. И тут не шибко торопятся.

— Не густо, — говорю Лысову.

— Мы насильно никого не разгоняем и никуда не загоняем. Люди у нас будь здоров! Их нелегко обломать.

— Да, — соглашаюсь я, — нижегородцы издавна славились как мастера на все руки. Впрочем, таких людей нам не занимать и в других областях. Но тем не менее живем плохо.

— А таквы условия, заданные сверху. Что творится на нашем так называемом рынке? Эта манипуляция ценами, особенно на технику. Дороговизна немислимая! По сравнению с этой бешеной гонкой ценового произвола цены на мясо, на молоко, на зерно значительно отстали. Я имею в виду те закупочные цены, что установлены свыше на нашу продукцию, сдаваемую государству. А государство продаст тот же хлеб, мясо, молоко в десять раз дороже. Я уж не говорю о технике...

— Значит, с техникой у вас туго?

— Еще бы! Едем главным образом на старой... Ну сами подумайте: чтобыкупить один комбайн, хозяйству надо сдать фантастическое количество зерна. Тонна зерна стоит восемьдесят тысяч рублей (сверху определено), а комбайн — сто десять миллионов. И тоже сверху установлено. Тут никакой урожай не спасет. Если и есть у нас рынок, то дикий, спущенный сверху. Так что живем в основном еще на старых запасах техники. Благо наши механики буквально чудеса творят на ремонте, сами увидите.

Начальник администрации Бутурлинского района Нина Егоровна Соловьева была со мной и откровенна, и разговорчива.

— Расскажите, как вы тут капитализм строите? — спрашиваю ее.

Смеется:

— И чего только не болтают про нас! И колхозы, мол, разгоняем, и землю чуть ли не продаем.

— Да, да! — подзадориваю ее. — Землю за границу возите. В мешках продаете или кузовами?

Смеется. Невысокого роста, но плотненькая, энергичная, стрижка короткая, простенькие подвесочки в ушах. Однако голос звонкий, сильный, хотя с хрипотцой. Эта за себя постоять сумеет.

— Ну какая у нас распродажа земли? Где и кто ее видел?! Одна болтовня. Да, мы разукрупняем некоторые наши необъятные и неуправляемые колхозы да совхозы. Но делаем это по доброй воле, то есть с согласия самих колхозников. И фермеров наделяем землей с согласия тех же колхозов да совхозов. Беда в том, что они чересчур громоздкие. Начальники прежние гигантоманией занимались. Да ведь не в районах и не в области все это придумывалось, сверху спущено было это дело как передовое — с подвижкой к коммунизму. Получилась же неуклюжая форма управления. Отсюда бесхозяйственность, урожаи упали, поголовье скота уменьшилось. Да за что ни возьмись! Последние десять лет все же криком кричали: де хозяйства наши громоздки, неуправляемы...

— Теперь некоторые вроде бы и позабыли про это.

— А-а! То-то и оно. Поймите меня, люди не от сладкой жизни идут на эти разукрупнения. Ищут выход из кризиса. Земля-то гуляет впусе. Надо же что-то делать! Вот и стараются... Иное получается неплохо, а иногда и промашку дают. Посмотрите сами, поговорите с людьми.

— С кого же начать? — Улыбаюсь. — Кого вам не жаль?

— Начинать надо с нашего районного земельного отдела, как это раньше именовалось. Теперешний начальник Крюков Александр Николаевич. С него и начинайте.

Крюков занимает маленькую комнатенку, заставленную шкафами и двумя столами. И посетителей полна комната. Протискиваюсь сквозь толпу, присаживаюсь за второй столик, жду...

Александр Николаевич быстренько раздает поручения, посетители расходятся, и мы остаемся вдвоем. Он темноволос, еще относительно молод, подтянут, хорошо одет.

— Давненько вы работаете в этом районе? — спрашиваю его.

— Да. Пережил все перетасовки за последние четыре года.

— Это что за перетасовки?

— Да помните, поди, девяносто первый год?.. После путча! Тогдашний глава правительства Силаев, наш земляк, прислал серьезные указы — строго расследовать: кто чем занимался во время путча?! Нет ли причастных к путчистам? — И сам смеется. — Ну кто в этой глуши мог быть причастным к тем московским делам? Смех! Но тем не менее были созданы комиссии в областях и в районах. Расследовать! Кто чем занимался в эти дни из районных ответработников?

— Иди ты! — невольно вырвалось у меня. — Связи с Москвой искали. И нашли среди вас причастных?

Мой собеседник опять засмеялся:

— Ну, сами посудите: чем мог заниматься в те дни в глухом районе рядовой служащий или партработник? Я был тогда заместителем председателя райисполкома. И мне самому по приказу свыше пришлось создавать такую же комиссию, опрашивать — кто чем занимался. И меня спрашивали. И я отвечал, что работал на газификации, занимался строительством новых домов. В Москву не летал, на митингах не был... Но приказ есть приказ, словесные показания не в счет. Пришлось отчитываться письменно каждому, и каждый написал отчет. То бишь выполнил волю высшего начальства, хотя и понимали, что это дурость.

— А теперь не заставляют вас вот так же по приказу сверху отчитываться?

Только рукой махнул:

— Теперь кричи — не докричишься, стучи — не достучишься... Так что хрен редьки не слаще. Теперь что сами сообразим, сделаем — то и благо. Помощи от высоких инстанций не жди.

— Что же удалось вам самим наладить в последние годы?

— Мы наладили рынок прежде всего. Зарплату получают в колхозах регулярно, потому что сбыт налажен. Вот наш Бутурлинский государственный завод по несколько месяцев не рассчитывается с рабочими. А в колхозах зарплату получают регулярно и ежемесячно, потому что у них есть свои торговые точки в двух районах Нижнего — в Автозаводском районе и в Советском. Молоком торгуют наши колхозы, мясом, колбасой, маслом. Да сорок процентов добра отвозим мы на рынок. Потому у нас и работают клуб, школы, медпункты, водопровод, котельная. Дороги строим сами. Поэтому мы не закрыли ни одной школы, ни одного медпункта, ни одного детсада. Даже дом милосердия построили. Трехэтажный! Такой домина... Приют детский строим и еще две школы планируем построить.

— А не обижаются, что вас капиталистами обзывают?

— А! Знаете пословицу? Собака лает, а караван идет... Брехня, одним словом. Отождествлять капитализм с рынком глупо. Рынок в любом обществе — основа основ... Ежели он не дикий.

— Как у вас с ценами?

— На Нижегородском рынке у нас есть свои точки торговые, то бишь ларьки, и цены свои. Мы конкурируем с государственными магазинами. У них литр молока — две тысячи рублей с хвостиком, а у нас — тысяча сто. А то и тысяча.

— Вон что! А у нас в Москве три с лишним тысячи дерут за литр молока.

— У нас и мясо дешевле казенных цен почти вдвое, и масло, и все иные продукты. И рэкета там нету, потому что на этих рынках торгуют главным образом колхозы да совхозы и охрану свою держат.

— Вот это и есть истинный рынок! И продукция ваша не залеживается, и прибыль есть, и сбыт налажен... А то, что вас при этом в капитализм записали, так это от лукавого или по дурости.

Вместе с Крюковым поехали мы в «Ниву», в тот самый очаг «капитализма», который стал притчей во языцех среди политэкономической братии. Директора не застали, сопровождала нас Балашева Нина Мартемьяновна, зам. главного агронома. Но разговор шел в основном с Крюковым.

Бывший колхоз «Нива» разделился на три части: на общество с ограниченной ответственностью (ООО), на товарищество обычного типа (ТО), на общество пчеловодов с названием странным «Пацелия», и еще из бывшего колхоза вышел один человек, взял свой пай земли и стал фермером. Более всего критикуют ООО за то, что там восемь семей имеют больше дивиденды от прибыли, чем остальные члены его, на том основании, что эти восемь семей вложили в общую казну не только принадлежащие им земельные паи, но и свои дома, кладовые, дворы, личный скот — ну все имущество свое. Поэтому их взнос превышает по стоимости остальные паи (оценка идет в рублях) и доход у них, естественно, выше, но в случае банкротства они теряют все: и землю, и дома, и прочее имущество. Взнос добровольный, то есть каждый может присоединиться к восьмерке, заложив свое движимое и недвижимое имущество. Но охотников больше нет, а кривотолки идут, будто бы эта восьмерка хочет прикарманить всю землю и стать ее единым владельцем.

— Почему же другие не присоединяются к этой восьмерке? — спрашиваю Крюкова.

— Боятся. А вдруг обанкротятся?

— Ну не станут же у них дома отбирать!

— Дома-то, может, не возьмут и в долговую яму не посадят... Но ведь страшно! А вдруг на улицу выгонят? Еще в памяти тридцатые годы. Вот и осторожничают. А вокруг этого подымают шум те, которые хотят восстановить колхозы в прежнем виде.

— Почему?

— А воровать легче. Сейчас не больно украдешь. А тогда было все общее и «все вокруг мое»!

— А прибыль-то хоть приличная получается?

— Да нет никакой прибыли. Зарплату все получают одинаково за выполненную работу. Пенсии получают. А прибыли пока нет и не предвидится.

— Так чего же кричат?

— Да это в основном посторонние кричат, те, которым были выгодны громадские колхозы. Растаскивать удобнее. А теперь все под надзором. Нехорошо! — И смеется.

— А кто в фермеры ушел? — спрашиваю Крюкова.

— А это у нас бывший главный зоотехник. Интересный мужик.

— Сколько же у него земли?

— Семь гектаров. Но — фермер. И ферму свою назвал «Ларс».

— Что за странное название? Или не русский?!

— Это он по имени дочери назвал. Дочь у него Лариса.

— А что, все фермеры у вас с таким наделом?

— Ну что вы! Есть и по двадцать, и по тридцать гектаров. Но в других селах — в Качанове, в Малеевке. А у нас больше нет.

— Как же он одну землю обрабатывает?

— Общество и вспашет ему, и засеет. Он человек авторитетный. Теперь на пенсии и занимается исключительно травосеянием.

— В этом году засуха была.

— У него хороший урожай — рано отсеялся. И семян много продал, и сена. А самому немного надо. Да и пенсия приличная.

— А как вообще-то у вас фермеры живут?

— Те, которые выделились в девяностом году, живут неплохо. Тогда кредиты были, техника дешево стоила, стройматериалы. Они успели создать производственные базы. А вот те, что вышли позднее девяносто первого года, этим туго приходится. Многие разорились.

— Что же изменилось по существу?

— Раньше колхозники не имели права выделяться из колхоза, чтобы самостоятельно жить и обрабатывать свой надел, теперь — пожалуйста. Путь свободен.

— Но никто, кроме зоотехника, не выходит!

— Выгоды нет, да и риск большой... Хлопотно, одним словом.

— А продать свой надел пайщик может?

— Нет. Земля не расхожий товар. Не продается.

— Так что же изменилось?

— Суть. Земля общая, но у каждого есть свой пай, и если есть прибыль в хозяйстве, то каждый получает свою долю, кроме заработка. Техника тоже принадлежит всем, и теперь за нее отвечает не только председатель, но и пайщик — это и его собственность. Юридически все равноправны, и земля обрабатывается сообща.

— То есть у вас не просто формальное объединение частников, у вас собственники объединились в производственной сфере. Все делается под контролем крестьянского общества. Как общество решит! Как говаривали в старину. Землю содержать в обществе легче, особенно в трудные времена. Ведь техника дорогая. Содержать ее каждому не под силу, а сообща легче.

— Именно! Например, учитель или фельдшер... Где ему, когда заниматься обработкой земли? А тут он в общем деле связан своим паем, капиталом, так сказать. И какую-то часть прибыли имеет от общего дела. Это справедливо, — сказал Крюков. — Если денег нет, то бишь прибыли, так дров привезут, огород вспашут, семена дадут. Да мало ли хлопот в хозяйстве! Помощь от общества — большое дело.

— С объединением земли и основных видов техники все становится на свое место, — заметила Балашева.

— Именно! — подхватил Крюков. — Инженерная служба требует профессионалов в деле. Однако земля должна работать не только на профессионалов-механизаторов, но и на пайщиков — и стариков, и учителей, и медиков. Все должны быть равноправными членами общества.

— Это форма истинного товарищества. Она напоминает давние эксперименты тех времен, когда крестьян не просто сгоняли в колхозы до кучи, как при Сталине, а каждый оставался совладельцем земли, инвентаря, техники, рабочего скота. И наравне все и за все отвечали. Это не союз фермеров, это наиболее мобильная модель не только управления, но и приспособляемости к тем условиям жизни, которые есть. Это улучшенный вариант крестьянской общины на вольных землях в стародавние времена.

— Не оказенить бы все это. Вот задача, — сказал Крюков.

На другой день попросил я Крюкова свозить меня в хозяйство, реформированное до гайдаровского финансового переворота, а потом к фермерам, которые взяли землю уже во времена бешеного роста цен, то есть обвальная приватизации и развала экономики. Крюков выбрал ТО «Теньшино».

— Это недалеко от нас. Да и председатель живет в райцентре, — сказал он.

И мы поехали. Село раскинулось на живописных холмах посреди необъятных поволжских просторов. Село прибрано, как говаривали в старину, то бишь дома хоть и недавней постройки, но не оголенные, а с дворовыми пристройками, в садах, с палисадниками, огороженными крашеным штакетником. Однако в конторе председателя Васильева не застали... Он сам нас нашел. Мы ездили по полям фермеров и любовались невысокой, но густой пшеницей. Несмотря на засушливое лето, пшеница была кустистой, как говорят мужики, и очень стойкой; ветерок погуливал по ней, шевеля упругие стебли...

Васильев нашел нас в поле, подъехал на «газике» и сразу пригласил к себе домой. Невысокий, плотный, с шапкой густых рыжеватого-пшеничных волос, он располагал к себе какой-то открытой сердечностью.

— А я вас хотел в райцентре перехватить. Ан замешкался. — Протянул руку, представился: — Юрий Евгеньевич.

Я назвал в свою очередь и спросил:

— Где будем беседовать?

— Сперва в конторе, потом по полям поездим, ко мне завернем, домой.

Мы вернулись в контору.

— Давно вы самостоятельно хозяйствуете? — спросил я его.

— Да уж пятый год. В девяностом году вышел из колхоза «Память Чкалова». Здоровенное хозяйство было. Около десяти тысяч гектаров одной пашни, да луга, да лес... А всего более четырнадцати тысяч га. Э-э, заблудиться можно было!

— Вы одни вышли?

— Нет. На четыре хозяйства разделились. Со мной ушло шестьдесят пять человек трудоспособных. Создали ТО «Теньшино». Так и называемся с той поры. Всех угодий выделили нам 3300 гектаров, из них пашни 2200 га. Ушло нас шестьдесят пять человек, а теперь у меня уже сто двадцать человек рабочих, то бишь колхозников... Я уж и не знаю, как их теперь называть. Все у нас пайщики. Равноправие, как говорится.

— Откуда же люди к вам пришли?

— Кто из города вернулся, кто из Казахстана приехал, молодежь подросла. Мы всех желающих принимаем. Только работай!

— Да, русский Бог велик. Не разбегаются?

— Силой не выгонишь. Заработки у нас хорошие, жильем обеспечены. Э-э! Сколько мы всего понастроили! Первым делом взяли кредит. Тогда еще, в девяностом году, деньги в цене были. Так мы поселок заново построили. Видели дома-то наши?

— Видал, — говорю.

— Хороши?

— Да, приглядны... И сады, палисадники... Хорошо!

— То-то и оно. Человек всегда чувствует выгоду. Мы же за те годы, кроме поселка, склады построили, мастерские, водопровод, четыре коровника, гараж, три зернохранилища, пилораму, свинарник, административное здание, дороги заасфальтировали. Памятник погибшим в войне соорудили. Вот что значит кредиты полноценные были. А теперь не деньги — вода.

— А вы кто по специальности? Что окончили?

— Сперва Ветошинский техникум, а потом институт окончил — в Горьком.

— Те кредиты, что взяли в девяностом году, погасили?

— Ну! Я уж и забыл про них. Мы в один год оборот наладили. Тогда другие цены были, другая экономика. Тогда деньги работали, а теперь... Тьфу! Да и только.

— С чем вы ушли из колхоза и что теперь имеете? Я говорю о технике...

— Взял с собой четыре малых трактора, два комбайна и мелочь из уборочной техники. А теперь у меня восемь комбайнов, девять тяжелых тракторов, пятнадцать «белорусов», четырнадцать грузовых автомобилей, легковушка, «газик» и автобус. Вот что значит успеть вовремя уйти и обернуться. Мы взяли кредит, а через полгода... Да за год расплатились... А теперь? В бумагу деньги превратились.

— А как вам удалось или пришло на ум так быстро обернуться с кредитом?

— Так ведь все было в продаже... И трактора, и автомобили, и прочая техника. И деньги в цене были. К тому же у меня была связь с облизполкомом. Да и местное начальство знал — и бывшего секретаря райкома Тарасова, и Нину Егоровну, она тогда была председателем райисполкома. И я им верил, и они мне верили: серьезное дело должно держаться и строиться на доверии. А главное — государство должно держать курс ясный и точный, а не метаться во все стороны, как собака, потерявшая след.

— Да... Это выразительно сказано, — похвалил я его и спросил: — Далеко от вас до фермеров?

— А вон за тот бугор заедете, там и стан их полевой. Увидите и самих, на обеде застанете. Да я вас провожу...

И в самом деле, за бугром, недалеко от большака, стояли три времянки, чуть дальше навесы для тракторов и прочей техники. У первой времянки остановились, Васильев пошел позвать фермеров, а я вошел в домик. На полу сидели три женщины, разбирали крупно порезанное свиное мясо, обволакивали его солью и складывали в трехлитровые банки.

— К засолу готовитесь? На зиму? — спросил я.

— Да нет, — ответили вразнобой, — это мы к рынку готовим. В Нижний отвозим.

— Берут мясо?

— Берут у нас... Мы дешевле государства продаем.

— А не в убыток себе?

— Ну что вы! Все оправдывается, окупается...

Пришли мужики — их трое и все родственники. Представились, поручкались — все чин-чинарем:

— Геннадий Сергеевич Сидоров.

— Александр Николаевич Васин.

— Владимир Шведов. — Отчества не назвал.

— Так вместе и работаете? — спрашиваю. — По договору?

— Мы родственники, — сказал Сидоров. — Я вроде за старшего, потому как агроном. Бывший. Я имею в виду должность.

— Не пожалел, что в рядовые пахари ушел?

— Мы не просто пахари, мы хозяева, — ответил с достоинством. — А это что-то значит.

— Сколько же у вас земли?

— На троих сто десять гектаров.

— Когда получили землю?

— В конце девяносто второго года.

— Технику успели купить?

— Нет. Начиная с девяносто второго — девяносто третьего года техника стала недоступной для рядового фермера, — ответил Сидоров. — Цены взвинтили там... — Указал пальцем в небо.

— А как же вы обходитесь?

— Арендуем.

— Технику арендуете?

— И технику, и землю. Своей наделной земли не хватает, чтобы выжить. Разоряются теперь фермеры. А нам повезло.

— Что значит повезло?

— Взяли в аренду тысячу гектаров.

— Вы, втроем?! И обрабатываете?

— Да, обрабатываем...

— А технику на какие шиши купили?

— И технику арендуем.

— У кого?

— Все у того же лица, у Стрельчука.

— Кто он? Откуда взялся?

— Частное лицо. Приехал к нам из Бессарабии в восемьдесят девятом году, когда у них там заварушка была. А это поле, что мы теперь обрабатываем, было на отлете, далеко от колхозов, и от наших, русских, и от татарского колхоза. Никто его не хотел обрабатывать, ни русские, ни татары. Мол, невыгодно, на одном бензине прогоришь... Его и сдали в аренду этому Стрельчуку. А он мужик оборотистый, взял кредиты в девяностом году и накупил много техники: и тракторов, и комбайнов, и грузовиков, и всякой всячины. Тогда же все дешево было... И стал сдавать в аренду технику вместе с землей. Вот в девяносто втором году мы и взяли в аренду всю его технику и землю. С той поры и обрабатываем и его землю, и свою.

— Внакладе не остаетесь?

— Нет, конечно...

— А где же этот самый Стрельчук?

— Он жил несколько лет в городе. А теперь вот построил тут дом и переехал. Контракт у нас с ним отлажен и действует. И нам прибыльно, и ему тем более.

Говорил со мной главным образом Геннадий Сидоров, у него опыт; он и всему делу голова, чувствуется.

Кроме земельных хлопот, у них еще и промысловые дела: они имеют кроличью ферму на тысячу голов, свиноферму... Обе фермы планируют на зиму сильно расширить: кроликов довести до пяти тысяч голов, построить дубильню и пошивочный цех меховых изделий (оборудование уже закуплено). А свиноферму сделать племенной — одних свиноматок увеличить до сорока голов...

Ах, какой деловой этот парень — Геннадий Сергеевич Сидоров! Ему всего «тлидцать тли года» — как шутят в известном анекдоте, а он уже высоко парит, как матерый орел. Да, этот парень далеко пойдет... И на земле стоит крепко — любит ее и чувствует ее всеми фибрами души. Хотелось сказать ему что-то приятное.

— А я видел ваши озимые, — говорю, — густые, колос весомый. У вас будто и засухи не было!

— Так я же агроном. Надо уметь обрабатывать почву.

— Удобрений много вносите?

— Минеральных удобрений на наших полях не было и нет. Только органика, а главное — своевременная обработка полей. У нас экологически чистое зерно.

— Сколько возьмете с гектара?

— Центнеров двадцать семь.

— Чудеса! — говорю.

— Нет, это норма. Если бы не засуха, сняли бы больше.

И после паузы с каким-то трогательным откровением произнес:

— Сегодня рано я встал... Думаю, пока проснутся остальные, дай-ка съезжу, на озимые погляжу. Завел машину, объехал на восходе солнышка все наши поля. Какая радость! Так все и распирает в тебе... — И, помолчав, веско произнес: — Истинный крестьянин — это не профессия, это образ жизни.

Уезжая от фермеров, я все думал: что за странная жизнь у нас? Ведь это же надо! Тысячу гектаров земли одним росчерком пера — и никаких гвоздей. И когда это было? Еще в пору горбачевской перестройки! Я спрашивал потом губернатора Немцова: «Знаете ли вы про эту тысячу гектаров?» «Нет, — говорит, — впервые слышу. Хотя у этих ребят-фермеров бывал. Но мне никто ничего про это не говорил... При моем губернаторстве такого не было».

Да, брат, тут мы имеем дело не с продуманным расчетливым капитализмом — здесь обыкновенное советское головотяпство. Ведь все это случилось еще тогда, при советской власти. А при истинном капитализме (не нашем, конечно) все на учете и под контролем.

Помню, в конце восьмидесятых годов мы с покойным ныне Кондратьевым были на семинаре в Амстердамском университете. Один из студентов филологического факультета попросил у меня автограф и протянул мне книгу моей публицистики «Запах мяты и хлеб насущный». Я удивился:

— Зачем вам, филологу, эта книга о нашем деревенском делопутстве? Давайте я поставлю вам автограф на своем романе или на сборнике повестей.

А он мне в ответ:

— Я готовлюсь стать фермером, у отца перенять в наследство землю. И мне надо знать все, что связано с земледелием, в том числе и у вас.

— Так поступили бы в сельскохозяйственный колледж.

— Нет, нельзя. Если я не окончу университета, то не имею права на наследство земли от отца. Чтобы стать наследником фермы, надо обязательно университет окончить, а потом уж любой колледж.

Вот как в разумных странах ценят своих земледельцев и серьезно готовят их к этому поприщу. А у нас на словах одно, а на деле другое. Один из руководителей соседнего Воротынского района, где нет хозяйств, подобных «Ниве», есть только колхозы, совхозы и фермеры, говорил раздраженно и резко:

— О реформе болтаем... Но ведь каждая реформа, особенно земельная, требует больших вложений капитала. Только тогда и заработает земля и вернет все затраты с лихвой. А у нас что? Дают кредиты, но только из областного бюджета всего по пятьдесят тысяч рублей на гектар и то сроком на полгода. Это ж курам на смех. По-старому — десятку на гектар. А за границей ежегодно оседают больше десяти миллиардов наших долларов. Там они и работают. А мы еле-еле концы с концами сводим. Простите за грубое выражение: у нас просто крыша поехала. Ведь кавардак идет повсюду. И не только земельный вопрос колом в горле стал.

Вздыхнул и добавил:

— Но начинать добрые разумные дела надо с земли. Тут основа основ и самая быстрая и надежная отдача. Все от земли.



Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ

Очень приличный человек

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ОДНОМ ПИСАТЕЛЕ И ЕГО ЖИЗНИ, ВОЗНИКШИЕ ПРИ ПЕРЕЧИТЫВАНИИ ЕГО КНИГ И ВОСПОМИНАНИЙ О НЕМ В ПРЕДДВЕРИИ ЕГО СТОЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ¹.

...Начнем с многоточия. Так будет правильнее. Ведь перед нами не начало. Потому что кто знает, что считать началом, особенно когда пишешь о жизни человека? Начинается ли твоя жизнь с рождения? Или она берет исток с рождения твоих родителей? Тогда почему же — родителей, а не бабушек, дедушек и пра-пра-пра-всех, кто пришел в этот мир раньше тебя? И еще. Если родственники причиной тому, что когда-то человек появился на свет, то уж к течению его жизни причастны самые разные люди. Трудно разобраться. Вот и поставим многоточие — так вернее.

Рыцарь и сочинитель

Один недалекий доброхот, ничего не понимающий ни в литературе, ни в людях, высокопарно назвал свои мемуары о Шварце «Ланцелот». Большую глупость и представить трудно — в шварцевских ли руках, пораженных издавна тремором, тяжелой болезнью, когда руки дрожат, в этих ли руках держать нелегкий меч?²

Сам Шварц, не думая, что к чему, давным-давно все объяснил в шуточных стихах, написанных словно о другом, а на самом деле о том же.

Шел по дорожке
Хорошенький щенок,
Нес в правой ножке
Песочный пирожок

Своей невесте,
Возлюбленной своей,
Чтоб с нею вместе
Сожрать его скорей.

Вдруг выползает
Наган Наганыч Гад
И прикажет
Ступать ему назад.

¹ Бьюсь об заклад, прочитав такой подзаголовок, вы ни за что не догадаетесь, о каком писателе пойдет речь. Впрочем, и не важно. И сноска сделана не для того, чтобы пригласить кого-нибудь поспорить.

Я хотел бы объяснить некоторые частности. Например, я считаю, что в этой статье примечания и отступления чуть ли не важнее основного текста. Они приоткрывают скрытое за контурами судьбы. А сама судьба от того выглядит вдруг иначе.

² И тут следует очередное уточнение. Дрожь в руках Евгения Львовича стала легендарной. Не то чтобы ее не было, нет, она существовала, и очень сильная, да вот объясняют ее происхождение по-разному. Н. Чуковский говорит: «Руки стали дрожать после трагического разрыва Шварца с первой женой».

А одна околосредствознательная дама, писательская жена, и вовсе приводит версию многозначительную. Она вспоминает, как под каким-то замысловатым предлогом попала на известный ждановский доклад 1946 года в Ленинградский Союз писателей, и больше всего ей запомнились дрожащие руки сидящего поблизости Евгения Львовича Шварца. Чем не апокалиптическая картинка с натуры?

На самом деле все проще и обыкновенней. Болезнь пришла и до разрыва с женой, и уже задолго до появления знаменитого постановления. Впрочем, современникам свойственно ошибаться, выдумывать невесть чего, тут они под стать своим потомкам.

И отбирает
Подарок дорогой,
И ударяет
Счастливчика ногой.

Нет, невозможен
Такой худой конец.
Выну из ножен
Я меч-кладенец!

Раз! И умирает
Наган Наганыч Гад,
А щенок визжает:
«Спасибо, очень рад!»

И вовсе Шварц не выступает в роли рыцаря, борющегося за справедливость, хотя о справедливости и радеет. Он даже и не волшебник, который изображен, например, в «Обыкновенном чуде», последней пьесе-сказке, написанной Шварцем и посвященной жене. Скорее он похож на автора из той же пьесы-сказки, на автора, вольного сделать как ему захочется. Однако вот незадача. Что там автор! Даже у волшебника ничего не получается.

Тут заключен не самый странный шварцевский парадокс, есть еще более странные. Да, сказки живут сами по себе, они, едва выскользнув из-под пера создателя, уходят куда глаза глядят, сказочные герои поступают как им заблагорассудится. За ними не уследить. Не уследить хотя бы потому, что главный порок зрения — не близорукость и не дальновзоркость. Видеть жизнь одновременно в двух планах, видеть и сказочное, и обыденное и различать одно в другом — сложная задача, не каждому она по плечу. Хотя может показаться, что Шварцу пришлось легче других, ведь его сказки не совсем новые, что ли, или не совсем его. Право, не знаешь, как выразиться. Нет, он не рассказывал сказки с чужого голоса, а брал известные сюжеты и перекладывал их по-своему.

Как создаются сказки

Выдумать что-нибудь новое невозможно. Иногда кажется, будто выдумываешь свое, а посмотрел — это лишь очередная вариация общеизвестного. И тот, кто сочиняет, чаще пользуется уже готовым, берет народную сказку и перекраивает сюжет, подправляет реплики, меняет судьбы героев. Получается и то, и не то.

Будто бы предчувствуя всякие выпадения, Шварц заранее говорит что к чему. Пьесе «Тень» он снабжает эпиграфами из Андерсена, из сказки с тем же названием и из андерсеновской автобиографии. Но ведь, сколько ни прикидывай, на одну сказку двух эпиграфов многовато. Тем более уже не находилось дураков, которые бы считали, что пересказывать чужие сказки — значит заниматься плагиатом. Однако находились другие, может быть, еще большие дураки, утверждавшие, будто рассказывать сказки — вообще преступление. И разоблачали Чуковского, гонялись за Маршаком. Шварцу повезло: он вошел по-настоящему в литературу и стал складывать сказки чуть позднее, когда это не было слишком предосудительным. Но и в его драматургии слышатся отголоски этой давней облавы. В пьесе «Тень» девушка Аннунциата предупреждает Ученого: «Не всем нравятся сказки». И потом добавляет: «...взрослые — осторожный народ. Они прекрасно знают, что многие сказки кончаются печально».

Раз уж зашел разговор о том, из чего создаются сказки, почему бы не взглянуть, какой материал идет на них. Говорят, автор строит произведение, черпая из себя. И все же одно дело — утверждать, а совершенно другое — делать. И не только на Дракона тратит часть своей души и своего человеческого опыта сочинитель. Помните, Бургомистр в той же пьесе торопит: «Довольно этой канцелярщины, Генрих. Напишите там: «Брак считается совершившимся», — и давайте кушать. Ужасно кушать хочется». А ведь когда-то давным-давно Евгений Шварц спрашивал в письме своего друга Михаила Слонимского: «Когда свадьба? Я очень люблю быть шафером, а потом ужинать». Потом была свадьба, он был шафером, и в загсе царила канцелярская тягомотина и казенщина, об этом вспоминал через десятилетия Слонимский.

Вот так, не раздумывая, отдает сказочник свои чувства, а может быть, и мысли герою. Впрочем, он верно понимал: в нас живет не только наше собственное. Доброта бы ничего не стоила, если бы не уравновешивалась дурными чертами. Вишневое варенье еще не совсем варенье, если в нем не плавают несколько рыжих жужжащих ос. Без них самое сладкое варенье недействительно, как документ без подписи и печати.

Но вернемся в сказку и зададимся новыми вопросами. Что в каждом из нас живет Дракон — пошлость, которую кто только не повторял, желая показаться умником и демократом. А понравится ли утверждение, что в нас живут и Бургомистр, и Генрих?

И, думаю, мало развеселит мысль, что в каждом есть и Ланцелот. Есть, в том и сомневаться бессмысленно, а лучше ли, легче ли от того? Потому-то бывает в нашей душе борьба. Ланцелот сражается против Дракона. И против Бургомистра. И против Генриха, в свою очередь, то бишь против разных сторон человеческой природы. И непонятно, кто в конце концов победит, и редко случается, чтоб кто-нибудь победил окончательно.

Нет. Прервемся. Я увлекся и ничего еще не сказал о самом сказочнике, да и во времени шагнул чересчур далеко, словно в семимильных волшебных сапогах.

Пока же мы еще в начале жизненного пути нашего героя и он еще не Евгений Львович, а просто Женя Шварц, актер, приехавший из провинциального Ростова в державный, но становящийся провинциальным город Петроград, бывшую столицу бывшей Российской Империи.

Каким актером был Шварц, неизвестно, из воспоминателей о том мало кто рассказывает, ведь на сцене они его не видели или видели мельком. Известно лишь, что театрик, с которым он прибыл, скоро распался, каждый пошел собственной дорогой. Пошел своим — не слишком простым — путем и Шварц.

Он уже перезнакомился со многими писателями, был вхож во многие литературные объединения, довольно сказать, что его пускали на сарапионовские заседания — честь, оказываемая не всякому. А может быть, стоит проникнуть на несколько минут в Дом искусств, посмотреть, как это было?

Ведь не только сочиняли и обсуждали написанное. Молодость, талант кружили голову без вина. Смеялись, играли «в слова». Играли в «кинематограф». Кому бы пришло на ум, что кинематограф вскоре станет искусством? В фильмах видели только глупые сюжеты, неестественные позы, нелепые жесты. Актеры закатывали глаза, заламывали руки, изображая пылание страстей.

Один из участников (чаще всего Евгений Шварц, молодой, худой, еще не драматург, а всего лишь секретарь К. Чуковского) комментировал происходящее убийственно смешными репликами. Чем не идилия?

Дракон и другие

Тем не менее до идилии было далеко, по крайней мере для Шварца. Он слишком долго молчал и прикидывал, перед тем как сделать выбор. Все давно стали теми, кем стали, а он еще не был Евгением Львовичем, как пишут в выходных данных толстых книжек, только милым Женей, веселым, общительным, талантливым.

Он выпускал тоненькие детские книжки, написанные превосходным звонким рашеником, строчки из которых хочется повторять и повторять: «Слушайте, слушайте, дети, какой был случай на свете.

Заспорили как-то два брата, черные арапчата, Ахмет и Омир, кто скорей обежит весь мир. Пospорили, повздorили — и пошли наперегонки через горы и пески».

И опять-таки, как в раннем кинематографе или в авантюрном романе, меняется способ передвижения, мелькают в лихой сказочной погоне пароходы, паровозы, мотоциклы и даже дирижабль. Но все же это лишь проба. Шварц учился, подбирал сюжеты, пробовал голос. И признавался: «Я терпеть не могу свои детские стихи (кроме «Балалайки»»).

Кажется, что пьесы, прославившие имя Шварца, написаны молодым человеком. А между тем до того, как созданы «Тень», «Дракон» и «Обыкновенное чудо», Евгений Львович работал в литературе не первое десятилетие. Да кто на это обратит внимание? Не дети же, которые с восторгом читали и шварцевские стихотворные сказки, и сказки в прозе, и занимательные книги по географии, смотрели в ТЮЗе «Снежную королеву», «Два клена», «Ундервуд», а на экранах кинотеатров «Золушку», «Разбудите Леночку», «Первоклассницу».

Разумеется, дети — благодарные зрители и читатели. Лишь благодарность у них особенная. В силу своего понимания они возвращают сказки туда, откуда те и появились, — в безыменность, в фольклор. Писателей они воспринимают с восторгом, но помимо книг. Чуковский, Михалков или Хармс — это одно. А сказки и стихи, сочиненные ими, — совсем иное. Существуют по отдельности.

Если так ведут себя дети, то что же спрашивать со взрослых. Взрослые чего и увидят, так не поймут, а поймут, так наоборот. И где разобраться? «Тень» была поставлена в предвоенный год, и война все вымела из памяти. Постановка «Обыкновенного чуда» пришла на самый конец шварцевской жизни. А «Дракон» был и вовсе запрещен после первого представления.

Взрослые не знают что к чему еще и по той причине, что нам известен упрощенный вариант пьесы: первая редакция «Дракона» так и не напечатана, тем более не поставлена. Впрочем, и с упрощенной редакцией, лишенной актуальности и выпадов на вечную злобу дня, до сих пор не разобрались.

Так ли плох душа Дракон? Он или догадывается о чем-то важном, или, напротив, не догадывается, привыкнув судить о прочих, как о себе самом. И вправду он бы-

вает попросту, без чинов. Он даже демократичен настолько, насколько может быть демократичным в империи, где царит особого рода демократия: ты равен тем, кто стоит с тобой в одной шеренге.

Первый постановщик пьесы Николай Павлович Акимов, который по остроте ума и душевной резкости понимал и совершал не дозволенное другим, занимался опасным делом — он рисовал на кусочках бумаги маленького дракончика в фуражке, и — по пади рисунки в чужие руки — каждый мог бы легко догадаться, в кого он метит, фуражка была явно не иностранного образца.

Но для Шварца это и слишком обыкновенно, и слишком рискованно. У него Дракон и есть — дракон. Сказка равна сказке, миф равен мифу, и сильно ошибается тот, кто хочет сделать из сказки или из мифа аллерию. Точнее, сделать-то можно, но чрезвычайно много лишнего будет в остатке.

Это не просто представить после того, как силами постсоветского кинематографа из пьесы смастерили плоскую шутку и Бургомистр в фильме похож на очередного генсека. За скобками оставляют очевидное: будь очередной генсек хоть чуточку похож на Бургомистра, на кинотеатрах повесили бы плакат, начертанный огромными буквами: «Кина не будет!»

Желающих представить Шварца только сатириком, человеком, прятавшим фигу в кармане, и даже сокрушителем режима, как писал тот же недалекий доброхот в очередной статье с одиозным названием «Шварц и сопротивление», хватало. Но это или полуправда, или полная ложь¹.

Нет, Акимов был острым художником, неплохим режиссером и прямойлинейным мыслителем. «Дай лапку!» — просит Дракон Эльзу. Будто бы он судит по своему разумению. Но и Кот, рассказывая об Эльзе, говорит, что у нее такие мягкие лапки.

В чем же дело? А в том, что в каждом можно разглядеть Дракона. Тех, кто не верит, адресую к старому честертоновскому роману, по всей вероятности, Евгению Львовичу известному: «Оказалось, перед ним отступают два черных дракона: пятятся, злобно поглядывая на него. Мало ли что глаза эти были вовсе лишь пуговицами на хлястиках: может, их заведомая пуговичная бессмыслица и отсвечивала теперь полоумной драконьей злобщей? [...] Так ему, коротышке, на миг привиделось и навеки отпечаталось в его душе. Отныне и навсегда мужчины в сюртуках стали для него драконами задом наперед».

Вот и мы скатились до пошлости, повторяем общеизвестное. Но как странно вырывается из привычных повествовательных схем шварцевская сказка. Есть Дракон — значит, должен быть и его победитель. Вот он, Ланцелот. Его снаряжают на бой, дают медный тазик вместо шлема. Кажется, Бургомистр с подручными сделали бы из этого профессионального героя нового Дон Кихота, да он сам не хочет. Ему помогают всякими волшебными вещами и приспособлениями: дарят ковер-самолет, шапку-невидимку, копьё и меч, особенный музыкальный инструмент, чтобы подыгрывать ему во время боя. А пошляк Ланцелот хвалится, что убьет Дракона, и вместо благодарности отвечает словечком: «Прелестно».

И вот что следует отметить. В романе «Трудно быть богом» братья Стругацкие излагают некую схему общественного развития, когда в конце концов торжествует фашизм. На смену серым, рыхлым лавочникам приходят люди в черном, так место СА после «ночи длинных ножей» в Германии заняло СС. Но это, так сказать, перемена окраски, эффектный романский ход. Шварц и видит дальше, и говорит о мире точнее. Когда Дракон побежден, к власти приходят не лавочники, но люди и внешне, и внутренне серые. Драконовской непосредственности (да простится мне каламбур) приходит конец. А царит посредственность.

Этот мир — бюрократический мир, хотя и сказочный, хотя в нем иногда и встречаются отдельные, нетипичные чудеса, однако даже книга, куда записываются прегрешения, совершенные в этом мире, называется «жалобная книга». И даже знакомые

¹ А причины для такой упрощенной версии есть. Вспомним хотя бы Хозяина из последней сказки Шварца «Обыкновенное чудо». Что за волшебник такой живет в Карпатских горах, а мог бы ведь пребывать без уточнений, в пределах сказки? К тому же бессмертен, а жены его смертны? И занятия у него любопытные: захотел и превратил администратора в крысу, короля — в сороку. Хорошее дело? Плохое? Странное. Как вам такое: «Раз! Вот вам гирлянды из живых цветов! Два! Вот вам гирлянды из живых котят! Не сердись, жена! Видишь: они тоже радуются и играют. Котенок ангорский, котенок сиамский и котенок сибирский, а куврыкаются, как родные братья, по случаю праздника! Славно!»

И что любопытно, не все получается у этого Хозяина. А он затейник: «Не могу не затевать, дорогая моя, милая моя. Мне захотелось поговорить с тобой о любви. Но я волшебник. И я взял и собрал людей и перетасовал их, и все они стали жить так, чтобы ты смеялась и плакала. Вот как я тебя люблю. Одни, правда, работали лучше, другие хуже, но я уж успел привыкнуть к ним. Не зачеркивать же! Не слова — люди». Хорошо, что не получилось, должен был выйти из человека медведь, а вышел из Медведя человек. При желании такой сюжет можно истолковать ой как бойко.

слова, обращенные к Эльзе, «дай лапку!» в устах Бургомистра звучат пошло, ведь он всего лишь талантливый пошляк, хотя быть пошляком с полной самоотдачей — особый талант.

Странный мир

Чтобы разглядеть что к чему, возьмем наглядный пример. Возьмем пьесу-сказку «Гольый король». Пьесы вообще удобны для рассматривания — минимум комментариев автора, сведенных в ремарки, а происходящее явлено через реплики персонажей, длинные описания не отвлекают.

Тем более «Гольый король» не лучшее произведение Шварца. Пусть и эта сказка хороша, все-таки в ней не всегда сходятся концы с концами, мотивы, заимствованные из андерсеновских сказок, сведены почти механически, швы и скрепки остались на поверхности.

Удобна эта пьеса и потому, что можно сначала перечитать сказки, использованные драматургом, — «Новый наряд короля», «Свинопас» и «Принцесса на горошине», и даже по переводам, которыми пользовался Шварц. Перечитать и удивиться. Кажется бы, те же мотивы, похожие герои, а шварцевская сказка совсем другая, и характеры его героев развиваются по-другому.

И вообще, где находится эта сказочная страна? Для андерсеновских героев такой вопрос совершенно излишен. Она, как в любой сказке, находится «где-то» и «когда-то» — удаленная во времени и пространстве. Но у Шварца иначе. Это страна, король которой провозгласил, что подданная ему нация — самая высшая в мире. Страна, где пошла мода сжигать книги, и сожгли уже столько, что стало нечего жечь, жгут солому.

Что ломать голову? Это же гитлеровская Германия. За подтверждением стоит лишь взглянуть в конец пьесы, где проставлена дата — 1934 год. Да, но в этом году Гитлер едва-едва пришел к власти. И не одно фашистское государство можно разглядеть сквозь гротескные черты. Это еще и Россия. Те же имперские амбиции, та же «избранность», те же милитаризованные дворцовые фрейлины и женоподобные гвардейцы. Впрочем, последние более походят на германских штурмовиков.

Однако что это значит? А это значит, что из заимствованных сказочных мотивов, переплетя их, соединив и слегка перелицевав, автор построил свой собственный, доселе не существовавший мир, мир, в котором царят самые странные законы, нет, вовсе не сказочные, а гротескные.

Если брать по отдельности персонажей пьесы, тут нечему особенно удивляться. Пусть иностранная гувернантка говорит: «Платки имеют быть лежать себя в чемодане, готентотенпотентатертантеатентер», так она и есть иностранная гувернантка. Как ей еще разговаривать? Или смелый, слегка дураковатый мэр городка. Его и не подкупишь, его и не проведешь, а когда растрогался, то заорал во все горло: «Ой, бегите скорей!», — желая помочь героям пьесы Генриху и Генриетте, и разбудил их задремавших врагов. Но ему вроде бы тоже положено так себя вести. А уж волибному котелку, напевающему песенку, наигрывающему разные танцы и угадывающему, у кого что готовится на кухне, законы и вовсе не писаны.

А сейчас появится и великий диктатор, один из управителей этого мира. Он в пьесе никак не назван, но узнаваем, потому что такой тип един для разных пространств и разных диктатур — любит только себя, только о своих заботах думает, и голова напичкана пустяками.

Так они и живут в общем мире, со своими привычками, привязанностями и характерами — монархи и подданные, смелые и трусливые, глупые и умные. Разные.

Вот как сочетаются разные разности. Свинопас Генрих дает своей невесте, принцессе Генриетте, бумажку, где записаны всякие ругательства и непристойности. Стоит произнести их вслух, и невесту вежливо попросят из чужого королевства. Тем более что и с происхождением ее не совсем ясно. Вдруг она семитка или хамитка? Тут-то живут арийцы, как утверждают при дворе.

А еще невеста проспала на двадцати четырех перинах и не почувствовала подсунутой горошины (конечно, это уловка со стороны влюбленного Генриха, это он под-

¹ Иностранное ее происхождение, впрочем, чуть странноватое. Вот она, знакомясь, протягивает руку и произносит единственное слово: «Und». Смешно? Еще бы, особенно если знаешь, откуда это заимствовано.

А дело обстояло так. В Петроград приехал писатель Мартин Андерсен-Нексе. Время — все те же двадцатые годы. И на встречу с ним послали не столько маститых, сколько молодых серапионов. Люди они были более-менее образованные. Стали разговаривать с гостем по-немецки. Этим языком хорошо владел Федин, неплохо — Лунц. Кто-то выдал лишь несколько немецких фраз, но выдал же. Тут подошел к иностранцу Вс. Иванов, протянул руку и сказал это самое одно-единственное известное ему из иностранного языка слово. Впрочем, это тоже так, к слову пришло.

говорил Генриетту скрыть правду, сказать, что она не почувствовала горошину, подложенную под перины. А настоящая принцесса обязательно бы почувствовала неудобство, так она должна быть изнежена и разбалована).

Итак, каких уловок не выдумал влюбленный свинопас Генрих со своим другом, свинопасом Христианом! Лишь бы король не женился на Генриетте, а отправил ее обратно домой. И все же странно: король при появлении принцессы будто позабыл свое самодурство, ведет себя загадочно. Он словно загипнотизирован. Лицо его растеряно, говорит он глухо, смотрит в упор и как не видит.

Он откашливается и начинает читать заранее составленное придворным поэтом приветствие, а принцесса отвечает: «Заткнись, дырявый мешок». Между тем король продолжает: «Я счастлив...»

Пусть стреляют пушки и раздается «ура», многие видят — что-то идет неправильно. Первая фрейлина обращается к королю: «Ваше величество! Разрешите ущипнуть дерзкую?» Первый министр предлагает позвать доктора. Что же король? Он ничего не слышал: «...Я только видел! Я влюбился! Она чудная! Женюсь! Сейчас же женюсь! Как вы смеете удивленно смотреть? Да мне наплевать на ее происхождение! Я все законы перемену — она хорошенькая! Нет! Запиши! Я жалую ей немедленно самое благородное происхождение, самое чистокровное! — И ревет: — Я женюсь, хотя бы весь свет был против меня!»

Чисто цирковая клоунада, когда говорящие не понимают друг друга, и могла бы остаться лишь клоунадой. Но по законам избранного жанра происходит преображение. Психологически это оправдывается тем, что король-самодур влюбился. Концы с концами сошлись. А повествование переходит на более высокий уровень. Теперь это не клоуновое антре, не сказка, а гротеск¹.

Гротеск многосмыслен и может включать в себя переключки с действительностью, которую не собираются высмеивать или представить в дурном свете. Герои «Голого короля» похожи на маски комедии дель арте — и король, и честный и прямой старик первый министр, и гувернантка, и мэр городка. Да, это комедия масок, но современно озвученная. Между тем, какими представляются герои, и тем, каковы они на самом деле, существуют зазор, несоответствие. В чем-то это похоже на «Принцессу Турандот», поставленную Евгением Вахтанговым. Притом у Шварца не было необходимости ни пародировать вахтанговский спектакль, ни отсылать к нему зрителей. Так получилось.

И еще одно соображение о несовпадении героев и того, чем они хотят быть. В конце жизни, разрабатывая и переиначивая придуманную им давным-давно теорию остранения, Виктор Борисович Шкловский размышлял о «человеке не на своем месте», утверждая, что герой в искусстве, чтобы стать таковым, всегда должен находиться не на своем месте.

Ни о чем таком Шварц не знал да и не пытался размышлять. Он писал пьесу-сказку, однако пьеса-сказка предвосхитила и размышления Шкловского. Вспомните замечательную ткань, которую якобы ткут Генрих и Христиан. Ткань эта имеет особые свойства: ее не увидит тот, кто глуп, или тот, кто занимает не свое место. И все придворные, начиная, а может быть, кончая самим королем, перекладывают обязанность посмотреть работу ткачей друг на друга. И бормочут себе под нос: «Если этот дурак увидит ткань, то я и подавно...»

Они боятся, они считают, что не на своем месте находятся все. Однако стоит вдуматься: кто бы еще мог сидеть на троне вместо глупого и сумасбродного короля? Никто. Только он сам. И кто бы мог находиться на месте первого министра? Или министра нежных чувств? Или даже придворного поэта, слагающего стихи с большим опозданием, когда в далеком прошлом остается событие, к которому приурочено шинельное сочинение, но не забывающего попросить то корову², то дачный домик. Нет, они на своих местах. Их некому заменить. И странно звучит теория остранения, приложенная к шварцевской сказке.

Перед зрителями и читателями особый мир. Здесь можно увидеть то, чего нет, и не замечать того, что есть. Можно заставить прыгать министра нежных чувств,

¹ Мне могут возразить: сначала говорил о мире бюрократическом, а теперь о гротескном. И я подтверждаю. Верно, это одно и то же, по крайней мере в творчестве Шварца. Любопытно, насколько Шварц оказался прав. Взгляните через плечо в недавнее прошлое, если не хотите глядеть вокруг, и вы увидите. Вопрос же, сколь осмысленно и нарочно сочинялось, что сочинялось, оставим специалистам по психологии творчества.

² Кстати, корова возникла совсем неспроста, а по какому-то детски причудливому умению Евгения Львовича шутить. Можете верить, можете не верить, а уж проверяйте, сколько хотите: он пишет пусть и не о придворном поэте, но излагает действительную историю. В давние двадцатые годы держал в Петрограде для пользы здоровья такую корову поэт Федор Сологуб. Он даже посылал Горькому прошения, чтобы тот, как близкий реальной власти человек, помог с кормами для этой самой коровы. И Горький сочинял необходимые к случаю ходатайства. Годы идут, а Шварц ничего не позабывает, хотя пересказывает действительно бывшее, как заблагорассудится.

утверждая, будто он наступил на замечательную ткань, которую по несовершенству собственного зрения не увидел. И, скрывшись за той же несуществующей, но как бы и существующей тканью, назвать первого министра дураком.

Мир этот строится по заданному принципу, пространство приобретает особые свойства, пустота вдруг становится материальным предметом, она и неосязаема, и непрозрачна, и вообще она уже не пустота. Все и ничего меняются местами, живут по своим законам.

И притом мир этот хрупок, причудлив и уязвим. Достаточно маленького мальчика, чтобы разрушить его. И ведь насколько умен и прозорлив Шварц! Да, ребенок не может находиться не на своем месте. Ведь он только ребенок, а не служащий. Но нет никакой заслуги в том, что он заявил: король голый. Первый министр и король-отец видели, как обстоит дело. Видели и шептали себе под нос, не заявляя о том вслух. И вдруг нашелся ребенок, повторивший то, о чем шептались. Что он, гениальный мальчик? Шести лет знает таблицу умножения? Экий гений! В сказках и не такое бывает, а уж в жизни и подавно.

Мальчишка по глупости закричал, что взрослые тоже глупы. И рассыпались перегородки, сломались преграды, в прах распались необыкновенные ткани. Остались голизна короля и выморочное пространство, видимое насквозь. И все одиноки как перст. Гротеск сложен. В этот мир детям до шестнадцати лет вход запрещен, они не поймут, что к чему¹.

Любовь недалекой принцессы и самоуверенного свинопаса Генриха вряд ли так ценна, что ради нее стоило разрушать такой замечательный мир. Лучше было бы жить, как жили прежде. Влюбленные боролись бы за любовь, придворные выкручивались, а король, пусть не голый, но в дезабилье и ночной короне, смотрел бы свои сны. Он спал и видел нимфу необычайно чистой породы и крови, с которой он сначала разбил соседей, а потом был счастлив. Лучше гротеск, чем голая повседневность. Лучше причудливость снов, чем возвращаться в пустоту обыденщины².

Многоликое время

Шварц-драматург и Шварц-прозаик в меру сил созидал необыкновенную реальность. Для чего? Для того, чтобы она была похожа на ту реальность, которая находится за окном. А жизнь, пусть и не была сказочной, походила на сказку. Отчасти потому, что сказку пытались сделать былью. Отчасти потому, что сказка былью становилась. И так было. Вокруг лежала единственная в мире страна. Хочешь или нет, сказки Шварца рождали самые странные ассоциации.

Евгению Львовичу приходилось объясняться. Объясняться и в годы суровые, и в годы помягче — для того чтобы правду приняли за сказку, а сказку не принимали за правду. И все же не мог уняться: выдумывал, шутил, хотя шутки были куда как опасные. Война с Драконом идет целых шесть минут, а ей и конца не видно. Да еще цены на молоко поднялись, говорят одни. Чего уж там, возражают другие: «По дороге сюда мы увидели зрелище, леденящее душу. Сахар и сливочное масло, бледные как смерть, неслись из магазинов на склады. Ужасно нервные продукты. Как услышат шум боя — так и прчутся».

Королю в этом мире дают звание «почетный святой, почетный великомученик, почетный папа римский нашего королевства», людоед Цезарь Борджиа, работающий заодно оценщиком в городском ломбарде и журналистом, делится опытом: легче всего съест человека, когда тот болен или находится в отпуске, тогда он не знает, кто его съел, и с ним можно сохранить отличные отношения. Апофеозом становится замечательная формулировка: «Все тихо. Народ ликует».

Уже говорилось, как строится этот мир, и говорилось, из чего он строится — из реалити мира подлинного. Но также он строится из кусочков мира литературного,

¹ Евгений Львович в литературе, может быть, и смелее, чем в жизни, и идет дальше как писатель, чем как человек. Строя земное гротескное царство, он поднимает руку, чтобы, нет, не ударить, а написать то, чего бы никогда не сказал Шварц-человек.

Ведь он переделывает сказку Андерсена — христианского сочинителя. А тот-то хотел написать о простоте, о чистоте человеческой: «...истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное...» Евгений Львович не просто переделывает, он пародирует один из важнейших религиозных тезисов. И тем не менее не боится.

Тут надо напомнить, чтобы усвоить навсегда: шварцевский мир — это мир взрослых или взрослеющих, как в «Снежной королеве». Здесь всего добиваются путем испытаний (и не обязательно сказочных, порою просто житейских) и приобретают качества, достойные человека, а не ребенка (пусть и в сказках, сочиненных Евгением Львовичем для детей).

² Было ли это основополагающим для Шварца? Или это прямо сейчас досочинилось, переставилось так, а не иначе? Если и переставилось, значит, может быть и другое «так, а не иначе». И от него, от множества их зависит нынешнее «так», сегодняшнее «не иначе», твердость, всякий раз возникающая вновь.

например, гувернантка в «Голом короле» — это немка из чеховского «Вишневого сада», но немка, так сказать, в своем развитии, лет через двести.

А еще мир этот рождает странные совпадения. Министр финансов из «Тени», пораженный каким-то суровым параличом, приказывает лакеям, чтобы они придали ему позу крайнего удивления, и затем произносит с убедительной интонацией: «Я крайне удивлен».

Что это? Пародия на мейерхольдовскую биомеханику или на театр метроритма Фердинандова? Или это предлагаемые обстоятельства Станиславского? Скорее это неверие в какой бы то ни было существующий театр. Насмешка надо всеми и всеобщая пародия.

Нет, Евгений Львович смеется не только над людьми далекими и безразличными ему, он посмеивается и над близкими, над теми, кто не ждет насмешек с его стороны и не просит их. Вслушайтесь.

Вот король призывает шута, здоровается с официальной бодростью и лихостью в голосе и приказывает, чтобы шут развеселил его. И шут начинает рассказывать о купце по фамилии Петерсен, который споткнулся и ляпнулся носом о мостовую, а мальяр споткнулся о купца и окатил краской проходившую мимо старушку, а старушка наступила собаке на хвост, а собака взяла да укусила толстяка.

И действующие лица, и даже фамилия купца отсылают не к какому-нибудь гипотетическому источнику, а с драконовской прямоотой (или с прямоотой «честного и прямого старика» — первого министра из «Голого короля») предлагают заглянуть в произведения Даниила Хармса. Там есть и Петерсен, и многочисленные старушки, снующие, вываливающиеся, покупающие чернила, и «дурацкие» схемы смешного, словно глядишь старую комическую фильму.

Был ли пристрастен Шварц в своих пародиях и насмешках? Смотря что иметь в виду. Шварцевские пьесы смешны, даже если не знаешь о втором плане. Портреты, написанные шварцевским пером, чаще всего убедительны.

Рисует Евгений Львович портрет Чуковского — теперь невозможно и представить себе другого Чуковского. Впрочем, не так давно опубликованные дневники Корнея Ивановича говорят о том же точка в точку¹. И зря звиняются исследователи, а современники напрасно пишут открытые письма, пытаясь восстановить справедливость, когда ни автора, ни описанных в этой прозе людей давно нет на свете.

Иное дело, коли с мемуаристом не согласны сами портретируемые и защищают и себя, и тех, кто уже не может защититься. Так, в рассказе «Печатный двор» написан

¹ Здесь, в пространным отступлении не от темы, а от главной дороги темы, следует вспомнить еще об одном портрете.

Есть у Шварца эпиграмма, которая, казалось бы, почти впрямую подходит Корнею Ивановичу Чуковскому. Зная шварцевские дневники и дневники Корнея Ивановича, можно сделать такой вывод. И вывод не совсем правильный. Посудите сами.

Уставший и остывший,
С постылою судьбой,
Не знавший и забывший,
Как быть ему с собой.

Дальше идет такой лирический пассаж. Рисуются пейзаж, оттеняющий психологический настрой героя, но его можно и пропустить. Ветер, трава и свистящий, встревоженный сверчок — вред ли главное в этих стихах. Скорее украшение, уступка поэзии, которая и состоит из разных излишностей. А вот к дальнейшему следует прислушаться и присмотреться.

А он идет унылый,
Усталый, постылый,
Сутулый и пустой,
С карманною могилой,
С фарфором за спиной
И с гамбургской луной.

Рассказ здесь о Викторе Борисовиче Шкловском. Это он пишет об усталости и о том, что живет тускло, а в презервативе, мечется, никак не находя себя. Что значат слова о «карманной могиле», пока объяснить не могу. А вот гамбургская луна — тут до чрезвычайности просто. Луну-то, как издавна известно, делают в Гамбурге и делают прескверно. А Шкловский еще и автор знаменитой книги «Гамбургский счет» (следовательно, предположительную датировку эпиграммы можно поменять на более позднюю).

Что же до фарфора... Однажды, в те же двадцатые годы, Шкловский спросил жену Юрия Тынянова, нужен ли Тыняновым сервиз. Та ответила с восторгом. И вот однажды появляется Шкловский с мешком, где лежит роскошный сервиз на двенадцать персон. Шкловского засыпали вопросами, откуда такая роскошь, не из дворца ли. «Шкловский пыхтел и отдувался, вынимая соусницы, селедочницы, салатницы, тарелки.

— Очень тяжелый,— все повторял он.— Очень тяжелый».
Происхождение сервиза так и осталось тайной.

портрет Владимира Васильевича Лебедева. Написан сильно и, как выясняется, пристрастно. Начертаны одним движением пера и портреты лебедевских учеников.

В сокращенном виде рассказ опубликовали после смерти Шварца, и живые герои стали возражать. Случай серьезный, тут стоит привести пространную цитату: «Отношения Евгения Львовича с художниками были сложные. У Лебедева со Шварцем возникли серьезные разногласия. Однажды Владимир Васильевич сказал при всех, что остроумие — это еще не ум. Шварц, вероятно, принял высказывание на свой счет и обратил гнев на нас, учеников Лебедева. Я часто задумываюсь, чем объяснить недоброжелательность Шварца к нам, молодым художникам, высказанную им много лет спустя в опубликованных его дневниках. Мне, например, приписывается почему-то турецкое происхождение. Шварц описывает меня дикарем с громадными ручищами; Пахомов — корыстолюбец-крестьянин; Чарушин — самый темный человек из нас и т. д. И только у Васнецова испуганные, выпученные глаза. Допуская любое строгое суждение, я считаю, что должна во всем существовать неопровержимая достоверность. В суждениях о людях Евгений Львович допускал непростительную невнимательность и неряшливость, судил о них походя».

Перечитав шварцевский рассказ теперь, когда он напечатан в первоначальном виде, и куда острее и резче, чем прежде, трудно согласиться с возражениями. И так, и не так. Шварц говорил чуть иначе, а потому акценты смещались, ударения ставились там, где нужно мемуаристу, и менялся смысл. Шварц не хотел никого обижать, его прервато истолковали.

Шварц, казалось, вечно находился на виду, может, поэтому его плохо понимали и не могли даже предположить, что столь веселый, общительный человек резок, остер, памятлив. А между тем в очередной раз его общительность мешала и даже угрожала. Теперь она мешала и угрожала не работе, а самой жизни. Арестован Хармс, арестован Введенский, арестован Олейников. Такова уж писательская братия, нашлись желающие напомнить Шварцу, что люди смертны. Кто-то звонил по ночам у его двери и убегал по лестнице, когда дверь распахивалась. Это была страшная игра в годы, когда понапрасну возле дверей не звонили.

О тех временах написано Шварцем стихотворение:

Меня Господь благословил идти,
Брести велел, не думая о цели.
Он петь меня благословил в пути,
Чтоб путники мои повеселели.

Иду, бреду, но не гляжу вокруг,
Чтоб не нарушить божье повеленье,
Чтоб не завывать по-волчьи вместо пенья,
Чтоб сердца стук не замер в страхе вдруг.

Я человек. А даже соловей,
Зажмурившись, поет в глуши своей.

Прописная буква в стихотворении — не дань прописным истинам или традиции. Евгений Львович был христианином, хотя представить себе его в церкви или во время молитвы трудно. Как совершал он крестное знамение своими ходящими ходуном руками? Да и в другом дело. Так сложилось, что российское христианство либо кликушеское, либо эксцентрическое, в пору Франциску Ассизскому. Шварц, писавший о теплоте огня, о счастье любви, о говорящих и чувствующих вещах, был, конечно, приверженцем второго. Но это лишь догадки. Даже о христианстве Шварца читатели узнали много позже его смерти.

Нет, прописная буква не спасла. И в самые страшные годы, когда под открытыми письмами и статьями, призывавшими искоренить предателей и шпионов, стояли подписи известных писателей, появилась под таким письмом и подпись Шварца. И все же, когда праздновали шестидесятилетие Евгения Львовича, поднялся Михаил Михайлович Зощенко и сказал слова, которые могут быть сказаны не о каждом на этом свете: «Я стал старше и больше не требую от людей ни доблести, ни чести, ни отваги. Я требую от них только приличия. Позвольте вам сказать, Женя, что вы очень приличный человек». Это не предание, о том повествуют самые разные мемуаристы.

Кай — человек...

Тем не менее Евгений Львович Шварц как бы не совсем сбился. Во-первых, он не состоялся как актер. Актерская одаренность Евгения Львовича была иная, чем принято. Его актерство гротескно. Он замечательно изображал в лицах сразу и кассиршу, и кассовый аппарат в магазине, двигал носом, мигал глазами, крутил воображаемую ручку возле уха и даже выдавал чек — высовывал язык. Или показывал, как проходит заседание, но вместо ораторов с трибуны выступают собаки — побольше, поменьше, совсем мелюзга. Об этом остались одни воспоминания. И

лишь воспоминания остались о шварцевских островах, а он был одним из остроумнейших людей в мире. То просил знакомого ученого разъяснить ему, Шварцу, теорию относительности, но обязательно в трех словах, то шутил тогда, когда и шутить-то страшно. В 1933 году находил над чем посмеяться, встречая замечание о своей полноте, говорил торжественно: «Мне приказано пополнеть».

Не состоялся Евгений Львович и как поэт, хотя всю жизнь писал стихи, а в ранних его стихотворениях просвечивало то, от чего произошли обэриуты, Шварц оставил свои находки без применения. В общем-то, если говорить честно, то не до конца он состоялся и как драматург: не было такого театра, который бы поставил шварцевские пьесы, как они того требовали, не брать же в расчет акимовский романтический театр. И фильмы по его сценариям не нашли нужного воплощения. Почему? Пришлись не ко времени.

Шварц не состоялся до конца и как прозаик. Очерки и рассказы написаны не для публикации. А пьесы и не читаются! Виногато не отсутствие выдумки, а слабость литературной ткани, следование от парадокса до парадокса, и потому какая-то бедность (притом, что игра его мысли богата, выдумок великое множество). Обидно, но в пересказе они куда значительней. Это не словесные произведения, а только сгустки мысли и острот — где чаще, где реже. Притом Шварц настоящий писатель, а созданное им — настоящее искусство. Может быть, тут играет роль, что перед нами пьесы?¹

В общем, как ни крути, невеселые мысли должны были приходиться к Евгению Львовичу под конец жизни. А жизнь кончалась, и не хотелось об том думать.

В мемуарах описано, как Шварц с друзьями бродил по дачному лесу и спутники перебирали подробности смерти толстовского Ивана Ильича. А Евгений Львович рассердился и сказал: «Это не великая книга». На самом деле все иначе. Разве Иван Ильич смертен? Это Кай смертен...

В томительных рассуждениях о том, что Кай — человек, следовательно, он умрет, для Шварца, возможно, таился и другой смысл — не зря он сочинил пьесу о Снежной королеве и не зря, нарушая орфографию андерсеновской сказки, назвал мальчика не Каем, а Кеем. Да, в сказке дети победили. Но ведь в сказке. И лишь в сказках смерть поворачивает вспять перед смелостью и настойчивостью героев.

Нет, лучше оставим эту тему, ибо сам Шварц продумал ее почти до конца, по крайней мере настолько, насколько доступно человеку: «Смерть-то, оказывается, груба. Да еще и грязна. Она приходит с целым мешком отвратительных инструментов, похожих на докторские. Там у нее лежат необточенные серые каменные молотки для ударов, ржавые крючки для разрыва сердца и еще более безобразные приспособления, о которых не хочется говорить».

Остановимся здесь, пусть тут и не конец. Как заканчивать статью о чужой жизни? Тем более о жизни сказочника? А ведь еще говорят, что жизнь не кончается со смертью, она переходит в иное измерение. Кто знает? Поставим-ка лучше многоточие. Вот так — ...



¹ А мог бы при другом стечении обстоятельств выйти из Евгения Львовича мистический писатель. Да-да, поверьте, задатки были. Сколько разных прецедентов, а вернее всех рассказов о мистическом в отношениях человека и тени Шварц. Это трудно. Андерсеновская сказка лишена мистики. Сказка Шварца ею полна. Может быть, мистика — самое главное, что в ней создано автором, знал он о том или не знал.

Этим сказка живет: «Ведь мы выросли вместе среди одних и тех же людей. Когда вы говорили «мама», я беззвучно повторял то же слово. Я любил тех, кого вы любили, а ваши враги были моими врагами. Когда вы хворали — и я не мог поднять головы от подушки. Вы поправлялись — поправлялся и я. Неужели после целой жизни, прожитой в такой тесной дружбе, я мог бы вдруг стать вашим врагом!»

Тут самая суть истории. Ведь, полностью повторяя действия, беззвучно проговаривая слова, будучи до времени — и как потом оказалось, навсегда — неотделимым от своего носителя, тень остается его теневой стороной. Здесь только в последней фразе ложь, и полная ли? Человек восстает сам на себя и предает себя, считая, что это не все, а всего часть.

Вячеслав КУРИЦЫН

Моя маленькая трепанация черепа

В Центральном доме литераторов — новогодние елки. Профсоюзы закупают билеты для рабочих своих предприятий, и нормальные люди с завода ведут детей в ЦДЛ, удивляясь, что у писателей такой-эдакий Дом.

Я сижу в импровизированном по поводу ремонта и вообще смены вех буфете (столики стоят прямо в холле, мало под буфет приспособленном), пью свои сто грамм, читаю газету. Ко мне подсаживаются два родителя (дети — в зал, на елку, родители — в буфет), разливают принесенное с собой, вслух рассуждают — надо же, для писателей, вот ведь. Через буфет ничтоже сумняшеся проводят двух медведей.

В зале появляется прозаик Яркевич, автор произведений «Как я и как меня» и «Как я занимался онанизмом» (ну что тут поделывать: так написано на обложке книги, выпущенной «ИМА-пресс»), любящий повторять, что главное дело писателя — работать над своим имиджем. «Литгазета» заказывала Яркевичу святочный рассказ: он написал про писателя, написавшего «Как я занимался» — понятно чем. Это и есть работа над имиджем.

Я помахал Яркевичу рукой, он сел рядом со мной и через пару минут дал понять нашим соседям, что мы не просто водку пьем, а пьем ее как литераторы, по праву писательского билета. Соседи обрадовались — с писателями пили, будет что мужикам на заводе рассказать, вот ведь история, трали-вали. И один из соседей сидящего рядом с ним Яркевича впрямую спрашивает:

— Вот вы, например, что написали?

А тот нет, чтобы над имиджем поработать, впрямую ответить: я, дескать, написал роман «Как я занимался онанизмом», — зазел, аки маков цвет, потупился, очи, стало быть, долу.

— Ну, что написал... Я, знаете, стесняюсь, ладно уж...

Рабочий наседает:

— Нет, ну чо ты, скажи, ребятам рассказать, живой писатель, не хрен собачий! И что, печатают?

Яркевич мнетя, рдеет.

— Вот, в последней «Литературке» у меня рассказ святочный.

— Как фамилия твоя?

— Что вы, мне, право, неловко, давайте лучше водки выпьем...

История, по-моему, удивительная: типический характер в типическом цэдээле, времена, нравы... В лучших традициях литературного анекдота — почтенный, заслуженный жанр.

Но дело в том, что ныне этот жанр пользуется все большей популярностью. Редакция «Нового литературного обозрения» затеяла такую акцию: попросила нескольких текущих московских литераторов написать дневник собственной и литературной (собственной через литературную и наоборот) жизни за один месяц. Попросила, предположив, что из памяти истории утекают очень существенные повседневные мелочи, которые обеспечивают вкус, дух, аромат, воздух, мелодию и запах эпохи. Результат — очень, на мой взгляд, интересный.

Вот один автор описывает свое отношение к определенным особенностям организации культурного досуга современной творческой интеллигенции. «Была банкетность последнего дня, венчавшая серьезные речи, ныне переплеснулась че-

рез край. Дело свелось к фуршету без конца и без края: неизбежные, как рок, бананы и бутерброды предваряют действие с самого начала» — это про научные конференции. Тут же — про литературные вечера. «Юбилей Георгия Иванова в ЦДЛ. Переполненный Большой зал: те, кому не хватило места на полу и в проходах между рядами стульев, наводняют буфет. Высокие ноты торжества в первых речах, пафос зажигает зал. Витковский говорит удивительное: у любого прижизненного сборника Иванова (судя по тиражам) было меньше читателей, чем их сейчас собралось в одном зале. Но жанровая бессмыслица судьбоносного вечера тут же забыла ключом: натужные речи с трибуны, масляные взоры тех, кто весь вечер провел в буфете и уже почти забыл о цели прихода», — и картинка приятная, и самоидентификационные проблемы автора на ладони, и зато литературный дар, часто умело скрываемый в «серьезных» статьях того же сочинителя, здесь о себе знает дает.

Или рассказ сотрудника газеты о том, как он пытается добиться от своих сосотрудников мнений-впечатлений о культурных событиях, превращается в увлекательную литературную игру. «... Переругиваясь по телефону: а) с коллегами, у которых «впечатлений» не было и не намечается, б) с ними же — относительно остальных материалов, с) с отделом рекламы, который не совсем точно знает, будет ли во вторник 1/8 полосы занята гимном «вечным ценностям литературной коллекции в натуральной коже», d) с близкими, интересующимися его возвращением домой, e) с Феропонтом Альдебарановичем, который три недели назад оставил для наших музыкальных (арт, театральных) обозревателей замечательный материал о Богдане Титомире (приглашение на выставку в Подлипках, сентябрьскую программу певческого коллектива «Семь белоснежек и Серый Волк»): «В отпуске я был! В отпуске! Завтра спросите у референта!», г) с Дульциней Сидоровной, которой совершенно необходимо перемолвиться с тем самым сотрудником, который счастливо пребывает в том самом отпуске, откуда я, увы, вернулся, f) с тем, кто не туда попал, h) с Романом Арбитманом, который...» Цитировать — одно удовольствие. Когда цитируешь так обильно чужие концептуальные построения, любой член творческого союза вправе спросить: где же, голубчик, твои мысли? Когда цитируешь кусками художественную прозу, тоже как бы нехорошо — анализировать надо, а не цитировать. Чай, не Белинский.

Впрочем, это, конечно, художественная именно проза. Легкая, малопритязательная, чуть детская, ибо симулирует возможность написать «как в жизни». Процитированный кусок о газете живо напомнил мне детское чтение — романтические повести про редакционные коллективы, в коих непременно присутствуют типажи балагура, чудака — местной бестолочи, юлы-карьериста, старого зубра журналистики и молодого прогрессивного редактора. Редакционные хохмы и воспоминания об опечатках перемежаются суровыми буднями рыцарей второй древнейшей. Трое суток шагать. Когда-то такая словесность явно поспособствовала моему поступлению на факультет журналистики. Теперь прочел означенный абзац и прям-таки затосковал по ежедневной газете: по ругани тамошней, по рекордам скорописи в номер, по эротическому напряжению, что вибрирует между всеми сотрудниками отдела или редакции: узелки завязываются, узелки развязываются, завязываются в новом сочетании. Когда все валентности исчерпываются — коллектив можно распускать.

Меня тоже пригласили участвовать в этом проекте «НЛО»: цитировать из себя некрасиво, но опытом поделиться можно. И вообще-то вряд ли бывают нелитературные дневники: самый эстетически невинный автор понимает, что работает «в жанре» и пишет отчасти литературу. А уж в такой откровенно литературной игре и вовсе пропадает пиетет к документальности — факт нужен для того, чтобы превратить его в сюжет, человек — чтобы стать персонажем. А то, что вполне литературный герой носит фамилию и биографию человека реального, придает тексту и столь милое сердцам сегодняшних данко семантическое мерцание, и столь милую сердцу Данко классического внетекстуальную энергетику (могут, короче, надавать по шее). Ваш почетный слуга относится к поклонникам «Трепанации черепа» Сергея Гандлевского — книги, понаделавшей шуму не только в традиционных литературных кругах, но и у, так скажем, творческой молодежи, предпочитающей чтению экстази и пьянье в пентюм. Книга, рассказывающая о том, как поэту Гандлевскому проломили голову и он живет с таковой головой, общаясь с традиционными литературными знакомыми. Многие литературные знакомые остались весьма недовольны, как их «вывели». Но книга попала куда надо — в проблемы аутентичности литтусовки.

Вышла «Трепанация черепа» в январе прошлого года, а в январе нынешнего уже мне проломил череп поэт Иван Жданов. Роман Арбитман воспринял это как не

очень удачную цитату из Гандлевского... По недостатку любви к историческим наукам я не буду касаться сейчас эволюции темы. Хотя и понимаю, что много там любопытных пунктов. Например, литература Серебряного века: стихи Блока или прозу Берберовой читать чем далее, тем невозможнее, но мемуарные книги увлекательны, как «Три мушкетера». Сильный был век — вдруг да останутся иссиня-кокаиновые герои того века в истории литературы не как авторы «оригинальных» текстов, а как персонажи воспоминаний друг друга... Цепочка оттуда — Лидия Яковлевна Гинзбург: достаточно обычный литературовед, но совершенно гениальный сочинитель мемуарной прозы. Ну и так далее. Вплоть до Довлатова, который довел до афористического безумия способы общения исторических лиц с неисторическими: «Только что звонил Моргулис. Просил напомнить ему имя-отчество Лермонтова». И т. д.

Но сегодня художественно-вольное обращение с как бы реальными людьми стало общим местом. И «Митьки» Владимира Шинкарева. И опубликованный одновременно с текстом Гандлевского роман Кенжеева... — менее ошумленный, но тоже вполне симптоматичный. И «Хроника» Попцова печаталась в «Октябре» в роли большой прозы, а не документалистики. И творческий метод журналистов Басинского и Горелова, которые берут какое-нибудь реальное лицо из светско-культурной среды и начинают фантазировать на темы его, лица, психологии (я уже писал об этом в «ЛГ» за 21 февраля)... Такую тактику можно обозвать неэтичной (что сплошь и рядом и делается), но интереснее объяснить — почему, собственно, она сегодня актуальна, успешна и т. д. В самом общем плане здесь можно говорить об изживании концепции цельной личности. Будто есть некое Я настоящее, а есть ненастоящее, Я подлинное и всякие вокруг этого Я наносные явления. Такие представления убедительно критикуются самыми разными дискурсами. Социальной психологией, указывающей, что обилие ситуативных ролей (современный человек сегодня одновременно является бог знает кем: работником какой-то сферы, представителем такого-то сословия, вкладчиком банка, владельцем акций, членом семьи и какой-нибудь общественной организации, пешеходом или автолюбителем, в одних отношениях начальником, в других подчиненным) закрывает всякое Я-как-такое и открывает Я-множество. Политология сообщает, что нет никаких подлинных интересов той или иной социальной группы, а есть симулятивные образования, возникающие в социально-политическом процессе, всякое из которых может в определенных условиях быть назначенным на роль интереса. Постмодернистская теория культуры считает, что не бывает непосредственного жеста — жест всегда делается от специально конструируемой ситуативной маски. Трансперсональная психология обнаруживает, что границы личности вообще не поддаются обнаружению. И т. д. и т. п. Потому нельзя сказать, что поэт Санчук о себе знает правильно, а у Гандлевского выведен неправильно: и то, и другое — нормальные варианты Санчука.

В нашем случае это общекультурное объяснение накладывается на проблемы литературной публики (именно она прежде всего предмет таких произведений). Известно, что случилось с этой публикой: потеря привилегированного духовного положения в обществе, полная куча-мала в плане финансовом (одни благоденствуют от всяческих фондов, многие откровенно бедствуют), переструктурирование средств массовой информации — так, что там вовсе не должно пахнуть литературой. Откуда у такой публики цельность личности и прочая адекватность? Любимый жанр текущей эпохи: записной тусовщик издевается над каким-нибудь фуршетом (жрут да пьют, а духовности никакой), а назавтра снова идет на фуршет. Это к степени адекватности. Но вот один очень важный мотив «литературы тусовки» и художественных дневников — они стремятся запечатлеть какие-то очень важные, но стремительно улетающие вещи: мимолетные пустые разговоры, подробности отношений, социальный расклад, который уходит из памяти почти в ту же минуту, как уходит из жизни.

Два-три десятилетия назад та же история была с просто-вещами. Концептуализировал ее Жан Бодрийяр в книге «Система объектов» — поколения вещей стали сменяться гораздо быстрее, нежели поколения людей. Раньше люди жили среди стабильных вещей, не менявшихся по полвека, ныне за одну жизнь через твой дом проходит дюжина отрядов мебели. Вещи очень быстро стареют — художник хочет их сохранить. Из очень известных примеров — «Близкое ретро» Битова с изъяснением реалий типа шарика-раскидайчика, «проект лирического музея» Михаила Эпштейна, роль простой, не необычной вещи у художников-концептуалистов. Ныне подобную девальвацию претерпевают уже отношения: наша позиция внутри мира и позиция к миру меняется на глазах, быстрее, чем на глазах. Никто не догадался, кажется, записать бытовую историю перестройки. А там ведь происходило что-то со-

вершено волшебное. Ранняя-ранняя ласточка грядущей коммерциализации — лотерея «Спринт», где выигрыш давался сразу. Толпы, многочасовые ожидания билетов, люди покупали пачки по двести штук — сто, боже мой, рублей,— дома проверяли, бежали обратно за выигрышем... Консервные банки под названием «Масса пищевая на хлебе». Чтение газет и журналов как абсолютное счастье. Желание развешивать по фонарям коммунистов, кои довели страну до ручки, постепенно перетекающее в желание голосовать за них на выборах. Люди, откусывающие кончики у батончиков в хлебном магазине: дают по одному в руки, а надкусишь, так кто же тебе его не продаст. Первые кооперативы — среди героев анекдота: «Поймал новый русский золотую рыбку и спрашивает: „Ну, чего тебе надобно, золотая рыбка?“ — есть ведь те, что в восемьдесят шестом году рисовали на футболке слово «Адидас» прямо русскими буквами и продавали это на Рижском рынке. Ухмылка при информации о том, что через пять лет у всех будут не только видеомагнитофоны, но и персональные компьютеры: машинка «Москва», казалось, останется с тобой до гробовой доски. Талоны на спички. Возникновение синтагмы «лицо кавказской национальности». Появление, страшно подумать, конкурсов красоты. Первый раз по телевизору — реклама нижнего белья. Типа: чего-то просвечивало. Вся редакция весь день шумела, а я, дурак, не видел и безумно переживал... Или просыпаюсь утром похмельный в квартире приятеля, машинально включая телик, а там сидит мужик, ничего не говорит, но отчаянно кривляется и так вывихивает руки, будто хочет укунить себя за локоть. Кручу звук — ни фиги. Все, думаю,— белая горячка. А это оказался Алан Чумак...

Или трансляции с Первого съезда депутатов — да никогда смертные не видели столь сногшибательного кино... Или «Рэмбо» в легальном видеосалоне — мир не перевернулся и переворачиваться не хочет... Так же, как от того, что в «Юности» Парщиков и Еременко... В конце концов именно эти невозобновимые впечатления и составляют ту сладость утекающей через все подряд жизни, что единственно вспоминается потом — когда приходит в голову с чем-нибудь попроситься (может быть, для этого надо хорошенько получить по голове). Не идеи вспоминаются и даже не чувства, а касания и ощущения. Как впервые привел ребенка в метро и показал эскалатор и как ребенок попросил проехать еще, а тебе было некогда, а скорее просто неохота, и ты отказал ребенку. Как приезжал два раза в месяц из Москвы на Васильевский остров, и спешил на Пятую линию, и плакал, сколько у тебя впереди всякого счастья. Ну и всякие ясные вещи: колотье в груди, глухие рыдания в подушку, молчаливая пустота, разматывающаяся от живота к горлу, когда понимаешь, сколько всего и какого именно может случиться.

Подумать только, мы живем в мире, где может случиться равным счетом все что угодно. Вот только что в новом номере журнала «Урал» (номер девять за прошлый год, но вышел в конце февраля) в романе Валерия Исхакова «Екатеринбург» вместо единички, обозначающей номер главки, оказался напечатан баран. Маленький такой барашек. Откуда взялся — непонятно. Можно спорить, что такого не было еще в мировой истории. В марте я был в Свердловске. Перед отъездом мне странно позвонила писательница для кино Надя Кожушаная, бывшая свердловчанка, и спросила, помню ли я, как в разгар борьбы со змием на углу между Свердловской киностудией и Центральным гастрономом мужики, когда кончилась водка, поймали за задницу трамвай и частично стащили его с рельсов. После чего водку привезли. Я сказал, что не помню, помню или нет. В Свердловске я пришел на это место, и мне показалось, что помню, и даже вспомнил, как именно помню...

.....

Так вот, опять о ЦДЛ. Ресторан после ремонта таки открыли, устроили очень дорогую современную хавалку. Сто гр. кристалловской — четыре доллара. Буфет в холле пока не закрыли — здесь сто грамм того же самого стоит доллар. Одни пьют за четыре, другие за один. Но есть и третий тип посетителей — старых писателей, посещающих ЦДЛ сорок лет. Им и доллар дорого. Они приносят с собой купленное на улице, наливают себе из-под полы, обходясь, таким образом, сорока центами. Вот что сегодня русская литература: нищий писатель в ЦДЛ и дневниковая запись о нем.



Благие мечты с постскриптумом

●
Журнал «Простокваша», №№ 1–14, Волгоград.

●
Заполненный всяческими зверями, по дороге едет автомобиль с номером «ХИ-ХИ», а рядом летит ворона, каркая: «Дураки, что ли?» Но, чего бы ни каркали, я всегда мечтал промчатся именно на таком автомобиле, именно в такой компании. Однако не так-то просто это сделать.

Дорога находится очень далеко — на обложке детского журнала «Простокваша», выходящего в городе Волгограде. Родился журнал 1 марта 1992 года, а издаю уже четырнадцать номеров, остальные же находятся либо в «макете», либо в виде машинописи, и когда они выйдут в свет, никому не известно. Но об этом мы поговорим чуть позже.

Пока скажем, что «Простокваша» не только лучше всяких «Кукареку» и «Трамваев» и по оформлению, и по качеству материалов. Это совершенно новое издание!

Торжественно заявлено, что учредитель журнала АО «Ведо», а практически делает его единственный человек — редактор Сергей Васильев, хотя, конечно, помогают ему разные художники и литераторы. Фамилии их, к сожалению, мало кому известны. Не их вина, их несчастье.

Пусть весь — по нынешним временам большой, а для одного города и попросту громадный — двадцатитысячный тираж расходуется в розницу без остатка, пусть желающих подписаться на журнал — только в Волгограде! — иногда переваливало за двадцать тысяч, что толку? Учредители не решаются такую подписку проводить — боятся финансового краха, ведь сейчас все так дорого — и бумага, и типографские услуги, и доставка.

Даже поразительно низкая себестоимость — сначала — страшно вспомнить! — четыре, потом — смешно сказать! — семь рублей, а теперь каких-то несколько тысяч за номер цветного, иллюстрированного журнала на хорошей

бумаге — ничего не решает. И, главное, непонятно что будет дальше.

«Простокваша» — по причинам, о которых здесь умолчим, — не может свести концы с концами, прибыль уходит в никуда. И приходится просить дотации в министерствах и ведомствах. Пока деньги дают, но и они тратятся все на то же: бумага, типография. Нет возможности поднять даже мизерные гонорары. Авторы работают почти бесплатно, работают для того, чтобы работать. Чего уж мечтать о распространении подписки в еще каких-нибудь городах! Выжить бы. И это притом, что журнал замечательный.

Разумеется, не все ровно и бесспорно. Впрочем, к явлению культуры можно относиться по-разному: то, что мне кажется слабоватым, например, стиль некоторых иллюстраций, заимствованный, напоминающий стилистику мультфильмов А. Татарского, детям как раз нравится. Срабатывает закон узнавания. Да и легко исправить такие ошибки, ведь оригинального в журнале гораздо больше.

Авторы умудрились уйти, ускользнуть от распространенного ныне «среднего уровня», этакой мрачной хармсовщины, когда держат фигу в кармане и несут глупость с непроницаемым лицом. В четырнадцать номерах такие материалы встретились только несколько раз. И даже вспоминать о них не стоит. Иное время рождает новые интонации. От нелепицы, от абсурда никто не отказывается. Но ведь можно по-разному их подавать. Обязательно псевдохармсовски, обезличенно, на одной унылой ноте. Можно придумать абсурдную, но интонационно богатую, причудливую рассказку.

Вот, например, такую: «Иду я однажды по лесу, а навстречу мне медведь. Усатый, бородатый и с большим хвостом. Я его, конечно, испугался и стал сачком ловить. А медведь хитрый попался: то птице за хвост прицепится и в небо улетит, то рыбу схватит и под воду уйдет.

Целый день я за ним гонялся. А вечером гляжу: он по моим штанам ползет и усамы шевелит. Хорошенький такой, весь в крапинку.

Я его домой принес и в банку посадил. Шишек ему туда набросал, листьев. Он себе там двухэтажный дом построил, с балконом и печкой. Из трубы часто густой дым идет — это он печет блины.

Когда я ложусь спать, то обязательно говорю в банку: «Спокойной ночи, медведь».

А он мне отвечает: «А-у».

Вполне намеренно я не называю автора. Дело в том, что детская литература сильна даже не фамилиями, а единством стиля. Это сейчас мы знаем — если знаем — и Хармса, и Житкова, и Маршака. А тогда, когда они работали, были просто журналы «Чиж» и «Еж» и были авторы, которые делали эти журналы. Издание — всегда занятие коллективное, время потом разберет, кто обрел собственную индивидуальность, а кто честно трудился на вторых ролях. У «Простокваши» есть главное — собственное лицо, некое единство, и пока есть постоянный авторский круг.

Нужно помнить, что в детской литературе действует важная закономерность: вовсе не обязательно что-то выдумывать, быть оригинальным. Можно талдычить одно и то же, перепечатывать бесприорышные материалы из года в год, как делают «Мурзилка» и «Веселые картинки», веселящие разве собственных издателей. Ведь каждый год меняется аудитория, приходит новое поколение, которому и старые шутки в новинку, к примеру, поливариантные «армянские» загадки, где отгадки даются по косвенному признаку.

О таких загадках писали еще в начале века, но я с огромным удовольствием прочитал опять и про двух безногих негров, и про рояль. Про то, что под диваном лежит, маленькое, блестящее, на «з» начинается. Отгадка — десять копеек. Почему на «з»? А потому, что закатились.

Или такая чудесная на все времена загадка: летит, шуршит, но не шуршунчик. Брат шуршунчика. Замечательно. И это вполне достойный путь, не надо лишь бесстыдничать, наглеть. И в «Простокваше» понимают: повторение хорошо в меру. И выдумывают, играют.

Буриме, кроссворды, любопытные комиксы, поделки — это, кроме стихов, иллюстраций, рассказов и сказок. Кстати, чудесных сказок.

Однако и это не все. Помимо авторов, есть постоянные маски и герои — симпатичные Лев Слонопотамов, он же Слонопотам Львов, Простокваша, Страшилка, Кошмарик, ученый секретарь журнала Долли Ризеншнауцер.

И читатели благодарны. В журнал и для журнала пишут дети, приходят в редакцию, приносят свои сочинения и рисунки. Самые лучшие публикуются, без скидок на возраст, без шумихи. В нескольких номерах были напечатаны рассказы Ирины Борисовой. К сожалению, рассказы ее немножко длинны, чтобы их

здесь приводить. Но можно прочесть стихи двенадцатилетней Ирины Выстроповой.

Черный кот

Я на даче сижу,
В телевизор я гляжу.
В телевизоре идет
Передача «Черный кот».
Там про кошек говорят,
Учат, как ухаживать,
Как кормить и как поить,
Как усы разглаживать.

И пока смотрела я
Эту передачу,
Убежал наш черный кот
На чужую дачу.

Замечательные стихи, особенно хороша строчка о разглаживании усов. Такое ощущение, что мне их самому разглаживают, а я сижу и довольно мурлыкаю. И все потому, что нормальный ребенок талантливей вундеркинда.

А злые от голода и добрые по натуре молодые сочинители и художники лучше сытых и вальяжных «мэтров» — они не богаты, а бескорыстны. Они ищут.

В лучших материалах «Простокваши» совершенно неожиданная, необыкновенная стилистика. Вот идиллическая картинка:

Слеваздравпередсмотрилопродувалов ровно в
пятя
Левый глаз открыл уныло и решил: «Пора
вставить!»

А на кухне чашки мыла, избавляясь ото сна,
Слеваздравпередсмотрилопродувалова жена...

И я, право же, очень хотел бы жить в мире, где ходят, ездят на автомобиле, пьют чай такие замечательные люди, звери и прочие существа. Но, пока кто-то поднимает цену на бумагу и полиграфию, а другие пользуются финской бумагой и беспредельными финансовыми кредитами, чтобы напечатать свою халтуру и распространить ее во множестве экземпляров, это почти невозможно.

Глупость ситуации заключается в том, что каждый думает лишь о себе. Каждый считает себя избранным. А остальное и остальные — гори ярким пламенем. Каждый самоутверждается за счет других. И в конце концов может произойти то, что произошло с кошками из английского народного стишка:

Жили-были две кошки, ей-богу,
Но считали — одной слишком много.
Каждая возмущалась, и дралась, и кусалась,
Пока, кроме усов
И обрывков хвостов,
Вместо двух ни одной не осталось!

Постскриптум

«Простокваши» больше нет. Редактор уволился, а значит, ушли и прежние авторы. Журнал захватили профессиональные педагоги и ладят из него идейно выдержанный и прогрессивный занимательно-методологический журнал — «Веселые картинки» для отличников, «Мурзилку» для двоечников... Рядом со сказками и стихами помещаются материалы, развивающие образительность и закрепляющие навыки, приобретенные в школе. В общем, «учение с увлечением». Хватит ли фондов, будет ли журнал выходить регулярно и с какой частотой — это уже не мое дело.

Б. ФИЛЕВСКИЙ

Большая жратва

Леонид Леонид. Ну кто не любит похрустеть засахаренной килькой?! Минск, МЕТ, 1995.

Когда-то, в годы холода и темноты, возносимый, поносимый и разоблачаемый Корней Чуковский сочинял странные сказки, в каждой из которых обязательно была сцена — пир горой, с подробным перечислением съеденного и выпитого. Еще страннее — как дети, недокормленные дети тех лет, слушали эти сказки.

Вот воспоминания о тридцатых годах. Худой от голода мальчонка слушает о Мухе-Цокотухе, о том, что она во поле нашла денежку и, купив самовар, устроила угощение. И пили букашки чай с молоком и крендельком, и кушала бабочка варенье. А после сказка кончается, и мальчик просит: «Еще». И ему рассказывают снова ту же сказку о мухе, о денежке, о самоваре, кипящем на столе, заваленном всякой снедью. Мальчик зачарованно всплескивает тонкими, прозрачными ручками, качает восхищенно головой.

И вдруг нагрянули времена, пусть другие, но в чем-то схожие. Даже в том, что ныне Корнея Чуковского опять возносят, поносят и разоблачают, однако время его сказок прошло, хотя в бывшем

советском мире голод, темнота и разор. Стреляют в Чечне, уничтожают друг друга в Таджикистане, в Армении сидят без света. А детская литература по-прежнему, не отражая жизнь — кто из детских писателей отражал ее, кроме Гайдара и Радия Погодина? — все так же компенсирует неурядицы, проповедует. Ведь искусство для детей — замена религии, в которой они не нуждаются. Написав эту явно двусмысленную фразу, я не стану истолковывать сказанное, а поговорю о другом.

Новые авторы, о чем пишут они? Например, «вечно юный», как предупреждают в издательской аннотации, Леонид Леонид? Сочиняет сказки, а куда ему до прежних авторов. Ни характеров, ни положений, ни сюжетов. Лишь нахрап, неумение, наглость. Притом сказки эти в чем-то отражают свою эпоху.

А если говорливый Леонид Леонид не ведает, что ему делать со всеми этими героями — дядюшкой Хантером, тетушкой Хинтер, кошкой по имени Памяти полковника Гарри, пострадавшего от извержения, канарейкой и портретом головы на стене, — то они знают, чего хотят. Жрать, жрать, жрать. Даже нарисованная голова на портрете все время крадет съестное и пожирает его то тайно, то явно.

Они жрут пирожки с черникой, барашка, жаренного на вертеле, грецкие орехи, колбасу, запеченное в духовке мясо, мак из булочки, варенье, семечки, шоколадные конфеты, кетчуп, майонез, сметану, уксус, компот, кефир. Впрочем, основу меню составляют у них экзотические блюда: новогодний пирог с еловыми иглками, котлеты из конфет, пропущенных сквозь мясорубку, залитых кока-колой и запеченных на сковородке в форме жареной селедки, пельмени с шоколадом, жаренные на меду соленые огурчики, засахаренная килька и помидорный компот, в котором плавают кружочки лука и дольки мандарина, супчик из трамвайных билетиков, компотик из помидоров с чесноком, желе из еловых шишек, горячие бутерброды со шукой Маней. Они могут сожрать все.

Недаром они украшают котлеты золотыми звездочками. Недаром рассказывают сказки о том, что у них будет на завтрак. Мысли их, куда бы ни отклонялись, возвращаются только к съестному. Остальные дела совершаются между прочим, они прелюдия или послесловие к обильной и смачной жратве.

Неужели это похоже на обыкновенную жизнь, где иногда влюбляются, а иногда ненавидят, ждут, надеются, очаровываются? Неужели это похоже на сказку? Да это же армия или, хуже того, лагерь, там сачки и придурки, черпаки и старые, сколько бы их ни было и как бы

ни назывались, существуют от кормежки до кормежки, вечно голодные, всегда готовы порубать, урвать, зажевать, нажраться.

Впрочем, тут бьется глубинный смысл. Скинь с них обмундирование и совлеки с них робы, одень в цветные костюмчики и раскрась личные номера в самые разноцветные краски, усади в ленинскую комнату или в красный уголок — и солдаты, и зеки останутся такими, как были. Зеками и солдатами: театральными, наглыми, подлыми, увертливыми, дерзкими.

Во всем этом они будут схожи с детьми — это ли их прообраз?.. Или армия и лагерь — прообраз детства, кто знает. Но сутки их будут не день и не ночь, и бесконечное неразличимое время станет тянуться от пайки до пайки, от завтрака до обеда и ужина. И спать ложиться будут они в предвкушении, как бы пошамать. Спи быстрее, и завтрак уже на столе, выдают кусок серого хлеба и накатят безвкусного, странно холодного кипятку в алюминиевую кружку.

А коли не кипятков и хлеб, а белая, розовая, бормочущая и сладкая манная каша, то перед тобой мечта, отодвинутая вспять или продвинутая вперед, что не меняет сути. Это не детство — это мир грез.

И если дети иногда капризничают, отказываются кушать кашу и отодвигают большую чашку с компотом, оно лишь потому, что кусок им не лезет в горло, ибо — в недетском откровении — они прозрели два своих возможных пути: солдатскую кирзу или лагерный бушлат. И в ужасе они замирают и режут, стуча по столу кулаками, и безутешны.

Недалекий и бесталаный автор сам не видел, что за картинку он рисует, что выстраивает по ранжиру художочной своей фантазии. Да и сам он не виноват: ведь единственное чувство, двигавшее им, когда он сочинял свои сказки, было — жрать, жрать, жрать, от пуза, до несварения, до блевоты.

Ах, не поверят мне. Это и грубо, и глупо, и слишком натянуто. Найдется ли о том хоть слово в сказках, может, все лишь мой фантазии? Верно, фантазии. Что еще может родить такой эпизод. Приходит письмо, где сказано, что дядюшке Хантеру присвоено звание «Почетный Птичник» с правом ношения нагрудного знака номер 81. «Ох, дядюшка! Как прекрасно носить нагрудный знак, да еще с номером!» — восторгается тетушка Хинтер.

Но должен ведь быть какой-то смысл? Ради чего-то это написано — не только же ради того, чтобы напомнить детям о суме, тюрьме и глухой солдатчине, тем более автор радел об ином? В чем дидактика? Ведь есть таковая. Правда, в другом цикле сказок — о гномиках дяде Коле и дяде Феде. Дотошный Леонид Ле-

онид рассказывает, как эти гномики летели на самолете в Южно-Сахалинск, и вот им, нажравшимся бесплатной еды, напившимся дармового лимонада и минеральной воды, захотелось в туалет. Но ручка двери находится слишком высоко, а потому один гномик залез на плечи другого, дверь распахнулась, и они прекрасно оправились. Так и следует поступать всем детям: помогать товарищам и добиваться своего коллективно. Гномики же, облегчившись, вернулись на место. И принялись жрать.

Феликс ИКШИН

Смерть, о которой можно сказать «ПОТОМ»

●

Редьярд Киплинг. Ваш покорный слуга Пес Бутс. М., Издательство имени Сабашниковых, МСМХСУ.

●

В русской литературе, с ее больной совестью, богоборчеством и антропоцентризмом, уж так повелось, миру нет места, его занял человек. И потому, о чем бы ни велась речь, все кажется прозрачной аллегорией. Даже в повествовании о животных читатель привычно выискивает «человеческое».

Сколько раз пытались рассказать историю о собаке, но получался рассказ «о слабых и малых сих». Говорил ли Чехов о том, как мальчик привязывал кусок сала и давал глотать его Каштанке, а потом вытаскивал обратно за веревочку, понималось: зол человек. Или Замятин зачарованно спрашивал, зачем у тебя такие глаза, ясно было: не собачьи глаза. Когда же Федин писал о песьих душах, а Булгаков — о собачьем сердце, не требовалось никаких комментариев.

Но как же ошибется и разочаруется тот, кто откроет книгу Киплинга, чтобы посострадать «маленькому человеку», ибо тщетно его искать на этих страницах. Конечно, и тут есть «большие» и «маленькие», только разница не в социальном положении, а в возрасте, в опыте, в положении посреди мира. И, кроме людей, в этом мире живут еще и звери, со своими повадками, привычками и не человеческими характерами.

Не должно шокировать, что хорошо воспитанный пес Бутс, от имени которого и ведется повествование, сбежал на время из-под хозяйского надзора, вкусно поел из мусорного бака — а это хорошо воспитанным собакам строго воспрещено, но так хочется! — а потом его замечательно стошнило. Всякий, видевший близко домашних животных, знает, тут психологии больше, чем в ином научном трактате. Лишь в отличие от научного трактата рассказано это весело и в меру грустно, когда для грусти есть повод.

Так и следует рассказывать о мире. Он таков. В нем иногда сходятся самые дальние противоположности и крайности. И не странно, если мирятся старый хромой лис и полуслепшая собака, участники бесконечной охоты. Им есть о чем вспоминать, пусть события они оценивают каждый со своего места: первый — вечно убегающий и второй — вечно преследующий.

Ведь работа — это работа, игра — это игра и жизнь — жизнь. Только глупцы могут спутать столь разные вещи. И только пронзительно мудрые знают, что правила — не помеха, что нет ограничений, кроме чести, верности, дружбы, любви да еще предела собственных сил. И что жизнь не жестока, жестока смерть, но она меньше жизни, а требовать справедливости от той ли, другой — безнадежное дело.

И вот хромой лис Тэгс и полуслепой пес Реведжер договариваются показать Маленькому, человеческому ребенку, что такое настоящая охота. Показать понарошку, но такое «понарошку» реальнее, чем по-настоящему. Не важно, что погоня разворачивается на опушке парка и что Маленький скачет не на лошади, а на пони Тэффи и что короткие ноги пони не дают быстро скакать, а брюхо волочится по траве.

Они настоящие Мастера. «Реведжер быстро заговорил по-охотничьи и ринулся вперед. Я — за ним. Маленький громко затрубил. Тэгс побежал. У него это хорошо получалось. И хромал он совсем чуть-чуть. Магистрат вел себя точно как лошадь-качалка из старой детской. Раскачивался, а с места не двигался.

— Вот разошелся! — засмеялся над ним Мур.

Потом поглядел на Маленького и сказал:

— А вам надо ехать домой, мастер Дигби.

Но Маленький закричал:

— За Реведжером! Вперед!

И мы вихрем помчались по длинной-длинной дороге...»

И слепота почти побеждена, и хромая лапа не мешает делать петли. Это счастливая охота, у которой нет трагического конца. Трагедии случаются в жизни. В жизни болеют, в жизни умирают, как умер пес Реведжер. Впрочем, смерть наступает потом. Может быть, единственное благо, доступное смерти, или ее единственная слабость — то, что она всегда наступает «потом». Ее всевластие не всеобъемлюще.

Пока же трубит труба, скачет пони, петляет лис и бегут по его следу собаки. Не беда, что не сезон. «...В Пещерах мы растянулись на земле и высунули языки.

— Отличная концовка! — подвел итог игры Реведжер.

— Неплохо, неплохо, — согласился Тэгс. — Не много найдешь гончих и лис нашего возраста, которые на такое способны. В последний забег мы одолели с тобой больше мили.

— Я так и наметил по плану, — с важностью произнес Реведжер. — Четыре мили на всю игру, а последний рывок — миля с лишним. Только вот я что думаю, Тэгс. Нечего тебе уходить на родину. Зачем тебе Уэллс? Я слышал, там не слишком-то весело. Нет, Тэгс, ты слишком хорош для них. Оставайся-ка лучше с нами.

— Мне будет очень недоставать тебя, Реведжер, — ответил лис. — И тебя, Бутс, и тебя, Слипперс. Но с этим вашим Маленьким я не останусь. Сейчас я выйду с другой стороны подземного хода, а вы возвращайтесь».

Дети взрослеют быстро. Может, даже быстрее, чем того хочется взрослым. Вот и Маленький прошел охотничье крещение и стал настоящим охотником. Теперь не будет игры, будет работа, погоня пойдет взаправду, а лис Тэгс уже стар для таких погонь. Реально оценивать свои силы не каждому по плечу. И не каждый может вовремя уйти.

«Тэгс повернулся к Реведжеру:

— Ну, ты-то не унывай. Думаю, ты им пригодишься. Для охоты не в сезонное время ты еще мастер хоть куда. А я все-таки пошел. Родина моя, мой дорогой Уэллс, ждет меня. Прощайте, друзья мои. Счастлив был жить с вами в одних местах!

Тэгс попятился, развернулся и исчез в глубине подземелья.

— Прощай, Тэгс! — крикнул вдогонку Реведжер. — Ты самый смелый парень из всех, которых я знал!»

Прощаться надо, куда трубит труба, куда ты можешь сказать слова прощания и тот, кому они сказаны, может тебе ответить...

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ЛАДОМИР» — ПОЧТОЙ ПО ИЗДАТЕЛЬСКИМ ЦЕНАМ

АБУ РЕЙХАН БИРУНИ. *Индия* (728 стр., цена 25 000 руб.)

«Индия» Бируни (973 — 1048) — замечательный памятник, в котором знаменитый арабский ученый и любознательный путешественник обобщил собранные им на протяжении тридцати лет сведения о стране, которую он любил и хорошо знал. В этом труде, являющемся, по сути, энциклопедией Древней Индии и сопредельных с ней стран, рассказывается о мифологических и религиозных представлениях индийцев, их суждениях об устройстве Вселенной, описываются царившие в Древней Индии обряды и обычаи, излагаются основы древнеиндийской астрологии.

П. ВИЛЛАРИ. *Джироламо Савонарола и его время.* (916 стр., цена 45 000 руб.)

К.А. ВУЛЬПИУС. *Ринальдо Ринальддини* (416 стр., цена 10 000 руб.)

Впервые на русском языке издается знаменитый немецкий «готический» роман Кристиана Августа Вульпиуса (1762 — 1827). Местом действия романтических событий и дерзких, захватывающих дух приключений автор выбирает Италию и Сицилию. Устав от грабежа и разбоя, великий атаман разбойников Ринальдо Ринальддини ищет забвения на отдаленных островах Средиземного моря, мечтая там начать праведную жизнь, обрести любовь и душевный покой. Однако злосчастный рок преследует его, ввергая во все новые приключения, и заставляет творить еще большее зло.

П. ГИРО. *Частная и общественная жизнь греков* (672 стр., цена 13 000 руб.)

Популярное учебное пособие для школьников, интересующихся античной культурой.

ГУГО ГРОЦИЙ. *О праве войны и мира* (868 стр., цена 25 000 руб.)

ДИГЕНИС АКРИТ (220 стр., цена 16 000 руб.)

Одно из самых оригинальных и интересных произведений византийской культуры, единственный в своем роде памятник, созданный на греческом языке после Гомера.

А.ДЮМА. *Путевые впечатления. В России. В 3-х томах* (объем соотв. 448, 432, 616 стр., цена 35 000 руб. за комплект)

Впервые публикуется полный комментированный перевод воспоминаний писателя о путешествии в Россию в 1858 — 1859 гг. В разделе «Дюма глазами русских» собраны воедино наиболее интересные заметки, опубликованные в газетах того времени, приведены выдержки из мемуаров очевидцев, а также сообщения современных исследователей.

В. КЛЮЧЕВСКИЙ. *Боярская дума Древней Руси. Добрые люди Древней Руси* (570 стр., цена 18 000 руб.) Дополнительный том к собранию сочинений в 9 томах.

КНИГА ПРАВИТЕЛЯ ОБЛАСТИ ШАН (392 стр., цена 6500 руб.)

Один из самых значительных памятников общественно-политической мысли Древнего Китая. В книге подробно описано управление государством, когда в чести метод наград и наказаний, система круговой поруки и тотальной слежки, — все, что направлено на абсолютизацию власти и установление контроля над личностью.

ЛИСИЙ. *Речи* (368 стр., цена 15 000 руб.)

М. А. ЛУКАН. *Фарсалия, или Поэма о гражданской войне* (350 стр., цена 15 000 руб.)

Р. МУЗИЛЬ. *Человек без свойств. В 2-х томах* (объем соотв. 752, 504 стр., цена 25 000 руб. за комплект)

«Человек без свойств» — ширококомасштабное эпическое произведение выдающегося австрийского писателя Роберта Музиля (1880 — 1942), крупнейшее явление литературы XX века.

И. НИЖНАНСКИЙ. *КрОВАВАЯ ГРАФИНЯ* (574 стр., цена 6500 руб.)

В словацкой литературе, пожалуй, трудно найти книгу столь популярную, столь широко известную среди многих поколений читателей, как историко-приключенческий роман Иозефа Нижнанского (1903 — 1976) «Хаттикая госпожа» (1932). Книга переведена почти на все основные языки мира. Роман переполнен многочисленными любовно-эротическими сценами, имеет захватывающую интригу в духе лучших традиций В. Скотта, А. Дюма и Г. Сенкевича. Выдающееся произведение мировой литературы впервые предложено русскоязычному читателю под названием «КрОВАВАЯ ГРАФИНЯ». События, описанные в романе, послужили основой скандально-знаменитого фильма В. Боровичика «Аморальные истории».

ПЛИНИЙ СТАРШИЙ. *Естественное знание. Об искусстве* (1024 стр., 48 000 руб.)

Издание подготовил Г. А. Таронян.

П. ФЕВАЛЬ. *Горбун, или Маленький парижанин* (Совм. с «Прогресс-Бестселлер»; 544 с., цена 6500 р.)

Классический роман «плаща и шпаги», принадлежащий перу Поля Февала (1817—1887), по праву относят к числу самых ярких и увлекательных французских авантурных романов прошлого столетия. По роману снят одноименный фильм с участием Жана Марс.

ЦАО СЮЭЦЗИНЬ. *Сон в красном тереме. В 3-х томах* (600—640 стр., цена 80 000 руб. за комплект)

«Сон в красном тереме» — самый знаменитый китайский роман. Цао Сюэцинь (1724—1764) создал захватывающую сагу о трех поколениях китайской аристократической семьи. Она возвышается, когда император берет в наложницы одну из девушек рода Цзя. Главный герой Цзя Баоюй с юных лет купается в роскоши, ему доступны все земные блага. Роман насыщен любовью, многочисленные герои связаны между собой чувственными отношениями, которым сопутствуют ревность и интриги.

Цены указаны без стоимости доставки и упаковки. Заказы направлять по адресу:
103617, Москва, Зеленоград, корп. 1435, НИЦ «Ладомир».
Тел.: (095)530-01-25, (095)531-54-88, факс: (095)537-47-42

Тематический план «Ладомира» на 1996 — 1997 годы опубликован в журнале
«Библиотека» № 8, 9, 11 за 1995 г. и в первых номерах за 1996 г.
Журнал имеется практически в каждой районной библиотеке.



Москва 109240
Москворецкая набережная, дом 2а

Телефон: 917-58-94 | юридическая служба
Тел./факс: 917-89-75 | и нотариат

**Это широкий спектр правовых услуг
отечественным и иностранным физическим и
юридическим лицам:**

- * Консультации высококвалифицированных специалистов по всем вопросам российского, зарубежного и международного частного права.
- * Проведение юридической экспертизы документа и/или разработка нового варианта.
- * Регистрация всех организационно-правовых форм юридических лиц, в том числе с иностранным участием.
- * Подготовка проектов гражданско-правовых договоров, включая контракты внешнеэкономической сферы.
- * Оказание всех видов правовой помощи.

**ОПЕРАТИВНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ В НОТАРИАЛЬНОЙ СФЕРЕ:**

* оформление всех видов
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ И
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ
договоров;

* оформление
доверенностей;

* оформление сделок с
ценными бумагами;

* оформление
банковских карточек;

* заверение копий;

* ПРОТЕСТ
ВЕКСЕЛЕЙ;

* совершение иных нотариальных
действий, предусмотренных
российским законодательством и
международными договорами РФ

**Вы можете заказать перевод документов с последующим
нотариальным удостоверением.**

Нотариальное обслуживание осуществляем также в наших
филиалах:

Северное Чертаново, дом 4,
корп. 402
Телефон: 319-37-00

улица Ак.Пилюгина, дом 8, корп. 1
Телефон: 132-26-66
132-26-38
Факс: 132-20-55

Всегда вам рады !